

BIBLIOTHECA HUNGARICA

---

---

ИШТВАН БИБО

---

О СМЫСЛЕ европейского  
развития *и другие работы*

---

---

МОСКВА «ТРИ КВАДРАТА» 2004



---

---

*b*BIBLIOTHECA *h*HUNGARICA



ИШТВАН БИБО

*О смысле  
европейского развития  
и другие работы*

*Перевод с венгерского*



«ТРИ КВАДРАТА» МОСКВА  
2004

ББК 83.3(4)  
УДК 82-3  
Б 595

*Издание осуществлено при поддержке Министерства культурного наследия Венгерской Республики, Национального культурного фонда Венгрии, Венгерского Книжного Фонда, Объединения венгерских авторов по репрографии (MASZRE), Фонда «Венгерский дом переводчиков», а также Венгерского Культурного, научного и информационного центра в Москве*

*Редакционная коллегия:*

И. Бибо-мл., И. Вида, Т. Исламов, В. Середа

*Послесловие:* А. Стыкалин

*Перевод с венгерского:* Н. Надь и Т. Лендел

*Редактор переводов:* В. Середа

*Издатель:* С. Митурич

БИБО, Иштван. *О смысле европейского развития и другие работы.*  
Послесловие: А. Стыкалин. Серия «Bibliotheca Hungarica». М.: Три квадрата, 2004. — 480 с.

В этом издании впервые по-русски публикуются работы венгерского политолога и публициста Иштвана БИБО (1911–1979), лишь в последнее время ставшие известными за пределами его родины. Идеолог леволиберального направления и активнейший полемист в первые послевоенные годы, государственный министр в правительстве Имре Надя, он был приговорен кадаровским руководством к пожизненному заключению и амнистирован лишь через 5 лет. Амнистия эта, однако, не распространилась на труды И.Бибо, публикация которых началась только в 80-е годы и стала важным событием в духовной жизни Венгрии в преддверии смены систем.

© Правонаследники Иштвана Бибо, 2004

© Н.Надь, перевод, 2004

© Т.Лендел, перевод, 2004

© А.Стыкалин, послесловие, 2004

© «Три квадрата», 2004

ISBN 5-94607-046-5

ВЕНГЕРСКИЙ юрист, политолог и публицист Иштван Бибо (1911–1979) – один из оригинальных европейских мыслителей XX века, чье творчество лишь в последнее десятилетие становится достаточно известным за пределами его родины. Исследования Бибо всегда отличал особый интерес к социально-психологическим феноменам – страхам, предубеждениям, массовым психозам и истериям, бытующим в обществе и влияющим на принятие политических решений силами той или иной ориентации. Другое достоинство политологических исследований Бибо – внимание к историческим корням современных политических явлений, опирающееся на глубокое знание венгерской, средневропейской и – шире – всеобщей истории.

Публичная деятельность Иштвана Бибо продолжалась долго. Начиная с 1948 года, когда над Европой окончательно опустился железный занавес, этот идеолог леволиберального направления и активнейший полемист первых послевоенных лет, по сути, был обречен на молчание. Неслучайно за несколько лет до смерти Бибо с горькой иронией предложил начертать на его могильной плите имя и «даты жизни»: 1945–1948. Именно в эти годы им были опубликованные основные труды, в том числе и известная книга «О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств», посвященная историческим судьбам и деформации политической культуры стран Центральной и Юго-Восточной Европы. После упомянутой даты сочинения Бибо, прежние и написанные

в годы вынужденного молчания, стали издаваться в Венгрии, да и то не все, лишь в 1986-м, через семь лет после смерти их автора.

Свою роль сыграло в этом и бескомпромиссное поведение Иштвана Бибо в 1956 году, когда революция в Венгрии на короткий период вновь вывела его на политическую арену. Государственного министра правительства Имре Надя в августе 1958 года приговорили к пожизненному заключению и только пять лет спустя амнистировали в числе других участников революции, но до конца жизни он продолжал находиться под подозрением кадаровских властей. Основные работы 1960–1970-х годов Иштван Бибо писал «в стол». Таково, в частности, его большое исследование «О смысле европейского развития» (1971–1972), предлагаемое – наряду с другими основополагающими работами автора – вниманию российских читателей.

Публикация трудов Бибо началась на исходе коммунистического правления и стала важным событием в духовной жизни Венгрии в преддверии смены систем, в условиях, когда венгерская интеллигенция приступила к усиленным поискам альтернативных марксистской традиций в национальной общественной мысли. Поскольку поиски эти в странах бывшего социалистического лагеря продолжаются и поныне, работы венгерского политолога могут рассчитывать на заинтересованное внимание и успех.

Публикация подготовлена в рамках программы Российско-венгерской комиссии историков на основе издания: *Bibó I. Válogatott tanulmányok, I–III. k. Magvető, Budapest, 1986. Válogatta és az utószót írta Huszár T., szerkesztette és a jegyzeteket készítette Vida I. és Nagy E.; IV. k. Magvető, Budapest, 1990. Válogatta ifj. Bibó I. és Huszár T., szerkesztette ifj. Bibó I.*

*В. Серeda*

Причины и история  
немецкой политической истерии





## 1. СУТЬ ГЕРМАНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

### *Германия: основной вопрос мира*

ЧТО БУДЕТ с Германией – это самая большая проблема нынешнего исторического момента. Компетентные круги представляют дело так, будто они четко знают, какие шаги следует предпринять в этом направлении. Однако международная общественность подозревает, что существующие планы не разработаны в должной мере и сами по себе не слишком удачны. Судя по всему, подозрение это небезосновательно. Насколько я знаю, среди планов компетентных кругов стали известны два: план создания суверенной Австрии и план предоставления компенсации Польше за счет восточных германских территорий. Оба плана свидетельствуют о полном незнании сути немецкой проблемы. А удастся ли установить мир или нет, на семьдесят процентов зависит от решения проблемы Германии и на тридцать – от решения проблем малых стран, расположенных на территории между Германией и Россией. Дело в том, что наиболее критический вопрос будущего мира состоит в том, что установление согласия или возникновение конфликта между так называемым англосаксонским миром и Советской Россией зависит не от социализирования капитализма, обуржуазивания советской системы, Дарданелл, ближневосточной неф-

ти, Индии, Маньчжурии, а лишь от того, останутся ли Германия и расположенные от нее в восточном направлении малые страны регионом анархии и рухнувших политических авторитетов. Возможно, такое безапелляционное суждение покажется несколько странным. Нынешнему политическому мышлению свойственны определенные ложные представления относительно мировых взаимосвязей, согласно которым проблемы Центральной и Восточной Европы являются лишь одним из комплексов противоречий наряду с не менее сложными и не менее деликатными проблемами Ближнего и Дальнего Востока, а также Западного полушария. Однако если мы вспомним, что проблемы Центральной и Восточной Европы отличаются от всех других проблем мировой политики лишь той «незначительной» деталью, что за последние тридцать лет из-за отсутствия консолидации в этом регионе вспыхнула уже Вторая мировая война, то стоит довериться утверждению, что если разразится третья мировая война, то вряд ли она будет иметь иной исходный пункт, чем центрально- и восточноевропейский регион.

То, что следует предпринять в отношении Германии, всецело зависит от того, что мы считаем причинами бед, обрушившихся на мир из Германии.

### *Легенды о «злой» и «доброй» Германии*

Нынешние модные трюизмы такого рода концентрируются вокруг двух диаметрально противоположных точек зрения. Согласно одному из них, немцы по своей природе или в силу возникшей в глубокой древности склонности отличаются пристрастием к насилию, варварством, властолюбию, стадностью и увлеченностью

туманной метафизикой; они не смогли освоить ни римской, ни христианской цивилизации; их история, начиная с Арминия [1], продолжая Барбароссой [2], Фридрихом Великим [3], Бисмарком, Вильгельмом II и завершая Гитлером, – постоянные нападения на другие страны Европы. В своей политической жизни и общественной системе они изначально не способны освоить европейские формы демократии и социалистического прогресса; они в принципе не в состоянии собственными силами освободиться от господства деспотичных князей, феодальных магнатов и милитаристских клик; их мышление, начиная со средневековых мистиков [4], продолжая Лютером, Гегелем, Ницше, Вагнером, Трейчке [5] и кончая Розенбергом [6], – постоянное противоборство с латинской ясностью и христианской гуманностью; их наука покоится на усидчивости, лишенной всякой одухотворенности, что не мешает им использовать эту науку в разрушительных целях; время от времени они заполняют мир такими фатальными монстрами, как лютеровская Реформация, прусский милитаризм, вильгельмовский культ власти и гитлеровский миф о расе и насилии. Что бы ни считалось основной причиной порочности немецкого характера – родовые предпосылки, немецкая феодальная общественная система, дух насилия немецких правящих классов, немецкая реакционная и националистическая система воспитания, – ясно одно: чрезвычайно опасно дать такому народу свободу, чтобы он и дальше развивал свои порочные качества и готовил новые нападения на другие народы. Все те планы, которые предполагают наличие в немцах глубоко коренящейся порочности, ставят перед Германией чрезвычайно жесткие условия мира и предоставляют ей мало возможности для самоуправления; слышатся требования длительной оккупации, строгого контроля,

более того, вмешательства в немецкую систему воспитания, и даже при самом умеренном подходе считается естественным утверждать, что Германии только тогда следует предоставить свободу в решении своих дел, когда она подтвердит *гарантиями*, что исправилась и изменилась.

По противоположной версии, немцы по своей сути добронравные и культурные люди; это народ поэтов и мыслителей, который наряду с французами, англичанами и итальянцами уже на протяжении тысячелетия является столпом цивилизации; их страна – цитадель европейской науки, они дали миру Баха, Генделя и Бетховена, Лейбница и Канта, Гете и Гумбольдта, из их рядов вышли основоположники либеральной и социалистической мысли, и немецкая социалистическая революция, зародившаяся на рубеже веков, могла бы стать примером для всей Европы, если бы ее развитие не было прервано Первой мировой войной и не заведено в тупик Версальским мирным договором; лишь нелепость и жесткость этого договора деформировали немецкий политический дух в такой мере, что в конечном итоге он пассивно принял и терпит террор вооруженного гитлеровского меньшинства. А раз это так, то не требуется ничего иного, как основывающийся на мягких условиях мирный договор, а также обеспечение доступа к власти в Германии прогрессивных и демократически настроенных немцев.

Трактовка этой проблемы, и это касается большинства альтернативных схем такого рода, крайне ошибочна. То есть оба эти подхода ложные.

В МЕНТАЛЬНОСТИ или в истории кроются причины немецкой истерии?

Представление о ментальной порочности немцев по-детски наивно и антиисторично. Предполагаемая органически связанная цепь от Арминия до Гитлера и от немецких мистиков до Розенберга не является ни органической, ни взаимосвязанной. Арминий ни на йоту не был ни более, ни менее антицивилизационным явлением, чем любой другой германский, кельтский, славянский, гуннский или арабский племенной вождь, господствовавший на пограничных территориях Римской империи. Туманность духа проявляется у немцев ничуть не больше, чем у скандинавов, которые и не помышляют восставать против Европы. Вряд ли можно однозначно утверждать, что лютеровская Реформация – сама по себе далеко не «туманная» – это восстание против Европы, против латинского порядка, дисциплины и ясности, а гораздо более радикальная кальвиновская Реформация не является таковым. Факт, что в кальвиновской Реформации больше латинских элементов, чем в лютеровской, однако все же непонятно, как могла лютеровская Реформация в северных странах – так же, как и кальвиновская в Западной Европе, – способствовать усилению индивидуализма, подготовке демократии и наряду с этим стать в Германии предвестником варварства, язычества, рабовладения и культа власти. Можно ссылаться на высказывания в еухе Гитлера, заимствованные у средневековых германцев и Лютера, однако подобного рода мысли можно встретить в истории и литературе и других народов, и, вероятно, однажды объявится какой-нибудь немецкий диссертант, который отыщет соответствующие аналогии. Комично, что всю эту историческую философию в духе Арминия, Лютера, Гитлера с большим воодушевлением принимают нацис-

ты, хотя и с противоположным знаком: по их мнению, вся немецкая история – это извечная борьба высшей, несущей культуру северной расы против средиземноморской анархии, латинского рационализма, восточного иудаизма и христианства, лишенного еуха борьбы. Однако вся загвоздка в том, что скандинавы и англичане, гораздо более «чистые арийцы», чем немцы, не признают этой исторической философии.

Органический недостаток всех этих исторических ретроспектив в том, что они разыскиваются и подключаются к трактовке данного исторического момента задним числом. Представим себе, что теория извечно немецкого противоборства с Европой декларируется в 1750 г. – и ситуация сразу же становится абсурдной. Попробуем провозгласить в 1792 г., в 1830 г. или в 1848 г., что у немцев больше склонности к политической истерии, чем у французов – и уже нет смысла спорить, насколько в то время это не соответствовало действительности. Безусловно верно, что в ментальности немцев, как и в ментальности любой другой нации, существуют определенные, время от времени повторяющиеся основные мотивы. Не утверждаю, что немцам не свойственна склонность к грубому насилию, вероломным нападениям, догматизму и метафизическим спекуляциям. Нет сомнения, что нынешняя деформация немецкого политического развития и немецкого мира ценностей имеет свои корни, уходящие в глубочайшие слои немецкого прошлого и немецкого характера; *подобная* историческая судьба у других народов наверняка не вызвала бы *таких* реакций. Однако это утверждение распространяется и на все удачные и неудачные повороты в истории любой нации. Вопрос, однако, состоит не в том, являются ли насилие, жестокость, догматизм и склонность к туманной метафизике исключительно

немецкими свойствами, поскольку немцы не единственный народ на земле, склонный к подобным проявлениям, а в том, постоянны ли в немцах нежелание участвовать в европейском развитии, неспособность освоить основные принципы коллективной европейской жизни и агрессивное противостояние европейским идеалам. То есть стабильно ли в них состояние истерии по отношению к европейскому сообществу? На сегодняшний день речь идет именно об этом. И то, что это является их характерными свойствами, с серьезным основанием можно утверждать, лишь имея в виду времена после 1871 г. [7].

С другой стороны, довольно наивно представлять дело так, что если нынешнее неистовство немцев имеет не ментальную основу, а связано с исторически прослеживаемыми причинами, то из отдельных, доньше «отверженных» групп немецкого общества или из отдельных немецких территорий, как из цилиндра фокусника, можно внезапно извлечь голубя «доброй» Германии. Если мы считаем, что гитлеризм – это явление, восходящее к «гитлеровцу» как крайне порочному человеческому типу, то это означает полное незнание природы общественных истерий. Абсолютно бессмысленны расчеты, по которым среди гитлеровцев устанавливаются численные пропорции юнкеров, мещан, северных немцев, альпийцев и т. д., что служит основой для далеко идущих выводов. Приходу к власти гитлеризма способствовала не только масса гитлеровцев, а в той же мере бездействие антигитлеровцев и вообще многообразные ложные ситуации и тупики, обусловившие превращение гитлеризма в общее дело и символ всех немцев. Таким образом, нет смысла размышлять над тем, сколько немцев стали гитлеровцами и как можно отделить «хороших» немцев от «плохих». Вопрос в том, что является причиной болезненного раз-



вития *всей* немецкой общественной жизни и где находится отправной пункт этого развития.

В этом отношении крайне ошибочно считать Версальский мирный договор единственной причиной деформации немецкого политического духа. Бесспорно, что этот договор вызвал глубокий кризис в политическом развитии немецкой нации, и без него гитлеризм не обрел бы свои нынешние формы. Однако бесспорно и то, что гитлеризм возник *не только* из-за этого договора, прусский милитаризм и вильгельмовский культ власти – органические предпосылки национал-социализма.

Исследование проблемы сворачивает на ложный путь, когда констатируется, что умопомешательство немцев произошло из-за Версаля как *исторической причины* или, с другой стороны, из-за врожденных или же сформировавшихся в древности *ментальных* свойств немцев. Вряд ли стоит сомневаться в том, что деформация немецкого политического духа имеет не ментальное, а историческое происхождение, однако эта историческая предпосылка возникла раньше Версаля. Большинство же тех, кто утверждает, что смятение немецкого политического духа объясняется историческими причинами, не обращаются к временам, предшествующим Версальскому договору. Как реакция на это все те, кто хорошо помнит агрессивность и культ власти вильгельмовской Германии, настолько углубляются в доверсальскую историю страны, что не останавливаются до времен самого Арминия. Ванситтарт [8] и его единомышленники черпают свои непосредственные впечатления об исконной немецкой агрессивности из времен вильгельмовской Германии. Та же вильгельмовская Германия служит источником опыта и для Брауна [9], который отмечает, что умопомешательство на почве власти в гитлеровской Германии проистекает

у немцев не из чувства неполноценности, а из параноидного душевного состояния, гипертрофированного ощущения реальных сил, которые и вправду существовали в могущественной вильгельмовской Германии, которой не коснулось унижение в еухе Версаля. Из этого он делает вывод, что немецкое помешательство на почве власти будет повторяться и вновь в такой ситуации, когда немцы достигнут определенного уровня реальной власти. То есть в этом-то им и следует воспрепятствовать.

Верный ответ здесь следующий: деформация немецкого политического еуха имеет *историческое* происхождение, то есть обусловлена конкретными историческими предпосылками, а это означает, что и оздоровление его может произойти вследствие удачных поворотов истории. А неудачные исторические предпосылки связаны не с Версалем, а с временами, на сто лет предшествующими ему.

Цель настоящего исследования состоит в рассмотрении исторических предпосылок смятения немецкого политического духа, начиная с того времени, когда эти предпосылки приобрели крайне опасный, пагубный характер, а именно, с начала 1800-х гг.

### *Примат политики*

МЕТОД изложения темы, которому мы будем следовать, намеренно противостоит подходу, обычно усматривающему за нынешней войной и вообще за любыми войнами борьбу экономических сил и экономических интересов и трактующий войну как побочное явление процессов экономического развития. Бесспорно, что экономические факторы могут влиять на суть войны, ее повороты,

средства и ход развития, более того, на ее исход. Однако в конечном счете это скорее сопутствующие причины и интересы, чем *causa prima*\*. Политические страхи, ощущение неопределенности и эмоции, ведущие к нарушению политического равновесия, находятся за пределами того пространства, где в угоду экономическим интересам можно «подстрекать» к войне, «подкупать» те или иные движения и «плести» политические интриги, более того, они находятся и вне того пространства, в рамках которого долгосрочные экономические тенденции или глубокие экономические кризисы и депрессии сами по себе могут стать причинами политических событий. Трюизм, согласно которому войны возникают из-за противоречий экономических интересов, приблизительно соответствует суждению, что нынешняя война и войны вообще – это плоды *преступления*; и это верно, однако знания этого отнюдь не достаточно для тех, кто хочет понять суть дела и помочь его решению. Крайне актуально попытаться – как в свое время и Карл Маркс, выявивший скрывающиеся за политикой экономические факторы, – отыскать за слишком часто декларируемыми экономическими отношениями политику и ее общественно-психологическое воздействие. И особенно остановиться на мучительном и беспорядочном процессе формирования современных наций, который с 1789 г. стал причиной хаоса в Центральной и Восточной Европе и через это – причиной нарушения европейского равновесия.

Вероятно, вызовет удивление, что временами мы приписываем политике влияние, деформирующее духовный облик целых народов, в то время как общеизвестно, что повсюду в мире большинство людей апо-

\* Первопричина (лат.).

литичны, более того, антиполитичны. Однако политика, о которой в данном случае идет речь, — это не то, что люди обычно связывают с понятием «политик» и по отношению к чему в большинстве случаев равнодушны или враждебны, а то, что обозначается словом «полис», то есть дело, положение общества и его отношение к отдельным индивидам. А это уже чрезвычайно интересно для большинства людей. Особенно это вызывает интерес со времени перелома XVIII–XIX столетий, то есть с периода возникновения современного общественного чувства, когда отношение к государственному сообществу, функционирование этого сообщества, его особенности и престиж в принципе стали общим и одновременно личным делом каждого. Эта демократизация принципов и эмоций в отношении к обществу — что еще не обязательно означает демократию — охватила всю Европу. В силу этого сложилась ситуация новейших времен, когда из-за проблем национального общества стали возникать разного рода общественные истерии, преобладающая часть которых сыграла свою негативную роль в фатальном нарушении европейского равновесия и среди которых по своей глубине особо выделяется истерия немецкой нации.

Нам следует, таким образом, ясно представлять природу политических истерий. Трюизмы, посредством которых анализируются политические лихорадки нашего времени, колеблются между двумя крайностями: одни из них исходят из наивного рационализма, который за самыми необузданными политическими движениями любым путем пытается обнаружить в качестве внутренней пружины поддающиеся трезвой оценке интересы, другие исходят из наивной эмоциональности, объясняя политические перемены непредсказуе-

мыми волнами массовых эмоций, рациональное объяснение которых представляется им пустой затеей. Это — еще одна из бесплодных альтернатив, через которые мы должны перешагнуть. Власть разума над эмоциями есть требование, от которого человечество не может отказаться в угоду какому бы то ни было иррациональному порыву, если не хочет утратить все то, чего достигло в своем развитии. Однако примат разума не означает, что нужно видеть рациональные интересы там, где главенствуют эмоции, и не принимать эмоции в расчет или же исходить из того, что в рационально организованном обществе эмоции не должны играть серьезной роли. Великие рационалисты мира всегда были велики в том, что и в комплексном мире человеческих чувств и эмоций не отказывались от попытки свести следствия к их причинам. Попробуем и мы следовать им на этом пути.

### *Симптомы политических истерий*

В СФЕРЕ изменений политических психосостояний в Европе с конца XVIII в. происходит решающий и фатальный поворот. С того времени замедленный темп европейского развития приобрел форму быстрых, взрывообразных, лихорадочных перемен, ныне уже грозящих в своих определенных точках полным хаосом. Дело в том, что прежние носители европейской политической культуры — монархия и аристократия — в одних случаях внезапно, в других постепенно потеряли свой престиж, и параллельно с этим произошла интенсификация общественных чувств, превращение их в массовое явление. Главнейшим проявлением этого стал современный национализм. Национализм

подключил к факторам европейского политического развития новое, опасное явление, а именно то, что в жизни целых наций стали возникать и приобретать решающее значение психические состояния, характерные для индивидуальных неврозов и истерий.

В дальнейшем мы намерены пользоваться выражениями «политическая истерия» или «общественная истерия». Понятие «истерия» в психологии\* объединяет в себе самые различные, спорные по придаваемому им смыслу явления, каждое из которых, естественно, можно анализировать по отдельности и рассматривать как истерию. Однако неразумно квалифицировать как общественную истерию проявляющиеся в повышенной степени политические чувства и эмоции и, в частности, более интенсивные политические эмоции, сопутствующие демократизации общественного чувства (что не обязательно является демократией!). С большим основанием можно считать истеричными по характеру те описанные Ферреро [10] длительные состояния страха, которые возникают после постигших общество сильных исторических потрясений, — крушения политических авторитетов, революций, установления чужеземного господства, поражения в войне и т. д. — и обычно проявляются в ощущении постоянной угрозы заговора, революции, коалиции

\* Термины, применение которых не единообразно и в психологии личности, естественно, нельзя без оговорок употреблять по отношению к социально-психологическим явлениям, и на сегодняшний день нам еще далеко не ясны пределы такого употребления. Однако неоднозначность смысла этих понятий в психологии личности не только затрудняет описание отдельных аналогичных явлений социальной психологии, но одновременно предоставляет и определенную свободу в использовании этих аналогичных терминов. (*Примеч. автора.*)

и в неутомимом преследовании мнимых или подлинных политических противников. Однако о реальной общественной истерии можно говорить тогда, когда одновременно присутствуют все ее характерные симптомы: потеря обществом чувства реальности, неспособность к решению жизненных проблем, необъективная самооценка, самовозвеличивание, неадекватные реакции на вызовы окружающего мира.

На мой взгляд, было бы ошибкой считать причиной «душевных смятений» политического по своему характеру общества воздействие психического расстройства отдельных индивидов и рассматривать их как совокупность такого рода психических отклонений, как результат влияния отдельных психически неуравновешенных личностей или как какой-либо вид массовой истерии. Считаю бессмысленным, хотя и не лишенным интереса анализ психического состояния истеричных членов общества или его руководителей в надежде выявить природу общественной истерии. С другой стороны, следует остерегаться всякого рода социальной метафизики, наделяющей *само* общество некой «душой» и «душевными коллизиями». Общественная истерия возникает из совместного воздействия *индивидуальных* душевных состояний, однако по отдельности эти состояния не обязательно являются истерией, ведь общественная истерия может длиться на протяжении жизни нескольких поколений, и, таким образом, все новые и новые члены общества переживают вызвавшие истерию впечатления; иные люди создают ложную картину о состоянии общества и опять же через иных людей проявляются истеричные реакции этого общества. Общественно-политическая позиция часто является лишь одной из областей душевного мира этих людей, которые придают форму истерич-

ным проявлениям общества посредством политических действий или же их одобрения и признания, и эти люди как индивиды могут быть психически полноценными, здоровыми и вызывать симпатию; все то, что они предпринимают, декларируют и высказывают от имени общества и по делам общества, в конкретной ситуации представляется им разумным, реальным или же, во всяком случае, неизбежным. Однако следствием этих воздействующих в совокупности проявлений, в отдельности не имеющих истеричного характера, является то, что отношение общества к реальности, к своим интересам, задачам и к своему окружению складывается таким образом, что обнаруживает черты, аналогичные состоянию и реакциям истеричного человека. Поэтому бесплодное и бессмысленное дело изыскивать природу общественных истерий в порочных индивидах, группах, общественных классах или приверженцах политических течений и размышлять над тем, каков процент этих людей в составе всего большого общества и как их можно исключить из этого общества. Общественная истерия, естественно, формирует своеобразный тип фанатичного, ожесточенного и ограниченного человека, который первым поверит и будет распространять характерный для истерии вздор, полный самообмана; она создает и своих хлебников, плывущих на ее волнах и подкармливающих ее, а также своих гангстеров и палачей. Самые различные причины могут способствовать созданию такого положения, что среди этих людей окажется большое число членов определенных групп, уроженцев определенных областей и т. д. Однако никакой пользы не принесет реализация планов, стремящихся укротить истерию путем ликвидации, изоляции или иного рода исключения из общества ее очагов или ка-



ким-либо образом установленного круга ее носителей. Дело в том, что общественная истерия – это состояние всего общества, и бесполезно локализовывать круг явных носителей истерии, если ее условия и исходные моменты останутся неизменными: стоящие у истоков истерии потрясения не исчезнут, а ложная ситуация, на которой она базируется, не найдет разрешения. Напрасно мы ликвидируем всех «злодеев»: сопутствующие истерии заблуждения и извращенные реакции будут продолжать жить в солидных отцах семейств, в сознании многодетных матерей, в степенных гражданах, не способных обидеть и мухи, в благородных, возвышенных личностях, и общество за время жизни одного поколения снова породит неизменных спутников истерии – фанатиков, нахлебников и палачей.

### *Природа политических истерий*

ОТПРАВНОЙ точкой политической истерии всегда является какой-либо *связанный с потрясением исторический опыт* общества, причем связанный не с любым потрясением, а с таким, в отношении которого члены общества ощущают, что нести это бремя и решать возникающие из-за него проблемы им не по силам. Общество, которое подобно здоровому и энергичному человеку может своими силами, будь они большими или малыми, обеспечить себе надежное и безопасное существование, закаляется в постигших его невзгодах и преодолевает их, потому что трезво оценивает реальные причины своих бед, извлекает из них уроки, переживает удар, если считает его стихийным бедствием, принимает на себя ответственность за то, что считает

следствием собственных ошибок, требует компенсации за несправедливость, переходит к очередным делам, не останавливаясь на том, что не в силах изменить, расстаётся с иллюзиями, ставит перед собой конкретные цели и решает стоящие перед ним задачи. Таким образом, уравновешенное общество, хотя и проявляет порой резкие и бурные реакции, в конечном итоге *разрешает свою проблему*, то есть не впадает в истерию, поскольку истерия – это как раз бегство от проблемы. Поэтому нельзя назвать подлинной политической истерией Французскую и русскую революции независимо от того, какое бы сильнейшее потрясение они ни означали, какие бы серьезные отклонения ни вызвали в политическом развитии своих стран и как бы их отдельные проявления ни свидетельствовали об истерии. Дело в том, что общественную проблему, составлявшую суть обеих революций, а именно, построение общества, исключаящего гегемонию личной власти, и – в другом случае – создание бесклассового общества, французское и русское общества в конечном счете *разрешили*. Французская революция, продолжавшаяся, по сути, до процесса Дрейфуса [11], главным образом в своей первой стадии (1789–1814) имела истеричный характер, наряду с этим особенно Французская революция, но в определенной мере и русская проявили симптомы истерии во внешнеполитической сфере. Однако классическим пространством истерий, охватывающих всю политическую жизнь и становящихся чуть ли не хроническими, является Центральная и Восточная Европа.

Тому, что бремя какого-либо потрясения становится невыносимым для того или иного общества, может быть немало причин: внезапность и масштабность потрясения, незаслуженность вызванных им страданий,

его несправедливость или несоразмерность кары, острота вызванных им проблем, незрелость общества, ложная трактовка предшествующего исторического опыта, который пробудил в обществе чрезмерные надежды и необоснованный оптимизм, и т. д. Глубокое потрясение сопровождается параличом политического мышления, чувств и намерений данного общества, когда в нем начинает доминировать память об этом потрясении, извлеченный из него верный или неверный урок, а также желание получить стопроцентную гарантию неповторимости катастрофы. То есть мышление, чувства, активность общества начинают болезненно концентрироваться вокруг определенной трактовки единственного впечатления. В этом застопоренном состоянии актуальные проблемы, если они имеют какое-либо отношение к болезненной точке, становятся неразрешимыми. Однако общество, как и индивид, не может, да и не посмеет признаться себе в этом. И таким образом, общество хватается за какое-нибудь псевдорешение, иллюзию решения и придумывает какую-нибудь формулу или компромисс, посредством которого пытается согласовать несогласуемые вещи, шадя при этом те силы, которые в действительности препятствуют решению проблемы, то есть те силы, с которыми в интересах успешного исхода дела ему как раз и следовало бы бороться. Это такие ситуации, когда страна делает вид, что она едина, хотя это не так, что она независима, хотя это не соответствует действительности, что она демократична, хотя об этом нет и речи, что она переживает революцию, хотя на деле находится в застое. Связь между находящимся в ложном положении обществом и реальностью приобретает все более искаженный характер; при решении вновь возникающих проблем общество исходит не из

реального положения и реальных возможностей, а из субъективной оценки своего нынешнего и будущего желаемого состояния. Со временем оно становится все менее способным к поиску причин своих проблем и неудач в естественной цепи причин и следствий, и всем своим бедам оно находит объяснение, которое при трезвой оценке и сравнении с реальными фактами оказывается явно ложным, хотя и позволяет сохранять ложное положение живущего в ложной ситуации общества. То, что живущее в ложной ситуации общество «что-то не принимает к сведению», означает не неприятие во внимание или замалчивание какого-либо конкретного факта, а выработку общественным или же главенствующим в обществе мнением определенных оборотов речи, с помощью которых оно постоянно дает отпор неприятным для него констатациям. Истеричная картина мира замкнута и совершенна: она все объясняет и все подтверждает; все то, что она констатирует и предписывает, находится в полном соответствии. В ней все слаженно и гармонично. Однако у нее есть один недостаток. В ней все слаженно, не потому, что все соответствует подлинным ценностям и реальным фактам, а потому, что она систематизирует требования ложной ситуации и декларирует именно то, что хотят слышать живущие в этой ситуации. Такое ложное состояние и такая ложная картина мира со временем вырабатывают в жизни общества стабильную контрселекцию, которая выдвигает в первый ряд специалистов по ложным компромиссам, мастеров совмещения несовместимых вещей, ложных реалистов, за реализмом которых на деле кроется лишь насилие, хитрость или самодурство, и наряду с прочим выводит на авансцену тех, у кого общественная истерия находит свое выражение и в какой-либо форме инди-

видуальной истерии; с другой стороны, эта контррефлексия обрекает на бездеятельность тех, кто ясно видит и объективно оценивает положение, поскольку подаваемые ими сигналы тревоги не находят ни малейшего отклика в закрытой и самодостаточной истеричной картине мира. В истеричных обществах все более развивается склонность к *ложной самооценке*, со скрываемым от самих себя уважением они взирают на достижения полных жизненной энергии и способных реально оценивать свои задачи обществ, но одновременно радостно воспринимают все то, что их превозносит, — большей частью вопреки очевидности. Мало-помалу в таких обществах начинают проявляться известные симптомы конфликта между мечтами и реальностью: гипертрофия власти и чувство неполноценности, желание пользоваться законными правами и умаление реальных достижений, преклонение перед успехом, претензии на крупную компенсацию и вера в магическую силу декларирования несуществующего, иными словами, в пропаганду. Чем больше неудач постигает общество на этом пути, тем менее оно становится способным использовать уроки этих неудач в своих интересах, и в этой точке возникают *искаженные, неадекватные реакции* на воздействия окружающего мира. Истеричная душа стремится найти того, на кого можно переложить ответственность за все беды, и таким образом самой полностью освободиться от нее: мир вокруг себя она заполняет жупелами. Она подобна примитивному человеку, который на основе собственного опыта не способен понять причины постигших его стихийных бедствий и, таким образом, усматривает в них злонамеренность, происки магических сил и злых духов. Бессмысленность ссылки на магические силы однозначна для тех, кто видит реальные причи-

ны явлений и не испытывает скрывающегося за этой ссылкой страха, пострадавшая же сторона не воспринимает никакого логического объяснения. Истеричный человек и истеричное общество в этом отношении ведут себя, как дикари, однако если дикари *не в состоянии* понять подлинную причину явления, то истерик *не хочет* ее понять. Истеричная душа постепенно концентрирует всю свою энергию на преодолении влияния угрожающих ей магических сил посредством некой антимагии, и со временем решение всех открытых вопросов своей жизни ставит в зависимость от той компенсации, которую получит с помощью этой антимагии. Созданную для себя нереальную картину мира она рано или поздно начнет переносить на свои отношения с окружающим миром; жупелы она локализует где-то в реальном мире и с таким неистовством и яростью, порожденными страхом, начнет атаковать свое окружение, что и вправду возбуждает в нем те пагубные, разрушительные намерения и настроения, которые предполагала в нем. Если окружение дает какую-либо компенсацию, истерик видит в этом оправдание своей картины мира и, как только эта вожденная компенсация оказывается у него в руках, теряет чувство меры. Этой компенсации ему уже недостаточно, и в нем проявляются такое безграничное моральное самодовольствие и жажда власти, которые вызовут на бой все его окружение. Исход этого боя, в конечном итоге, предопределен независимо от наличия физических сил у той и другой стороны, численности солдат и количества сырьевых ресурсов: пострадавший индивид или общество терпят вовсе не потому, что физически слабее своего окружения, а потому, что находятся в ложных отношениях с действительностью. В своем неистовом поиске компенсации индивид постепенно

лишается всех тех вспомогательных факторов, которые сопутствовали ему, пока его дело имело хотя бы какую-то реальную и справедливую основу, а также тех, кого он принудил быть рядом или кого считал соратником. В конце концов одержимый человек или одержимое общество лицом к лицу сталкиваются с фактами, не идущими в сравнение ни с какой магией, заклинаниями или иллюзиями. Потом, после катастрофы, наступает отрезвление, выздоровление или, наоборот, – новая, еще более глубокая истерия.

*Корни немецкой истерии:  
пять великих тупиков немецкой истории*

ОСНОВНОЙ причиной нарушения европейского равновесия новейшей эпохи является ряд таких истерий. Исходный пункт этой серии – *внешнеполитическая истерия Французской революции*, которая началась глубоким потрясением, вызванным крушением французской монархии; эта истерия вызвала к жизни призрак Сатаны – антиреволюционную коалицию эмигрантов и европейских монархистов, затем окунулась в кошмар террора, придумала в свою защиту наполеоновскую революционную диктатуру, своего рода квадратуру круга, добилась успеха и подтверждения своей правоты в Амьенском мире [12] и Люневильском мире [13], достигла своего апогея в агрессивной политике 1801–1804 гг. и на этом построила фантазмагорию европейской империи, покатила по наклонной в испанской кампании [14] и вылилась в катастрофу в 1812 г. Как побочное явление этого процесса возникла *прусская истерия*, которая началась йенским поражением [15]; эта истерия придумала себе сатанинского «заклятого врага» (Erbfeind) – Францию, создала себе в за-

щиту прусский милитаризм, взяла реванш при Кениггреце [16] и Седане [17], приобрела неистовые формы во Франкфуртском мире [18], поддалась беспричинному самовосхвалению и лживой романтике в вильгельмовской Германии и вызвала катастрофу в 1914 г. Аналогом этой истерии была *французская истерия страха*, которая, однако, уже не сочеталась с проблемами внутренней общественной жизни, а проявилась во внешнеполитической сфере. Эта истерия началась с поражения 1870–1871 гг., затем она ополчилась на пруссизм, представив его как происки Сатаны, в свою защиту сформировала союзническую систему Антанты [19], взяла реванш в 1918 г., выплеснулась через край в Версальском договоре, после 1919 г. впала в иллюзию французской гегемонии и в 1940 г. вылилась в катастрофу [20].

Однако самой значительной по своей глубине и скорости протекания была *истерия версальской Германии*. Ее глубокой раной стал Версальский договор, сатанинским кошмаром – демократия, евреи, в чьих руках сходятся все нити, движущие капитализмом и коммунизмом, патологической защитой – гитлеровская картина мира и гитлеровская революция; она взяла реванш аншлюсом [21] и Мюнхеном, потеряла всякую меру с вступлением в Прагу [22]; покатила по наклонной во Второй мировой войне, и ее завершающая катастрофа происходит на наших глазах.

Из этого ряда истерий органическое единство составляют истерия вильгельмовского пруссизма и гитлеровская истерия: катастрофа 1918–1919 гг. – завершение первой истерии и начало второй. Таким образом, анализ немецкой истерии следует начать с истоков истерии вильгельмовского пруссизма, то есть с 1806 г., с распада Священной Римской империи германской нации и со связанной с этим катастрофы Пруссии. Каждая истерия имеет две фазы: первая – критическая ситуация тупика, в которой



данное общество не в состоянии стать хозяином положения и скорее прибегает к псевдорешению; вторая – тупик самого псевдорешения, который в конечном счете выливается в катастрофу. Однако поскольку в начале серии немецких истерий также стоит катастрофа, проистекающая из тупиковой – хотя совсем не истеричного характера – политической ситуации, а именно, из анархии Священной Римской империи, немецкую историю новейшего времени можно охарактеризовать и как серию следующих один за другим пяти политических тупиков. А именно: Священная Римская империя германской нации, Германский союз, вильгельмовская германская империя, Веймарская республика и гитлеровская третья империя. То, что Священная Римская империя, Германский союз и Веймарская республика означали тупик, общеизвестно. То, что выступившая под флагом динамизации развития и политического подъема гитлеровская третья империя уже с самого начала несла в себе зачатки катастрофы, сегодня констатируют и те, кто ранее этого как-то не замечал. Однако то, что для вильгельмовской германской империи, зародившейся под знаком объединения Германии и усиления германской власти, были также характерны политическая окостенелость и застой, до сих пор признавали немногие. Ниже я намерен подтвердить это суждение, поскольку уверен, что в этом направлении более всего удастся добратья до корней бед и, исходя из этого, окончательно развеять легенды о «злой» и «доброй» Германии.

## 2. ТУПИК СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

### *Тяжелое бремя германской истории: территориальные княжества*

С СЕРЕДИНЫ IX в. германское государство становится реальным компонентом политической структуры Европы. Во времена правления Людовика Немецкого, после Верденского договора [23] территории германских племен объединяются в составе самостоятельного Восточно-Франкского королевства. Столетием позже, когда вымерла германская ветвь династии Каролингов [24], германская нация становится уже живой, осязаемой реальностью, поскольку знать четырех племен (франков, швабов, саксонцев и баварцев), объединенных железной рукой Карла Великого, уже по собственному почину избирает «германского» короля. В последующие столетия Германия, как и другие страны Западной Европы, развивается в условиях организованной анархии эпохи феодализма, хотя так же, как и во Франции, ее единство сохраняется за счет продолжения династии по женской линии и престижа королевской власти. Однако в то время, как французское королевство постепенно подавляет могущество феодальной знати и вступает на путь, ведущий к созданию современной государственности, в Германии при попустительстве королей, грезящих о римской императорской короне, феодальная знать обретает все большую власть на своих территориях и, начиная с эпохи нового времени, стремится превратить свои земельные владения в «государства». Система территориальных княжеств была самым тяжелым бременем германского политического развития. Это означало, что хотя между монархией и бюргерством установились союзнические отношения, что во французском политическом развитии сыграло

столь существенную роль, в Германии этот фактор не имел серьезного влияния. С древних времен здесь гораздо большее значение по сравнению с Западной и средиземноморской Европой, атомизированной и рационализированной Римской империей, имела родовая селекция, и система территориальных княжеств означала, что вместе с князьями, бывшими феодалами, вся страна оказалась в путах гипераристократического общественного строя. То гнетущее влияние, которое оказывали на самосознание простых людей, их веру в себя привилегированные особы родовой аристократии по всей Европе, нигде не было столь стабильным, глубоким и тотальным, как в Германии. Наряду с этим наличие системы территориальных княжеств означало резкое сужение понятия свободы и, в частности, личной свободы. Даже в более отсталых по сравнению с Германией странах, лежащих от нее на восток, пространство свободы – хотя и довольно ограниченное, концентрирующееся вокруг привилегированных сословий, – было более обширным, чем в Германии, и охватывало большие массы людей. В Германии же «*Libertas Germanica*» все в большей мере сводилась к свободе и абсолютной власти князей – бывших феодалов, так что эту свободу ни на каком уровне абстракции уже нельзя было сопоставить со свободой народа.

*Анархия римско-германской империи  
и преемственность германской нации*

АНАРХИЯ Священной Римской империи и независимость территориальных князей отнюдь не означали, что германская нация перестала существовать. Согласно широко распространенному мнению и во времена Священной Римской империи не могло быть, речи о нации, поскольку

ку национальная идея является плодом Французской революции; однако нация как таковая родилась не с Французской революцией, и только связанные с нацией чувства приобрели в то время массовый характер: нация как характерная общность Европы имеет гораздо более длительный путь развития. Формирование некоторых наций началось уже в V–VI вв., большинство же из них сложились на рубеже X–XI вв.; в перипетиях XV–XVI вв. и в XIX–XX вв. к уже существующим присоединились лишь несколько меньших, хотя и значительных новых наций. Существует мнение, по которому утверждается – большей частью для беспринципного обоснования изменения границ, – что государственные границы в Европе, а вместе с ними и национальные рамки на протяжении полутора тысячелетий находятся в состоянии постоянного изменения, в котором, помимо воздействия сил власти, не проявляются никакие иные закономерности. На самом же деле национальные рамки в Европе и при больших или меньших изменениях государственных границ сохраняют удивительное постоянство. Однако не следует подразумевать под политическими рамками реальную государственную власть в ее нынешнем понимании. Нация, разумеется, и тогда означала политические рамки – королевство, страну. Однако в условиях тысячерукого и тысячеголового феодализма, обладающего реальной властью, об этом часто свидетельствовали лишь тонкие, как паутина, символические связи, титулы, которые оказывались подчас огромной силой и отличались необычайной устойчивостью. И хотя выражающий политическое единство титул, даже королевский, нередко был лишь номинальным, те рамки, к которым он относился, и тогда являли собой единство, обладающее общим правом, условиями взаимобмена, интенсивным и постоянным культурным и политическим взаимовлиянием и которое соединяло

крепкими узами сознание призванности избранной династии и авторитетной знати, а позже все в большей мере — общественное сознание интеллигенции и буржуазии. Приблизительно в XV в. зарождаются все те мысли, в которых и поныне отражается осознание элементов национального чувства: нация как единство, благо которого — главный аспект деятельности общества, учет и оценка национальных особенностей, неприятие чужеземной власти и, наконец, значение национального языка. Как свидетельствует опыт европейской истории, нации, однажды возникнув, никогда не распадались лишь по причине ослабления центральной власти и обретения самостоятельности местной властью: ставшая самостоятельной общность только тогда превращалась в отдельную нацию, когда отмежеванию сопутствовали глубокие или долговременные политические впечатления, обусловившие внутреннее самосознание нового единства и его отделение от прежнего. Исконной территории германской нации с этим смыслом касалось образование трех новых наций: голландской, бельгийской и швейцарской. Что касается обретения самостоятельности территориальными княжествами, из-за отсутствия глубоких впечатлений политического характера это не привело к распаду Германии на множество наций. В какой-то мере по этому пути двинулась Пруссия, однако в силу различных причин развитие прусского государства также оказалось в общем русле германского развития. Менее характерно такого рода развитие было для Австрии, которая на протяжении столетий являлась родиной императора, олицетворявшего германское единство. Хотя император обладал все меньшей реальной властью, германская империя продолжала сохранять свои границы, у нее был свой глава государства, общие институты, общее право, а также общее национальное сознание и общий язык. Не говоря уже о том, что

для населения германских свободных городов, церковных вотчин и бесчисленных малых княжеств живой политической реальностью была их принадлежность к германской империи и подчиненность власти германского императора, что давало им ранг и имя в Европе. Распад германского государства долгое время означал лишь то, что власть крупных феодалов не удалось подавить настолько, насколько это удалось во Франции. Поэтому в глазах мира и немцев Австрия, Бавария, Бранденбург, Пфальц были такими же землями германского королевства, как Иль-де-Франс, Нормандия, Анжу или Гасконь для Франции. Политическая реальность институтов германской империи стала окончательно фиктивной лишь после Вестфальского мира [25], однако номинальные границы империи сохранились и в дальнейшем, и что более важно, сохранилась германская нация как политико-психологическая реальность. Мы привыкли изучать европейскую историю по карте и принимать всерьез лишь обозначенные на ней желтым или красным цветом владения Габсбургов, Гюгенцоллернов, Виттельсбахов [26], а обозначающую границы германской империи черную линию воспринимать как след уже не вызывавшей особого почтения исторической реликвии, которая в 1806 г. правомерно и окончательно исчезает с карты. Однако крайне нелепо недооценивать неизменную с начала Средневековья психологическую реальность германской нации только потому, что за ней уже не стоит единая политическая власть. Если Римская империя как влиятельный политический фактор на полторы тысяч лет смогла пережить крушение былой Римской империи, то вряд ли стоит удивляться, что идея германской нации, германской монархии, германской империи пережила эти сто пятьдесят лет, длившиеся со времени Вестфальского мира до периода возрождения современного национального

чувства. Если мы признаем то огромное значение, которое имеют длившиеся до эпохи Французской революции феодальные отношения, ныне воспринимаемые как нечто символическое, то не стоит умалять значения и того факта, что Габсбурги и после Вестфальского мира остались правителями германского королевства.

### *Глубокий шок 1806 года*

ГЕРМАНСКАЯ нация еще долгое время могла бы спокойно существовать в условиях полной атомизации Священной Римской империи; полнейшая политическая раздробленность не помешала ей достичь с XVIII до середины XIX в. такой степени подъема и проеуктивности в духовной сфере, что никто в то время не мог оспаривать ее величия как нации. Однако страшное впечатление от наполеоновского нашествия с невероятной четкостью и внезапностью выявило всю безысходность и застойность политического положения, полнейшее отсутствие опоры и недееспособность германского политического организма. Две великие немецкие державы, Австрия и Пруссия в 1792 г. расшевелили свирепого зверя революционной Франции, однако столкнувшись лицом к лицу со стихией восставшего народа, а позже с отчаянной решимостью, проявившейся в наполеоновской аванюре, они начали искать компромисс с этим новым устрашающим фактором, и одним из основных объектов их трансакций стали находящиеся в состоянии анархии германские территории: сначала они передали Франции германскую Рейнскую область, а затем были вынуждены принять к сведению, что Центральная и Южная Германия в силу Рейнского союза [27] отошли к Франции. Потеря Рейнской области не вызвала стихийной реакции:

Шиллер с полным спокойствием и примирением обращает свое слово к двум борющимся за мировое господство нациям, французской и английской, и не останавливается на мысли о том, что кроме них в Европе есть и иная великая нация, и это как раз его нация. Однако после Аустерлицкого сражения [28] образование Рейнского союза, закат Священной Римской империи, крушение Пруссии и прямое или косвенное подчинение половины Германии французской власти означали, что дремавшая в состоянии аморфного могущества Германия внезапно оказалась в крайне ничтожном, подчиненном положении. Для трезвомыслящих умов германской нации это низвержение послужило уроком того, что величие нации проявляется не только в численности населения и в культурных достижениях и что наиболее престижным свидетельством бытия любой великой нации является единая и прочная государственная власть, *какая имеется у французов.*

### *Исконное бремя германского национализма*

УРОК катастрофы 1806 г. стал исконным бременем германской национальной идеи.

Современное национальное чувство родилось с демократизацией связанных с нацией чувств. До 1789 г. убежденными представителями нации как формы общности было дворянство, которое, опираясь на свой многовековой опыт, со спокойствием и уверенностью несло связанную с этим ответственность и использовало возникавшие в этом отношении возможности. С конца Средневековья в национальные рамки начинают непрерывно вливаться интеллигентские и буржуазные слои, «третье сословие». В ходе Французской революции этот процесс изо дня в день приобретает форму победного овладения нацио-



нальными рамками, и на основе этого впечатления рождается современное национальное чувство. Сколько бы революционная демократия и вообще любая демократия ни провозглашала свободу человека, эту свободу она всегда реализовывала в рамках конкретного общества и путем овладения этим обществом. Таким образом, это впечатление означает не ослабление связанных с обществом чувств, а как раз их усиление, и это утверждение остается в силе и в отношении таких ситуаций, когда – как в случае русской революции – революция носит подчеркнуто антинационалистический характер. Современному национальному чувству придает огромное напряжение и интенсивность тот фактор, что в нем соединяются два ощущения: то, что «третье сословие», народ овладевает страной королей и дворянства, со всем ее историческим и политическим престижем, вызывающей представительностью и наряду с этим начинает испытывать к ней все те непосредственные, теплые чувства, которые до сих пор питал лишь к своему узкому окружению. В комплексе этих ощущений чувства гражданина были сильнее, и в соответствии с сущностью демократии оно так и должно было быть, поскольку современная демократия в конечном итоге означает победу гражданина, его активной, творческой формы жизни над наслаждающимся своим властным положением, репрезентативными функциями аристократом. В Западной и Северной Европе, где затемнение политического сознания и его болезненные деформации не имели места, эта связь между демократией и национализмом является живой, осязаемой реальностью.

Однако для германской нации, как и для итальянской, демократизация национальных чувств наряду с народным овладением страной королей и дворянства означала и иную проблему. Национальными рамками нельзя было овладеть потому, что сначала их нужно было создать.

Свойственное Западной Европе совпадение национальных и государственных рамок в Центральной Европе отсутствовало. Оказалось, что ни германские, ни итальянские большие или малые территориальные княжества, ни конгломерат Габсбургской империи не превратились в рамки новых наций: воспрянули не австрийские, баварские, прусские, сардинские национальные чувства, а немецкие, итальянские, польские и т. д. Однако у живущих здесь наций отсутствовало то, что для западноевропейских наций было естественным, конкретным и осязаемым: реальность собственных государственных рамок, государственный аппарат, единая политическая культура, сформированная экономическая система, ее сработанность и налаженность, столица, духовная элита и т. д. Таким образом, формирование современных национальных рамок в этих странах требовало не только внутреннего политического движения и демократизации, но и территориальной перестройки, изменений в сложившейся системе европейских государств. И в этой точке демократическое содержание среднеевропейского национализма начинает убывать. Оно, разумеется, остается, поскольку без него нет национализма, однако вопрос о национальных рамках отодвигает демократическое содержание на задний план. А это вызвало повышение веса и значимости таких элементов, которые сами по себе имели довольно отдаленное отношение к демократическому развитию. Та династия и, что еще хуже, та аристократия и та армия, которые участвовали в борьбе за создание столь желаемого национального единства, в силу этого получили возможность и правовое обоснование реализации своих взглядов и идеалов, порой в ущерб идеалам демократии. Наряду с прочим это привело к тому, что из двух компонентов национального чувства в этих странах получил перевес военно-дворянский, то есть агрессив-

но-репрезентативный аспект, возобладав над гражданскими, цивилизными, гуманными и миролюбивыми чувствами и настроениями. Вот почему необоснованно и неразумно придавать особое значение в формировании национализма интересам крупной буржуазии, а его деформации – интересам крупных землевладельцев-аристократов и интригам военных клик. Отдельные индивиды и группы, статично закрепленные в системе отношений интересов, никогда не способны ни создать, ни прочувствовать глубокие, серьезные идеологии, а могут лишь воспользоваться создаваемыми ими возможностями. Крупная буржуазия была первой, кто нажился на демократических преобразованиях, а крупные феодалы и военная каста использовали в своих интересах то тяжелое положение, в котором оказалось дело национального государства и национального единства в Центральной Европе, и прежде всего в Германии.

В Германии это фатальное развитие усугубил шок 1806 г. Испытания этого года и без «заразы» демократических идей могли послужить достаточной основой для возникновения массовых националистических и шовинистских движений, однако под влиянием французского примера широко распространилось убеждение, что лучшее лекарство от таких и подобных им болезней – сильное и могущественное национальное государство. Именно поэтому неверна заученная в школе истина, что «заслуга» революционных и наполеоновских войн состоит в распространении по всей Европе демократических идей. Как раз наоборот, с точки зрения европейской судьбы демократии губительным было то, что в трех европейских странах, Германии, Италии и Испании, распространение демократических идей соединилось с исторической памятью об иностранной интервенции, а рождение национальной идеи – с сопротивлением этой интервенции. Вследствие

этого демократизм и национализм, как бы они ни были связаны между собой, проявились в этих странах таким образом, что в данной ситуации их можно было *противопоставить* друг другу.

### *Начальные этапы движения за единство Германии и шансы династии Габсбургов*

ФРАНЦУЗСКИЙ пример, а также шок 1806 г. пробудил во всей Германии стремление к демократическим преобразованиям и созданию единого германского государства. В первой половине XIX в. обе эти тенденции неизменно сохраняли свой параллельный и взаимосвязанный характер, однако память о глубоком унижении 1806 г. оказывала такое влияние, что с первых шагов эмоциональный акцент ставился в большей мере на национальном единстве, чем на демократических преобразованиях. Как мы уже отмечали, те огромные трудности, которые стояли на пути создания единой Германии ввиду наличия системы территориальных княжеств, заинтересованных в раздробленности Германии, вынудили движение за германское единство искать опору и среди недемократических факторов. Первый такой шаг в поисках опоры был предпринят в обнадеживающем направлении: в сторону самой сильной и знатной немецкой династии с тем намерением, чтобы на основе своих военных и государственно-административных ресурсов, а также своего европейского престижа она выполнила великую задачу воссоединения германской нации.

На первом этапе развертывания немецкого национального движения не было никаких сомнений в том, что эта роль должна принадлежать Габсбургам. Как воскричал Эрнст Мориц Арндт [29], поэт, прославлявший не-

мецкую освободительную войну против Наполеона, «Свобода и Австрия! Наш лозунг: да правят Габсбурги!»

Бесспорно, что Габсбурги располагали всеми необходимыми предпосылками для выполнения этой роли. Прежде всего, они обладали как правовой, так и генеалогической легитимностью, что было чрезвычайно важно во времена Венского конгресса. В 1815 г. еще здравствовал и был главой Габсбургского дома последний германоримский император [30]. Более пятисот лет назад по праву наследования по непосредственной женской линии от Каролингов и Гогенштауфенов [31] германский королевский трон занял первый Габсбург [32], и его потомки уже четвертое столетие, за исключением коротких перерывов, продолжали эту традицию. Их Священная Римская империя германской нации была единственно легитимным и реальным символом исторического единства германской нации, поскольку другой легитимный институт германского государственного права, территориальные княжества, был как раз самым большим препятствием на пути создания единой Германии.

Для выполнения этой роли у Габсбургов имелись и моральные предпосылки. Их империя была одной из самых могущественных и ответственных в европейских делах, чьи несколько патерналистские, но гуманные традиции управления установились в наиболее продуктивном и возвышенном столетии феодальной Европы, в XVIII в., и заняли достойное место среди великих немецких достижений той эпохи. Не стоит забывать, что наилучший немецкий и одновременно наилучший европейский гражданский кодекс носит австрийское название. Следует отметить, что среди занимавших германский трон членов Габсбургского дома почти не было легкомысленных, несерьезных правителей, и, по замечанию Марии Терезии [33], все они были «достойными и милостивыми мо-

нархами, достойными христианами, достойными мужьями, достойными отцами, достойными друзьями своих друзей». А известная габсбургская неблагодарность скорее проистекала из имперсональности самодержавной власти, чем из каких-то моральных отклонений. Возможно, ни в одной европейской династии с таким постоянством не проявлялась моральная ориентация на идею «христианского князя», а позже – «просвещенного монарха», чем в Габсбургской династии, и в лице Леопольда II [34] династия пополнилась и «конституционным монархом» современного типа. Часто упоминают о довольно посредственных интеллектуальных способностях Габсбургов, и это утверждение скорее всего основывается на том факте, что два решающих периода истории Габсбургской династии отмечены долговременным правлением и вправду не отличающихся особой одаренностью Леопольда I [35] и Франца II. Однако надо сказать, что большинство (около трех четвертей) из двадцати двух Габсбургов, обладавших германской королевской короной, а также римской и австрийской императорской короной, как в интеллектуальном, так и в моральном отношении были прирожденными или же способными к правлению самодержцами. Конечно, эта династия не блистала такими впечатляющими личностями, какими отличалась династия Капетингов [36], но именно поэтому они и были немцами, а не французами. Мнение, что Габсбургская династия, а вместе с ней и Австрия якобы представляют не германскую, а латинскую струю немецкого духа, лишено серьезной основы. Безусловно, Габсбурги несли в себе европейский и католический дух, и, как и любой другой династии, ей были свойственны интернациональные правители (Карл V [37], Фердинанд I [38], Карл VI [39], Франц II). Однако вся династия и ее наиболее представительные члены – Рудольф Габсбург, Максимилиан I [40],

Фердинанд II [41], Мария Терезия и Франц Иосиф [42] – были немцами в хорошем и плохом смысле слова: наряду с глубоким чувством ответственности, высокомерным достоинством, способным «оттаять» лишь в интимном кругу, упрямством, эмоциональной сдержанностью для них были также характерны трезвый, практический ум и при полном отсутствии остроумия веселый нрав и доброе сердце. Сам Бог создал их императорами *немцев*.

Создание готовой к возрождению единой Германии под эгидой династии Габсбургов означало бы для всей Европы огромное преимущество. Дело в том, что самый тревожный, но неизбежный фактор европейского равновесия новейшего времени, а именно, единая Германия таким образом унаследовала бы неизменную позицию, традиции и сознание ответственности в европейских делах одной из самых авторитетных европейских династий.

В 1815 г., в период Венского конгресса идея восстановления германской империи под эгидой Габсбургов была широко распространенной и популярной в кругу тех, кто болел душой за дело германского единства. Если бы в 1815 г., в великий момент восстановления легитимности император Франц заявил, что его произошедшее по принуждению в 1806 г. отречение от престола недействительно, то ни у кого бы не вызвало сомнений, да и не могло бы вызвать, что он является законным германо-римским императором и единственным законным символом любого стремления к объединению Германии.

Однако император Франц не желал снова принять титул германского императора. Это нежелание и то, что за ним стояло, было моментом всемирно-исторического значения, можно сказать, фатальным моментом, потому что именно тогда политическое развитие Германии свернуло с прямого пути.

*Faux pas\* 1804 года:**принятие титула австрийского императора*

Путь реализации обнадеживающей возможности создания единой Германии под эгидой Габсбургской династии, традиционно предназначенной и пригодной для этой задачи, с одной стороны, осложнил неудачный исторический процесс, а именно, вытеснение с территории Германии значительной части габсбургских владений, а с другой стороны, преградил неудачный исторический акт: принятие Габсбургами титула австрийского императора. Одним из последствий Реформации стало то, что страны Габсбургской империи были окончательно вытеснены в Южную Германию и наряду с этим у них возникли прочные контакты со странами, лежащими вне Германии. Долгое время не было и речи о том, что эти отношения будут длительными и постоянными. Политические рамки отдельных европейских наций уже в средние века четко размежевались, и австрийские, венгерские, чешские и моравские земли Габсбургов являли собой чисто случайную «интернациональную» династическую унию, подобную арагоно-сицилийским, англо-ганноверским и т. п. связям. Когда возникло первичное ядро позднейшей Габсбургской империи, оно было чем угодно, но никак не «дунайским» государством, как это представляется сегодня. Один из его компонентов – обладавшее германской императорской короной австрийское княжество привнесло в эту унию все итальянские и западноевропейские интересы германо-римской империи; чешское королевство лишь в незначительной части было дунайской страной, а территориально сократившееся в ходе турецкого продвижения венгер-

\* Ложный шаг (*франц.*).



ское королевство представляло собой, собственно говоря, военную авансцену Германской империи в восточном направлении. В этой унии долгое время не проявлялось серьезных намерений к объединению. До середины XVIII в. не возникало никаких сомнений в том, что габсбургская династия представляет в Европе политический вес Германской королевской власти, сочетающейся с титулом римского императора. Габсбург воспринимался в Европе просто как «император», чья власть основывается на его германских и итальянских позициях, и между тем он и венгерский и чешский король. Однако в ходе XVIII столетия с потерей Силезии его германские позиции все более ослабевают, и во время войн за австрийское наследство во всей своей гротескности выявилось такое положение, что у страны Марии Терезии, не обладавшей титулом императрицы, нет даже названия, и представляет она собой конгломерат австрийской, венгерской, чешской, ломбардской, бельгийской, хорватской наций или осколков наций с различным правом, различными языками, различными административными системами и различным сознанием. Параллельно с этим не менее гротескна и другая сторона медали: муж Марии Терезии, этот превратившийся в итальянского князя французский герцог, обладал императорским титулом, поскольку в угоду жене был избран императором [43], однако не имел ни пяди земли в Германии и, таким образом, продемонстрировал полнейшую фикцию германо-римского императорского титула. С середины XVIII в. проявляется стремление создать из дунайских стран Габсбургов единое по территории государство и наполнить его неким «австрийским» сознанием. Однако эта целеустановка еще во времена Иосифа II была тесно связана с усилением германской позиции и акцентированием германского характера Габсбургской империи.

Во времена правления Франца II эта тенденция обрела фатальный поворот из-за чрезвычайно неудачного исторического акта – принятия в 1804 г. титула австрийского императора. Ферреро отмечает, что этот акт относится к той же серии самочинного и насильственного создания государств, которую начала в Европе Французская революция образованием цисальпийского, гельветского, батавского, этрурийского, вестфальского государств [44], и насколько абсурдно, что на этом пути ей следовал как раз правитель наиболее древней и консервативной династии, династии Габсбургов, поскольку принятие титула австрийского императора означало бунт германо-римского императора против самого себя. Ферреро находит ключ внутренней политики Франца II в его итальянском воспитании, мы же, со своей стороны, попытаемся рассмотреть и далеко идущие последствия этой равнодушной к делу объединения Германии политики, оказавшие свое воздействие на европейское политическое развитие. Дело в том, что логическим последствием принятия титула австрийского императора был последовавший через два года отказ от титула германо-римского императора. А это означало, что с символизирующей германское единство позиции германо-римского императора глава Габсбургского дома опустился до ранга германского территориального князя и, таким образом, стал всего лишь одним из многих. В то время как для германо-римского императора и германской нации ликвидация системы территориальных княжеств или хотя бы ее оттеснение на задний план несли в себе огромные перспективы, австрийский император стал союзником других, подобных ему территориальных князей, с которыми его связывали общие интересы, начиная с прусского короля и кончая главой провинции Гессен-Гомбург [45]. И это толкнуло прежде всего Габсбургов по

крутой наклонной, для полного спуска по которой потребовался всего лишь один век: сегодня габсбургский претендент на австрийский трон называет себя не будущим австрийским императором, – что было бы комично в случае семимиллионной империи, – а «ландесфюрстом», то есть территориальным князем.

### *Взгляд вперед на déchéance\* Габсбургов*

ПРИНИМАЯ титул австрийского императора, Франц II и его советники, по всей вероятности, считали, что лишь вербально закрепляют реальный факт, меняя, так сказать, вывеску на фасаде, то есть титул германо-римского императора, который уже не соответствовал реальностям и лишь делал посмешищем его носителя. На самом же деле это изменение названия нанесло древней европейской династии смертельную рану. Отказом от «германского» титула Габсбурги отбросили от себя такое знамя, которое в предстоящие столетия могло обрести новую и гораздо более значительную по сравнению с прошлым символику и которое могло объединить под эгидой этой династии всю германскую нацию. Наряду с этой грандиозной возможностью попутно и, по всей вероятности, сравнительно легко разрешилась бы проблема отделения ненемецких стран Габсбургской империи. Однако титул австрийского императора рождал иллюзию того, что Габсбурги стали правителями территориально единого, компактного государства, которое со временем, возможно, удастся наполнить и единым «австрийским» сознанием. В свете этой тщеславной надежды германская гегемония представлялась им тягостной и

\* Упадок, падение (франц.).

призрачной обязанностью и ко всему способной вызвать противостояние с другими германскими территориальными князьями. Австрийская же империя казалась «прочной», «надежной» позицией, и именно поэтому император Франц в 1815 г. не хотел возобновлять претензии на гегемонию посредством принятия титула германского императора, которые, по его мнению, он был уже не в состоянии наполнить реальным содержанием.

В действительности же с этого кажущегося на первый взгляд реального политического решения начинается быстрое ослабление европейских позиций Габсбургов и их империи. Несмотря на то, что по решению Венского конгресса империя Габсбургов стала территориально единой, что ее армия снискала себе славу и авторитет, что она приобрела наибольший, чем когда-либо, политический вес, тем не менее ее внутреннее равновесие пошатнулось, и ее внутренние силы как будто иссякли. Политика империи в отношении Германии стала крайне статичной, будучи не в состоянии продвинуться дальше временного решения в форме Германского союза, вызывавшего все большую неприязнь, на чем мы ниже остановимся подробнее. В Италии она была вынуждена покорно смириться с тем, что как чужеземная власть вызывала все большую ненависть как раз тогда, когда и на деле стала негерманским государством. Германские, итальянские и венгерские события 1848 г. однозначно засвидетельствовали, что в Центральной Европе государственные и национальные границы не совпадают и что ни одно из национальных движений не отождествляет свою судьбу с судьбой Австрии. В ответ на ощутимую угрозу развала империи Австрия в 1849 г. жестоко подавила венгерскую и итальянскую революции, что с тех пор рассматривается как неприглядный исторический акт со стороны Австрии, придающей ныне столь большое значение миролю-

бию и кротости. (Необоснованная лихость, рожденная страхом, проявится в жизни австрийской династии и еще раз – в 1914 г., в преддверии краха.) В период 1849–1866 гг. Франц Иосиф вновь попытался осуществить неосуществимое: остаться правителем немцев и одновременно сохранить многонациональную «австрийскую» империю. Однако и в его случае оправдалась библейская истина «кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее» [46]. В 1866 г. Габсбурги были одновременно вытеснены из Германии и Италии, то есть из сферы длившейся девятьсот лет власти германо-римской империи, и как раз в то время, когда она перестала быть и *германской*, и *римской*, то есть и фактически не могла стать иной, как только *австрийской*, она оказывается вынужденной уступить требованиям, нацеленным на отделение венгерского государства, и в 1867 г. распадается на Австро-Венгрию. Достаточно бросить взгляд на карты 1792 г., 1815 г. и 1867 г., чтобы убедиться в быстром сужении сферы власти Габсбургов со времени отречения от титула германо-римского императора и до принятия титула австрийского императора. Трагические масштабы сокращения территории становятся ощутимыми во всей полноте при сравнении их с нынешними представлениями, касающимися возрождения дунайской монархии. Перед потомком германо-римских императоров, наследником Рудольфа Габсбурга, императора Максимилиана, Марии Терезии и Иосифа II ставится задача предотвратить возможность объединения Австрии и Германии и возвести на Востоке заслон, предохраняющий от германской империи. Для ее выполнения он стремится стать императором 6–7-миллионной Австрии и приблизительно в два раза большей по численности населения Венгрии. Кроме этого, он хотел бы присоединить к своей империи Чехию и Словакию, однако эти страны никто ему не предлагает. Он также не отказывается и от своих прав на

Хорватию и Словению, однако при сложившихся обстоятельствах не советуется даже и упоминать о них. Чтобы выполнить свои намерения, он вынужден хотя бы в трех направлениях – в отношении австрийцев, венгров и чехов – одновременно играть на струнах проникновенного и аранжированного для сольных партий патриотизма. Автора этих строк все это положение мало волнует, однако при взгляде на него глазами Габсбургов оно представляется крайне унижительным. Маловероятно, что в будущем Габсбурги будут играть серьезную роль в Европе, и самой жалкой среди возможных ролей стала бы как раз роль монарха в такой дунайской монархии.

#### *Отступление от уха европейской монархии*

МОЖЕТ показаться странным, что мы потратили столько слов и выразили столько сожаления по повоему того исторического факта, уже давно потерявшего свою актуальность, что объединение Германии произошло под эгидой Югенцоллернов, а не Габсбургов. Где ныне Габсбурги и где Югенцоллерны, спросит кто-то, и какое отношение к судьбе мира имеет исход соперничества между ними? К сожалению, имеет, и к тому же немалое. Прежде всего следует отметить, что европейская монархия всегда была самым важным институтом политической жизни Европы, и монархическим династиям принадлежала решающая роль в формировании почти всех европейских наций, их характера и политического облика. Во-вторых, следует принять во внимание, что основной вопрос нынешнего европейского кризиса состоит в том, что монархия как политический авторитет потерпела крах, и ее место, во всяком случае в Центральной и Восточной Европе, осталось никем не занятым. Самым смелым ша-

гом европейской демократической революции было объявление войны европейской монархии, однако надо отметить, что до настоящего времени эту войну полностью она еще не выиграла. У нас есть серьезные перспективы и надежды на окончательную победу над монархизмом и замену его иными факторами, однако для осуществления этого нам необходимо проанализировать его историческую роль, функцию и наряду с этим оценить то пустое пространство, которое он оставил после себя.

Европейская монархия, какой ее застала Французская революция, была результатом более чем двухтысячелетнего развития цивилизации. Этот институт, как отмечает Ферреро [47], коренным образом связан с политической традицией Римской империи времен Августа, сохранявшей в себе идею римской республики. Эта традиция, а также средневековое христианство превратили господство вождей германских племен, отличавшееся безудержным авантюризмом и жесточайшим деспотизмом, в упорядоченное и обусловленное правами и обязанностями, ролями и задачами, служебной этикой и традиционными правилами человеческое призвание. Это способствовало тому, что во времена позднего Средневековья и столетия нового времени европейская монархия являла собой уже не грубую единоличную власть, а ее более или менее одухотворенную и способную к дальнейшему развитию форму. Если на сегодняшний день, как мы видим, в Западной Европе ключевые позиции занимают такие люди, которые — например, президенты, короли — большей частью достойно и уверенно выполняют свои задачи в соответствии с их рангом; и им и в голову не придет использовать обусловленные их положением возможности для злоупотребления личной властью, то при этом нельзя забывать, что все это стало возможным лишь потому, что в Европе уже много веков назад сложилась такая форма правления, когда

безграничная власть превратилась в конвенциональную роль и грубая практика власти стала полной достоинства презентацией, а господство над жизнью и смертью людей преобразовалось в ключевую позицию, необходимую для согласования функций и компетенций. И все это произошло под воздействием особого рода воспитания, способствовавшего формированию такой породы людей, которые с детских лет были приучены выполнять как можно более имперсонально диктуемые их высоким рангом обязанности. Прямой путь вел от «христианского князя», «просвещенного государя», «конституционного монарха» к современному, имперсональному типу главы государства. Положение, сфера компетенции и служебная этика президента Французской республики проистекают не из позиции Робеспьера, Директории [48] и Наполеона, а из позиции Людовика XVIII и Луи Филиппа [49], и не случайно, что авторами французской конституции 1875 г., впервые после революции обеспечившей Франции политическую стабильность, были монархисты. Если где-то этого преимущества не было, то глава государства имперсонального типа там просто невозможен (например, в Америке). Однако если в Америке действия обладающего большой личной властью главы государства строго ограничиваются четко продуманным в деталях демократическим аппаратом, а в России суть еще большей личной власти главы государства состоит в выполнении им утвержденного плана общественных реформ, то в этом ощущается, как бы это странно ни звучало, косвенное влияние идеала европейского монархизма. Разумеется, речь идет не о том, что без имперсонального главы государства не может быть демократии, однако именно он является лучшим регулятором демократического государственного аппарата, и именно имперсональный глава государства более всего пригоден – будь то монархия или республика – к той роли, чтобы



в большей или меньшей степени приученное к единоличной власти общество приблизить к конечному демократическому идеалу политической организации, когда не личности, представляющие политическую власть, господствуют над большинством, а над самими представителями аппарата политической власти главенствуют законы, принципы и планы.

С такой исходной позиции можно более объективно оценить тот искаженный идеал монархии, который возник на основе одной из самых сомнительных по ценности традиций Французской революции, овеянный романтикой идеал гениального политического лидера. Эта ложная романтика на примере личности Наполеона создала ложную картину европейского монарха или, если хотите, картину *ложного монарха*, для которого правление – не призвание и система установленных компетенций, а романтическая, геройская, впечатляющая личная авантюра. Это не только не прогресс по сравнению с прежними королями «Божией милостью», «по наследству бесталанными» и дегенеративными, а огромное отступление назад, поскольку вместо спиритуализированной личной власти традиционного монарха общество снова подверглось воздействию грубой, тотальной личной власти. К счастью Европы, на протяжении всего XIX столетия европейские династии все это не приняли к сведению, а во всех отношениях продолжали – и даже еще в большей мере – придерживаться тысячелетней системы ролей, свойственной корректному монархическому правлению. Лишь в конце XIX в. появляется одно из наиболее гротескных и фатальных явлений европейского политического развития – обладавший короной ложный монарх Вильгельм II, который, буеучи самодержцем, представлял свою роль правителя в романтическом свете. В случае внезапно возвысившейся, второразрядной

германской династии территориальных князей такого рода явление возникло не без причины, однако оно было бы совершенно невероятным в Габсбургском доме, в домах германо-римских императоров.

В свете сказанного, возможно, будет более понятным фатальное значение для германского политического развития того факта, что наиболее важное явление в процессе формирования европейской политики новейшего времени, а именно объединение Германии, произошло не под эгидой Габсбургов, обладавших для этого исконными предпосылками, а под эгидой Гогенцоллернов, не относившихся к наиболее знатным родам германских территориальных князей. Габсбургский дом являл собой высшую школу имперсонализма власти монарха не только в германских, но даже и в европейских масштабах, поскольку эта династия, не считая небольшого перерыва, на протяжении пятисот лет обладала величайшим символом европейской системы государств – германо-римской империей, и это был тот ранг, историческому весу, престижу, потенциальным возможностям и символическому значению которого ей следовало бы остаться достойной даже тогда, когда он уже не означал реальной власти. В противовес этому германские территориальные княжества в силу своего сословно-феодалного характера гораздо в большей мере представляли в европейских масштабах единоличную власть, чем европейская монархия как таковая. Для внутригерманского политического развития фатальное значение приобрел тот факт, что в тот момент, когда перед всеми европейскими народами стояла наиважнейшая задача ликвидации единоличной системы правления, именно Германия, где необходимость в этом была наибольшей по сравнению с другими европейскими странами, отстает назад и в еще большей мере, чем прежде, оказывается в тисках системы единоличной власти.

### 3. ТУПИК ГЕРМАНСКОГО СОЮЗА [50]

#### *Родовые пороки Германского союза*

Поскольку в 1815 г. не удалось воскресить германоримскую империю, у германской нации остался единственный легитимный политический институт – территориальные княжества. Напрасно барон Штейн [51] писал, что «у меня только одна родина, и имя ей – Германия; в момент переживаемого грандиозного подъема династии для меня абсолютно второстепенны». Армия, гвардия чиновников, верность народов – все это было на стороне династий, и сам Штейн должен был служить им и подстрекать к войне, чтобы поражение Наполеона стало реальностью. На Венском конгрессе, таким образом, династии вершили судьбу Германии, и теперь от их желания зависело, какое германское единство будет создано и в каких масштабах. Династии же стремились прежде всего сохранить в неприкосновенности, более того, укрепить институт территориальных княжеств. Вместе с тем они также осознавали, что после великого 1813 г. [52] всей Германии необходимо придать какую-либо политическую форму. На почве противоборства этих двух тенденций в 1815 г. родился Германский союз.

Ферреро считает эту политическую формацию несовершенной, однако при учете сложившегося положения оценивает ее как не самое худшее решение, приемлемое и в аспекте европейского равновесия. Бесспорно, что Германский союз обеспечил условия для того, чтобы Германия не оставалась страной анархии и ничьей землей; сотни малых княжеств южной и средней полосы Германии навсегда ушли в прошлое; организационная форма союза по сравнению со Священной Римской империей была более прочной, конкретной и более зрелой. Одна-

ко наряду с этими преимуществами, которые в аспекте движения за объединение Германии во многом не достигали желаемого минимума, имелись и огромные недостатки, исключавшие возможность успешного продолжения начатого дела.

Первый порок мы уже отмечали: у Германского союза не было явного, конкретного руководителя. Можно проинтерпретировать по поводу полнейшего отсутствия власти у «римского» императора, однако этот император был одновременно и германским королем, то есть символом, который в конкретной ситуации мог превратиться в носителя глубокого содержания. Отсутствие руководителя в привыкшем к единоличной власти обществе, каковым было германское общество, было пороком, имевшим решающее значение.

Второй порок проистекал из первого. То, что титул германо-римского императора не был возрожден, означало, что Германский союз благословил деяние Наполеона, развал Священной Римской империи в 1806 г., а конкретнее то, что германские князья теперь уже и формально перестали подчиняться верховному сюзеренитету, окончательно став «суверенными» на своих территориях, и лишь сами по себе, на добровольных началах могли создавать свои объединения. Курфюрсты и маркграфы стали королями и эрцгерцогами. Разумеется, это было лишь изменением титулов, и уже во времена Священной Римской империи реальным положением был полный суверенитет. Но изменение титулов и полный суверенитет означали, что территориальные князья, еще в недавнем прошлом бывшие скорее феодалами с неограниченной властью, чем подлинными династиями, теперь уже полностью переняли манеры и запросы крупных европейских династий, более того, утрировали их, и все это именно потому, что за исключением дома

Габсбургов и еще одной-двух правящих династий они не были подлинно великими европейскими династиями. Стоит вновь указать на то порочное явление германского политического развития, что не главный правитель сломил власть крупных феодалов, а сами крупные феодалы стали государями на своих территориях, в результате чего у большинства германских династий до конца сохранились такие неискоренимые качества, которые у крупных европейских династий уже давно сублимировались в служебной этике христианского монарха.

Третьим пороком в ходе упорядочивания германских дел в 1815 г. было то, что огромное число семей территориальных князей Священной Римской империи, которые перестали быть правителями (так называемые медиатизированные семьи [53]), обрели особое правовое положение, наиболее ярким атрибутом которого стало брачное равноправие, а высшей привилегией в обществе – сохранение и гарантия определенных рамок феодальной власти и права на правосудие. Это означало, что Германия не только получила в качестве *династий* множество семей с большим или меньшим феодальным сознанием, но сверх того слово, данное династиям, а также конституция Германского союза гарантировали *другим семьям* такие феодальные привилегии, которые по всей Европе в наибольшей мере препятствовали общественному развитию и находились в стадии ликвидации.

Таким образом, хотя Германский союз и ликвидировал анархию Священной Римской империи, он все же стал тупиком в аспекте объединения Германии, поскольку укрепил и поставил под защиту легитимности европейского монархизма наибольшее препятствие на пути объединения Германии, а именно систему германских территориальных княжеств. Все это было временным положением, которое лишь усилило вызванное великим

потрясением 1806 г. стремление к созданию прочного и единого германского государства. Не случайно, что именно в это время возникла гегелевская философия государства, поднимающая на метафизический уровень значение *государства*. Хотя гегелевская философия выступала в защиту прусского государства, то есть в защиту территориального княжества, ощущавшего себя в состоянии обороны, в вызванной этой философией реакции она стала мечтой о несбыточном, нереальном едином *германском государстве*, существующем лишь на метафизическом уровне и лишь в качестве постулата.

### *Великий провал 1848 года*

ПРИЗНАНИЕ того, что Германский союз нежизнеспособен и что он является неэффективным политическим органом в плане объединения Германии, настолько утвердилось к 1848 г., что стало движущей силой политических событий и движений. 1848-й год и в Германии стал годом революций, во главе которых стояли германская либеральная буржуазия и германская интеллигенция и которые местами довольно легко привели к позитивным и многообещающим результатам. Однако когда после местных революций в отдельных «государствах» на передний план выступили вопросы, касающиеся политической системы всей Германии, когда прошли выборы во всегерманский парламент и пользовавшийся всеобщим признанием эрцгерцог Иоганн был избран имперским регентом [54], внезапно выявилась основная проблема территориально-политического разделения Германии, а именно то нелицеприятное обстоятельство, что австрийское государство, юридически и исторически предназначенное для цен-

трального управления, на три четверти состоит не из немцев. Дилемма заключалась в том, что в политическом отношении немцы еще не созрели для устранения династий, с другой стороны, при сохранении соглашения с династиями руководящая роль австрийской империи теряла свой смысл в новом, едином германском государстве. Из этой дилеммы родилось своего рода полурешение, оказавшее решающее, роковое воздействие на политическое развитие Германии, так называемый план создания «Малой Германии», который вместо полного германского единства в рамках «Великой Германии», включавшей в себя и австрийских немцев, ограничивался созданием частичного германского единства, то есть без Австрии и австрийских немцев, под главенством прусской династии.

В 1848 г. всегерманский парламент попытался обсудить весь этот круг проблем и довести дело до решения. Однако в ходе этого вскоре выявилось полнейшее отсутствие опоры и центра тяжести всего германского политического организма: центральный парламент и назначенное имперским регентом центральное правительство намеревалось управлять империей без солдат, чиновников и верноподданных, и к тому же из города, который не был столицей ни одной из стран. Все это завершилось тем, что правительству никто не хотел подчиняться, а позже – в духе решения «Малой Германии» – избранный германским императором прусский король отказался от императорской короны и назвал ее именем, оскорбляющим достоинство немцев и идею народного суверенитета. В итоге первый парламент германской нации был вынужден скитаться по городам, и его карьера закончилась тем, что правительство одного из второразрядных германских государств просто-напросто распустило его. 1848-й

год остался в памяти германской нации как год сумасшествия, а в памяти сторонников единой Германии — как год позора. Хотя ряд завоеванных в то время законов сохранили свою силу и в дальнейшем, тем не менее эта дата стала синонимом катастрофы в истории политического развития германской нации. Катастрофичность этой даты обусловлена тем, что ее уроки впервые подтвердили на практике то тягостное для германской нации и одновременно ложное представление, что *проблема объединения Германии неразрешима*. На самом же деле она была неразрешимой *при наличии территориальных княжеств*. Однако поскольку со времени распада Священной Римской империи в Германии не было иного традиционного института, кроме территориальных княжеств, идея полного объединения Германии стала ассоциироваться с мыслью о полном революционном хаосе. Таким образом, уступчивость сил традиций силам демократии, что проявилось с середины XIX в. по всей Европе, в Германии не имела места, во всяком случае внешне это не обнаружилось. Возникло такое впечатление, что задача создания единого демократического национального государства, поставленная перед германской нацией ее лучшими представителями и в решении которой большинство европейских наций после больших или меньших потрясений смогли продвинутся вперед, для германской нации оказалась непреодолимой трудностью, а силы, стоявшие на пути осуществления этой задачи, оказались настолько стойкими, что для победы над ними требовались нечеловеческие усилия.



### Истоки германского мифа

ЭТО БЫЛ тот критический момент, когда вместо постановки реальных целей и достижения реальных результатов германская нация погрузилась в псевдорешения, политические формулы, символы и фантазмагии. Как не было случайным, что за вызванным 1806 г. тягостным ощущением отсутствия германского государства вскоре последовала гегелевская метафизика государства, так не были случайными явлениями немецкой духовной жизни после 1848 г. Вагнер и Ницше. Речь идет не о том, что их искусство и философия без событий 1848 г., — когда они уже были сложившимися мастерами, были бы в корне иными, однако без поражения 1848 г. они не могли бы играть той роли, которую они играли в формировании новейшего германского мира ценностей. Картина мира, наполнявшая жизнь могущественными индивидами неземной силы, с которыми могли соперничать лишь мифические существа и «сверхчеловеки», могла понадобиться лишь такому обществу, которое не способно решить поставленную перед ним историей задачу и преодолеть препятствующие этому силы. И поскольку история не предоставляет обществу для решения проблем современности ничего иного, как только *людей*, пришлось заселить существами и «сверхчеловеками» германской мифологии немецкое прошлое и будущее.

При таком душевном состоянии нации, когда вместо подлинных решений принимаются псевдорешения, на передний план выступает сила, не столь мощная, чтобы решить проблему объединения Германии, но достаточная для того, чтобы стать носителем псевдорешения, а именно *прусский милитаризм*. В этой исторической ситуации возвышается величайший ложный реалист европейской истории — *Бисмарк*.

### Прусский милитаризм

Ныне вошли в обиход миф и страшная сказка о пруссаках. *Прусский миф*, наиболее известным носителем которого был Шпенглер, воссоздает пруссака как тип супераристократичного, креативного европейца высшей расы и, всемерно одухотворяя его идеал, как бы внушает мысль о том, что вся Европа нуждается в как можно большем числе людей, рождающихся в Пруссии. Даже более сдержанные в своих суждениях панегиристы усматривают в безграничной верности долгу и его исполнении характернейшее свойство прусской ментальности; прусских чиновников они представляют в таком свете, будто это единственное в своем роде явление и нигде в Европе не существует столь неподкупного административного аппарата. Авторами *страшной сказки* о пруссаках были французы. Согласно их версии, немецкое бешенство новейшего времени вызвано прусской инфекцией, а в немецком преклонении перед властью и насилием отражается дух прусских феодально-милитаристских клик.

Однако бессмысленно искать суть прусского милитаризма в самой прусской армии, в прусской аристократии или в духовности прусского народа. И вообще неумное дело усматривать корни милитаризма в исконной жестокости того или иного народа или его военных клик. Между исконной жестокостью немцев и шведов и милитаристским духом Гинденбурга или лорда Китченера вряд ли существует глубокое различие. Милитаризм – это *общественное* явление, и превращение общества в милитаристское зависит не от того, что думают о войне и о самих себе военные, а от того, что думает об армии общество. В Европе сегодня нет общества, милитаристского по своей системе в том смысле, в каком им было спартанское или казацкое общества, – которые без войн

и обеспечиваемой ими власти потерпели бы экономический крах. Немецкое общество также не является таковым, во всяком случае, до сих пор его не удалось полностью превратить в таковое.

Факт, что прусское офицерство уделяло много внимания вопросам войны и вообще было настроено на войну, однако в этом оно по сути не отличалось от армий других европейских континентальных стран. То, что прусская армия любила особо жесткие строевые приемы и суровую муштру, могло быть природным свойством, или исторической традицией, или своеобразным отражением жесткой общественной системы, однако такие факты не могут служить причиной ни современного милитаризма, ни войн. То, что прусская аристократия применяла суровые и жестокие методы правления, могло быть серьезным препятствием на пути демократического развития восточных областей Германии, однако такого рода факторы имели место и в других странах, и все это еще далеко не милитаризм. Для того чтобы общество европейского характера считало армию не неизбежной обузой и дорогостоящим бременем, а делало из нее вопрос престижа, всячески усиливало ее мощь, независимо от того, есть ли в этом необходимость, и всемерно поддерживало в обществе постоянное воодушевление по отношению к ней, ему необходимо познать исторический опыт обезоруживания, подчиненности, отсутствия армии. Все это познала Пруссия в период между 1806 и 1813 гг., и Ферреро прав, когда именно в этом периоде ищет историческую дату рождения прусского милитаризма. Напрасно ссылаться на обожествление армии королем-капралом [55] и опустошительные войны Фридриха Великого: тогда проявлялись лишь прусские повадки, но не прусская истерия, которая после 1806 г., независимо от повадок, глубоко охватила души. Немецкий народ помнил лишь

опустошения, нанесенные армиями Фридриха Вильгельма I и Фридриха Великого. И лишь в опьяненном успехахми 1813 г. реорганизованная и марширующая по улицам прусская армия превратилась в подлинный символ освобождения, возвращения свободы и германского национального единства. Ожидание великих взлетов и великих падений породило в политически незрелой прусской правящей верхушке склонность к преувеличению своих добродетелей и своих ценностей, и память о 1813 г. побудила немцев к созданию мифа о прусских достоинствах и представлению этой мифической картины в качестве образца для подражания.

*Роль прусской идеи в германском мире  
и комплекс «заключенного врага»*

РОЛЬ прусской идеи в германском мире ценностей окончательно сложилась лишь к концу XIX в. Однако воздействие прусского культа армии и милитаризма на реальное политическое развитие Германии началось гораздо раньше. Дело в том, что общественные проявления, которые отражали укоренившиеся в сознании правящих слоев прусского государства страх, ощущение неопределенности и поиск реванша, уже с самого начала имели такие последствия, что прусское государство – единственное в Европе – и после 1815 г. продолжало сохранять систему всеобщей воинской повинности, вследствие чего политический вес прусской власти при учете численности населения страны многократно увеличился. Этому способствовало и то обстоятельство, что Пруссия, имевшая в конце XVIII в. среди своих подданных почти столько же поляков, сколько и немцев, после Венского конгресса – и тут «помогла» политика

императора Франца, равнодушная к его собственной роли в Германии, – оказалась самым крупным немецким государством, поскольку вместо переданных России польских территорий она получила германские земли вдоль Рейна. Именно в результате совместного воздействия двух этих факторов зародилась идея ведущей роли прусского государства в Германии в противовес тем чрезвычайно весомым мотивам, которые обосновывали передачу этой роли Габсбургам. Однако всех прусских солдат и всех преимуществ, проистекающих для Пруссии в случае обретения этой роли, было бы недостаточно для воплощения этой идеи в жизнь, если бы не фактор великого поражения 1848 г. Это обеспечило предпосылки для политики и успеха Бисмарка. Основным стремлением Бисмарка в первой половине его политической карьеры –, то есть до той поры, пока он *volens nolens*\* не стал творцом германского единства, было с наибольшей силой и выразительностью показать губительность, фатальность исторического опыта 1848 г., иными словами, убедить во мнении, что проблема полного объединения Германии неразрешима, поскольку институт территориальных княжеств непобедим. Этот опыт он использовал для предохранения германских территориальных княжеств и прусской королевской династии от всех тех опасностей, и прежде всего от опасности оказаться под властью Габсбургов, которые угрожали им в случае реализации идеи полного объединения Германии. В интересах обеспечения противовеса Бисмарк мобилизовал все возможные источники Пруссии, и в 1866 г. ему удалось парировать эту угрозу. Однако этого все же было бы недостаточно для превращения Пруссии в глазах немцев в олицетворение идеи герман-

\* Волей – неволей (лат.)

ского единства, если бы этому не способствовал общественно-психологический фактор, а именно то, что великое потрясение 1806 г., незабываемое впечатление от унижения немцев, Пруссия пережила более интенсивно, чем Австрия, и пробудившееся в немцах раздражение, желание взять реванш Бисмарк мог полностью использовать как вспомогательный фактор. В 1806 г. в Пруссии и в малых германских государствах сформировался комплекс «заклятого врага» (*Erbfeind*), согласно которому Франция представлялась как исконный враг немцев, веками лелеющий единственную цель – помешать объединению Германии и усилению ее могущества. Несколько странно, но образом до 1806 г. об этом вековом, фатальном антагонизме заинтересованные народы имели довольно смутное представление, гораздо больше было известно о традиционном, «роковом» англо-французском противостоянии. И после 1806 г. ни Австрия как традиционный и обладавший большей властью представитель немцев, ни другая заинтересованная сторона, Франция, не имели об этом антагонизме никакого понятия, в то время как прежде всего Пруссия и «Малая Германия» были о нем хорошо осведомлены. Историческим фактом было то, что на протяжении тысячелетия европейское равновесие базировалось на соотношении сил германской и французской власти, на почве чего возникало немало войн между немцами и французами, Габсбургами и Бурбонами, но при этом ни оба народа, ни их династии не знали аксиомы роковой взаимной ненависти. И во время наполеоновских войн Австрия, которую Наполеону так и не удалось победить, ненавидела французов лишь в той мере, в какой самоуверенная великая держава может ненавидеть своих противников на данный момент, но с завершением наполеоновской эпохи этот настрой постепенно исчез.

Не знали теории «заклятого врага» и французы; разумеется, Франция в своей политике с радостью наблюдала, как в ходе истории германская империя все более смещалась на юго-восток, и со своей стороны стремилась помешать укреплению германского могущества на своей западной границе. Однако французская духовная элита времен 1806 г. проявляла большую симпатию к Германии, и в те времена ни об антинемецких, ни об антипруссских настроениях французского общества не было и речи; все это возникло в 1870–1871 гг. Не знаю, что в эти годы творили немцы на французской земле и чем это отличалось от того, что в ту эпоху обычно происходило во время войн и на полях сражений, но какие бы шаги немцы ни предпринимали, шли ли они на мир или затевали войну, все это они делали в духе реванша над «заклятым врагом» и с сознанием того, что оказаться побежденным таким противником – самое страшное, что может быть, и не только физически, но и морально. Все это вызвало шок у французов, и во Франции зародилась пруссофобия, которая в 1918 г. вылилась в не менее роковой ответный реванш. То, что 1871-й год стал великим общим реваншем пруссаков и немцев, униженных в 1806 г., способствовало тому, что в глазах немцев прусское государство и прусская военная власть превратились в олицетворение идеи создания единой Германии.

### *Истинная прусская политика*

ОДНАКО следует принять во внимание, что этот результат превысил первоначальные ожидания прусской политики. Ее главным устремлением, как и самого Бисмарка, было создать из Северной Германии, вне зависимости от идеи объединения Германии, единый, протестантского

характера политико-административный комплекс, и таким образом одновременно объединить территориально разделенные западную и восточную часть Пруссии. До 1866 г. Пруссия неоднократно предлагала разделить Германию на две части: северную под главенством Пруссии и южную под главенством Австрии, и как раз Габсбурги, воплощавшие в себе идею создания единой Германии, не поддержали это предложение, да и не могли поддержать. Прусско-австрийское столкновение 1866 г. вызвало такое падение престижа австрийской империи, что не только Северная Германия попала под власть Пруссии, но и Южную Германию, где возник определенного рода вакуум, Пруссия – частично из-за страха перед французами, частично под давлением движения за объединение Германии – также подчинила своей власти, и после победы 1870–1871 гг. она уже не могла уклониться от создания новой германской империи. Однако с позиции прусской политики все это означало не создание единой Германии, а прежде всего превысившее все ожидания увеличение территории Пруссии. Бисмарк хорошо понимал, что в 1871 г. прусская политика достигла своих целей не на сто процентов, а на все сто пятьдесят и что ей уже никого не нужно покорять и ничем не нужно овладевать, а нужно только сохранить добытое. Не могло быть и речи о том, чтобы политика Гогенцоллернов еще и сверх этого стремилась бы к более полному объединению Германии, то есть к аннексии германской части Австрии. С династической точки зрения это было совершенно неприемлемо, поскольку означало бы, что австрийский император должен стать подданным германской империи или же что прусская династия должна вытеснить католическую австрийскую династию с ее исконных, католических австрийских территорий. Насколько со стороны прусской королевской власти акцент стоял не на объединении Гер-



мании, ясно проиллюстрировало последнее выступление Югенцоллернов на сцене германской политики, когда в 1918 г. Вильгельм II попытался отречься лишь от германского престола и сохранить за собой прусское королевство. До сих пор в этом обычно усматривают своего рода наивность Вильгельма II, хотя этот шаг свидетельствует о гораздо более глубокой взаимосвязи: для прусской политики германская империя была всего лишь случайным, декоративным довеском, который в случае опасности, как балласт можно было сбросить с борта.

1871-й год, таким образом, был успехом прусской политики, а не движения за создание демократического национального германского единства. Поколение свидетелей великого провала 1848 г. отказалось от намерения скорейшей ликвидации системы германских территориальных княжеств и, таким образом, смирилось с трактовкой результатов 1871 г. как *частичного* успеха на пути к созданию единой Германии. Ниже мы попытаемся выяснить, как этот частичный успех вылился в тотальную катастрофу.

#### 4. ТРЕТИЙ ТУПИК: ВИЛЬГЕЛЬМОВСКАЯ ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

##### *Великое заблуждение 1871 года*

В ШКОЛЕ нас учили, что в 1848 г. демократические силы Германии не смогли создать единого германского государства, однако в 1871 г. под главенством прусской королевской династии это было достигнуто, и с этого времени история континентальной Европы до 1914 г. характеризуется усилением мощи единой Германии – так считали современники той эпохи, так с тех пор представляем эти события и мы. Это ложное представление укоренилось в Германии, а вместе с ней и во всей Европе. На самом же деле в 1871 г. произошло совершенно иное. Все, что случилось в этот период в связи с проблемой объединения Германии, а конкретно, в 1866 г., в 1871 г. и в 1879 г., в сущности было серией династических компромиссов, направленных *против* германского национального единства и германского демократического развития. В 1866 г. меньшие по территории северогерманские княжества подчинились военной и политической власти Пруссии; в 1871 г. к этой военно-политической системе [56] окончательно присоединились в форме сравнительно свободного союза и большие по территории южногерманские государства, и в 1879 г., с заключением Двойственного союза [57], Габсбурги – последний форум, который мог бы воплотить в себе идею полного объединения Германии, если бы в 1804 г. не утратил способность к этому, – безропотно согласились на заключение упомянутых компромиссов.

То, что все предпринятые шаги носили характер компромисса, не было секретом и для современников. В меньшей степени было ясно, *между кем и против кого* заключал

ся этот компромисс. Считалось, что образование германской империи, как и всех европейских государств новейшего времени, было результатом компромисса между монархией и силами национальной демократии. Это-то и было наибольшим заблуждением. В случае Германии не монархические и демократические силы пошли на компромисс *друг с другом*, а прежде всего династические, аристократические силы договорились *между собой*, пойдя на взаимные уступки, и этот уже *согласованный компромисс* дополнили отдельными демократическими уступками. Политическая система «новой», «единой» Германии 1871 г. двигалась по траектории, предначертанной Германским союзом 1815 г., этим могильщиком германского единства и демократического развития, однако с той разницей, что бывшее когда-то временным теперь стало окончательным. Новая германская империя, внешне демонстрировавшая германское единство, на самом деле означала, что с этого времени увеличившаяся за счет германской империи Пруссия и посредством ее новая германская империя гарантируют, что институт территориальных княжеств, это наибольшее препятствие на пути создания единой Германии и германского демократического развития, останется неизменным и неприкосновенным, более того, самому характерному и одновременно самому оголтелому стороннику этого института, радетелю прав территориальных княжеств в Германии, то есть прусской династии присваивается заслуга создания нового германского «единства» и, таким образом, вся эта система органично встраивалась в структуру новой Германии. По сравнению с 1815 г. все же имелось и три новых элемента: императорский титул, германская армия и имперское собрание, рейхстаг, как демократический орган представительства общественного мнения, однако власть императора – императора, а не как прусского короля! – была ограничен-

ной, а власть рейхстага, который, образно говоря, зависал в воздухе среди реальных династических и военных сил, была еще более ограниченной. Это положение чрезвычайно укрепило культ германской армии, базирующийся на прусских реминисценциях 1813 г., и среди трех новшеств армия была единственным, что было реальностью, а не фикцией. Сувереном империи как юридически, так и на деле были не император, не народ, а объединившиеся в имперском совете, бундесрате, территориальные князья. И хотя этот суверенитет внешне мало проявлялся, тем не менее это был *подлинный* суверенитет, который подданные вюртембергского короля [58] или шаумбург-липпского князя [59] ощущали в гораздо большей степени, чем власть императора или тем более рейхстага.

Таким образом, продолжился фатальный, противоречащий европейскому развитию путь развития германской политики: институт территориальных княжеств стал более стабильным, а позднее – роковым. Это фактическое положение оставалось неприметным в обстановке всеобщего ликования, вызванного воскрешением титула германского императора, созданием германского органа народного представительства и победой германской армии. Тому, кто в этой ситуации посмел бы утверждать, что единой Германии не существует и что перспективы германского демократического развития стали еще меньше, чем во времена Германского союза, потребовалось бы дезавуировать жертвы двух кровавых войн и наряду с правами двадцати пяти княжеских династий опровергнуть права и германского императора. Не стоит усматривать в этом великом заблуждении изоощренные интриги носителей тех или иных интересов: подлинно великие исторические заблуждения – хотя и происходят всегда в чьих-то интересах – коренятся в столь глубоких слоях, что сознательно вызвать их невозможно. Особый престиж сослов-

ного происхождения и, соответственно, системы территориальных княжеств заковал германское общество в кандалы гипераристократического общественного устройства, устранить которое германскому демократическому движению было гораздо труднее, чем итальянскому – своих князьков, возвысившихся из лишенных корней ренессансных деспотов. В этой обстановке все в Германии – князья и народ, Бисмарк и демократы – были счастливы, что объединение Германии, которого каждый посвоему желал, произошло без ожесточенных внутренних схваток и что заботы по усовершенствованию этого творения можно передать будущим поколениям. Все они не имели ни малейшего представления, какое тяжелое наследство оставляли своим внукам. В действительности новое объединение Германии стало одним из тех псевдорешений, которые пытаются обойти тупиковые ситуации путем совмещения несовместимых вещей, что исключает возможность здорового развития компромисса и ведет к еще более катастрофичному тупику.

*Тупик в вопросе  
германского территориального статуса*

НОВОЕ объединение Германии означало прежде всего тупик в вопросе германского территориального статуса. Одним из результатов объединения Германии должно было стать то, что вместо абсолютно произвольных территориальных рамок, сложившихся в ходе распрей и обменных торгов между династиями, вернее, между ставшими государями крупными феодалами, германская нация вернется к стабильным рамкам немецкой нации, которые соответствовали границе Германского союза и, если отвлечься от проблематичного положения с Чехи-

ей и Восточной Пруссией, в общих чертах совпадали с исторически сложившейся базой власти и территории проживания немцев, а также с немецкой языковой территорией. Вместо этого единая Германия обрела территориальные рамки вильгельмовской германской империи, сохранившие внутри себя самые невероятные извилины и крошечные островки малых германских государств, и, что еще хуже, внешне эти рамки были абсолютно произвольными: в восточном направлении границу определял произвольный раздел Польши, в южном – случайный исход распрей с Австрией, в западном – произвольный итог «чрезмерно результативной» войны с Францией. Эта граница в своих решающих точках не была ни исторической, ни языковой. Довольно трудно было объяснить, почему для германских немцев Позен [60] – отечественный город, а Инсбрук – зарубежный. Или почему для австрийских немцев Тарнополь [61] – родная страна, а Пассау [62], Кельн или Гамбург – граница. Таким образом, Германия осталась тем же, чем была и раньше: европейской общностью, не нашедшей своих окончательных территориальных рамок.

### *Фиктивное положение династии Гогенцоллернов*

ТУПИК политического развития усугублялся и в силу неопределенного европейского положения прусской династии и ее неустановившегося места в Европе. Мы уже указывали на роль династий в формировании наций: Франция и сегодня занимает то же место в Европе, что в свое время и Бурбоны, Германия же олицетворяла собой не твердую, основанную на преемственности позицию Габсбургов, а неопределенную «новопровозглашенную» позицию Гогенцоллернов. Гогенцоллерны были старин-

ной, почтенной, пуританской немецкой династией, имевшей глубокие моральные традиции, однако для той роли, которая свалилась на них после 1871 г., у них не хватало навыков и формата: нельзя забывать, что в начале XVIII в. Гогенцоллерны жили жизнью провинциальных царьков, имевших неограниченную власть, а через полтора столетия им пришлось занять европейское место германо-римских императоров, осуществляя правление из Берлина, где ни *genius loci*\*, ни общественное окружение не могли способствовать приобретению ими знаний и навыков для выполнения этой задачи. Достаточно вспомнить предысторию и обстановку провозглашения в Версале германской империи, как это описано Эмилем Людвигом [63] в его книге «Бисмарк», чтобы стало ясно, насколько «простая», «пуританская» прусская королевская династия не обладала внешними формами и традициями для своей новой роли. Если и не закономерно, то и не случайно, что в этой ситуации в системе прусского управления нашла свое отражение наполеоновская фальсификация европейской монархии, и впервые со времен Наполеона в лице Вильгельма II возникла фигура *ложного монарха*, то есть правителя, представлявшего роль монарха как не сдерживаемого никакими рамками, склонного к эффектным позам и широким жестам романтического государя. И традиционные монархии, и демократические системы рано или поздно избавлялись от таких душевно неуравновешенных личностей; так в свое время семейный совет Габсбургского дома отстранил от деятельности раздражительного и экстравагантного Рудольфа II [64], а британская демократия принудила к отречению от престола склонного к неблагопристойным, самоуправным выходкам Эдуарда VIII [65]. Германия, однако, не была ни

\* Гений места – (лат.)

прочно укорененной исторической монархией, ни утвердившейся демократией. Возможно, что несмотря на это, немецкому народу рано или поздно опротивело бы все это напыщенное величие, цезаромания Вильгельма II, и он попытался бы освободиться от него, однако прежде, чем это произошло, Вильгельму II с его бесчисленными посланиями, воззваниями, декларациями, прогулками на пароходе, въездами и выездами на белом коне удалось достичь того, что внешнеполитический кризис разразился еще раньше, чем внутривластный.

### *Тупик династии Габсбургов*

ПО СРАВНЕНИЮ с фиктивным положением Гогенцоллернов еще более катастрофичным был безысходный тупик династии Габсбургов: вся их государственная система, военный и административный аппарат стали бесплотными и бесцельными. То, что осталось после австро-венгерского компромисса 1867 г. и стало Австрией, представляло собой не имеющее центра государственное образование с гротескным очертанием территории, которое объединяло в себе далматов, итальянцев, словенцев, австрийцев, чешских немцев, чехов, поляков, галицких русинов, буковинских румын и являло собой настолько редкий пример полнейшего отсутствия политической, исторической и языковой взаимосвязи, что ни один из населявших страну народов не отождествлял себя с этой общностью. В этой австро-венгерской конструкции самым нелепым было положение главного народа, именем которого была названа страна, то есть австрийских немцев, поскольку каждый из десяти народов дуалистической монархии, за исключением итальянцев и сербов, в рамках империи мог удовлетворить или надеялся удовлетворить свои определенные ин-



тересы. А что, собственно, ожидали австрийские немцы от такой империи, четыре пятых населения которой были не немцы, а половина всего населения и слышать не хотела о названии страны Австрией?! Чтобы сделать это нелепое положение более сносным, немецкая публицистика придумала тезис, согласно которому монархия в отношении малых восточноевропейских стран являлась олицетворением ведущей роли немцев. Однако эта трактовка была всецело фальшивой, потому что Габсбурги олицетворяли немецкую гегемонию лишь до тех пор, пока немецкая империя представляла собой определенную реальность. Когда этого не стало, общая армия и общий административный аппарат все более начали терять почву под ногами, а во внутривластной жизни венгры в Венгрии, как и поляки в Галиции, чувствовали себя хозяевами своих территорий настолько, что были в состоянии парировать реакцию центральной власти на жалобы двухмиллионного немецкого меньшинства в Венгрии, квалифицируя это как вмешательство в их внутренние дела. И поскольку, таким образом, немецкой гегемонии внутри монархии на деле не существовало, нужно было найти территорию, где она и вправду могла иметь значение. Так родилась теория о миссии Габсбургской монархии на Балканах. Согласно этой теории, империя Габсбургов должна найти на Балканах те властные возможности, за которыми она на протяжении веков гонялась без всякой цели и причины на далеких от ее дунайского центра германских и итальянских территориях. Однако эта трактовка основывалась на полнейшем непонимании исторического положения Габсбургской династии и ее германо-римского характера. Где еще мог искать сферу власти германский император, как не в Германии, и римский император, как не в Италии?! Теория гегемонии на Балканах в действительности была выдумкой, жалким эр-

зацем для великого имени, который был не в состоянии вдохнуть жизнь в бесплотную и бесцельную монархию, но был способен ввергнуть ее, а вместе и ней и всю Европу в чудовищную катастрофу. На самом же деле у Австро-венгерской монархии было предостаточно своих внутренних проблем, чтобы у нее еще хватало сил и намерений для экспансионистской политики. Однако чем больше окостеневала в неразрешимых противоречиях внутривнутриполитическая жизнь Австро-Венгерской монархии, тем больше охватывало чувство бесцельности, отсутствия корней и своей бесполезности обладавший глубокими моральными традициями аристократический слой высших административных чинов и офицерства, единственный слой, который отождествлял себя с загнивающим государственным организмом, однако именно в силу глубоких моральных традиций он был не в состоянии поддаться спокойному умиранию, и его состояние неудовлетворенности кульминировалось в психозе на почве страха. Так приверженность прошлому превратилась в неспособность объективно оценивать реальные факты, достоинство – в политику престижа, а моральная смелость – в браваду, рожденную страхом. То, что предъявленный в 1914 г. сербам ультиматум якобы содержал беспрецедентно жесткие требования, несомненное преувеличение. Однако в намеренной установке ультиматума на его неприятие, а также поспешной оценке со стороны дипломатии монархии девяностопроцентного принятия ультиматума как его отвода [66] знатоки человеческих душ без всяких сомнений увидели бы характерное проявление смятенного человека, опасющегося своего уничтожения, стремящегося доказать свое существование и провоцирующего этим катастрофу. Как метко заметил один австрийский политик [67], «мы были обречены на гибель, и сами избрали себе самый страшный способ смерти».

### Тупик внешней политики центральных держав

ПОТЕРЯ внутреннего равновесия двумя немецкими династиями и тупик, в котором оказалась идея единой Германии, вели к катастрофе и всю внешнюю политику центральных держав. Именно это объединяло судьбы двух соперничающих династий, Габсбургов и Гогенцоллернов. Дело в том, что требовалось сделать более сносной и по возможности замаскировать истинную суть династических компромиссов 1866 и 1871 гг., а именно, что единство Германии половинчатое, что австрийские немцы неестественным образом оказались вне границы Германии. Гнетущую безысходность проблемы объединения Германии был призван разрешить на уровне внешней политики Двойственный союз 1879 г., оказавшийся суррогатом. Предваряющие заключение союза переговоры и переписка однозначно свидетельствуют о том, насколько решающим аспектом для обеих сторон было представить этот союз германскому и, соответственно, австро-немецкому общественному мнению как своего рода «национальное достижение». Так немецкая нация вместо скромных результатов в создании единой Германии получила фикцию, согласно которой недостающие элементы германского единства полностью и окончательно нашли свое воплощение в этом дипломатическом акте. Довольно наивно рассуждать о том, как *развивались бы* события, если бы Австро-Венгрия продолжила свою франкофильскую внешнюю политику, и не менее наивно питать сегодня большие надежды на возрождение этого государственного образования: Габсбургская монархия из-за своих австрийских немцев не могла и не была в состоянии вести франкофильскую внешнюю политику в противовес Германии.

Фикцию «дипломатически» единой Германии, нашедшую свое выражение в Двойственном союзе, дополнила

фикция немецкой миссии на придунайских территориях и на Балканах, которую германская внешняя политика поддерживала хотя бы уже потому, чтобы компенсировать Австрию, вытесненную из Германии. На почве этих фиктивных положений и ложных лозунгов в Германии активизировалась сумбурная внешне- и внутривнутриполитическая публицистика, которая, не имея возможности всерьез говорить о реальных немецких национальных вопросах, о полном объединении Германии, о присоединении австрийских немцев и ликвидации системы территориальных княжеств, начала разглагольствовать о «немецкой Центральной Европе», мировом призвании немцев, гегемонии немецкого народа на тех или иных территориях, расширении немецкого влияния на морях и т. д. Так сложилось положение, когда две центральные державы, хотя и не имели реальных и не терпящих отлагательства потребностей в территориальной экспансии, были вынуждены открыть путь «национальным устремлениям» и приступить к претенциозной политике, которая на практике блуждала без компаса между династическими и национальными политическими ориентирами. Система корректных династических принципов допускала возможность войны по определенному и ограниченному кругу спорных вопросов, однако никоим образом не при постоянном возбуждении агрессивных национальных чувств. Формирующаяся демократическая система корректных методов в международной жизни, со своей стороны, допускала войну против деспотизма и агрессоров. Однако внешняя политика центральных держав ни с династической, ни с национальной, демократической точки зрения не соответствовала критериям корректной, открытой внешней политики. С династической точки зрения обе немецкие монархии порвали с испытанными основами своей внешней политики: Гогенцоллерны своим утверждением мировой роли немцев от-

толкнули Великобританию и лишились традиционно дружеских англо-прусских связей, Габсбурги же форсированием своей балканской роли, особенно акциями в отношении Боснии, превратили в ожесточенную, смертельную борьбу их традиционное, уравновешенное соперничество с Россией на Балканах, главный неписанный закон которого состоял в том, что обе стороны заинтересованно наблюдают за распадом европейских территорий Турции, но ни одна из них не предпринимает на Балканах непосредственных завоевательных акций. А поскольку две центральные державы были намертво связаны между собой из-за тупика, в котором оказалась проблема объединения Германии, распались традиционно дружеские англо-австрийские и русско-прусские отношения, и союз двух центральных держав вел не к тому, как представлял это Бисмарк, что дружеские связи одной из них пойдут на пользу другой, а к тому, что напряженности одной из них стали роковыми и для другой. Так обе эти державы ввязались в войну, не только не имевшую причин с точки зрения династической политики, но одновременно не способной и к осуществлению какой-либо популярной национальной цели, поскольку реализации единственной истинной национальной цели – включение австрийских немцев в состав Германии – воспрепятствовал компромисс между Габсбургами и Гогенцоллернами. В этом ракурсе становится ясно, насколько вторичными в возникновении Первой мировой войны были факторы германо-английской промышленной конкуренции или германо-английского морского соперничества. Лишь в тумане средневропейского мифа об «Альбионе-торгаше» можно было представлять себе ситуацию, когда Англия ввязалась бы в европейскую войну, чтобы сломить конкуренцию германских промышленных товаров на мировом рынке. Реальный предмет англо-германских противоречий в сферах морской, колониальной

и восточной экспансии был гораздо менее весомым, чем, например, реальный предмет англо-французского соперничества на Ближнем Востоке, а англо-германская промышленная конкуренция была менее значительной по сравнению с англо-американской, на почве которой войны никогда не было, да и вряд ли она возможна в будущем. Разного рода жесты Вильгельма II гораздо в большей степени раздражали английских политиков, чем промышленная или морская конкуренция. А особенности личности Вильгельма II имели глубокую, органическую связь с тупиком германской политической жизни и возникшей на этой почве сумбурной политической публицистикой, внушавшей мысль о стремлении Германии достичь мировой гегемонии военными средствами, что в то время не соответствовало действительности. Претенциозная политика была лишь внешним проявлением внутренних напряжений. Поверхностно и распространившееся в Центральной Европе представление, что центральные державы ведут «неуклюжую» политику, что немцы грубы и не имеют навыков в дипломатии. (Удивительным образом во времена Фридриха Великого, Кауница [68], Меттерниха [69] и Бисмарка подобных вещей никто не замечал!) А все дело в том, что *кто угодно* начнет вести «неуклюжую» внутреннюю и внешнюю политику – даже будучи хитрым и прозорливым, – если находится в ложных отношениях с действительностью.

На основании сказанного не вызывает сомнений, что Первая мировая война разразилась на почве проблем немецкой нации: на почве той нереальной и неуравновешенной политики, в которой из-за тупика в решении проблемы объединения Германии увязли обе немецкие державы. Это утверждение претендует не на то, чтобы подкрепить пункт *об ответственности* за развязывание Первой мировой войны. Оно просто *констатирует* факт.

*Тупик германского внутривполитического развития  
и начальный этап антидемократического  
национализма*

ТУПИК 1871 г. в решении проблемы единой Германии, а также в германском общественном развитии стал источником серьезных проблем и для германского внутривполитического развития. Статичный, неизменный компромисс династической государственной организации, аристократической общественной организации и демократических национальных чувств со временем превратился в смертельные объятия для всех трех этих факторов, в которых все они постепенно начали задыхаться. К 1933 г. это состояние достигло своей наивысшей точки, когда вдруг выяснилось, что ни династический, ни аристократический, ни демократический фактор не могут выступить в качестве серьезной силы, противодействующей вспышке неистового варварства. После 1871 г. случилось лишь то, что династический принцип превратился в демагогический, аристократический дополнился агрессивной националистической фразеологией, а демократический принцип, трактовавший провал 1848 г. – и с полным на то основанием – как временное явление, потерял ориентацию. Дело в том, что после 1871 г. идеи полного объединения Германии и полной демократии можно было представлять только в противовес тупиковому, но все же существующему и осязаемому псевдообъединению и такого же свойства псевдодемократии, в результате чего исчезла однонаправленность реализма и идеализма как предпосылки подъема любого прогрессивного движения. «Реалисты» присоединились к сторонникам новой, единой Германии под девизом «совершенствовать уже имеющееся», идеалисты же впали в догматизм и фантазерство, и что еще хуже: на первом,

весьма неопределенном этапе объединения Германии – как и в любом подобном состоянии – два компонента освободительного движения XIX в., демократизм и национализм, оказались в противоборстве. Ярые сторонники полного объединения Германии в той же мере, в какой они ненавидели малые княжества и Габсбургов, препятствовавших присоединению австрийских немцев, не могли скрыть своего восхищения громадным помпезным зданием вильгельмовской Германии (см. «Майн кампф» Гитлера) и только от него ожидали осуществления полного объединения. Тот, кто пытался разубедить их, утверждая, что для этого необходимо *целиком* отказаться от вильгельмовского компромисса, был для них святотатцем, отрицающим единственную осязаемую реальность единой Германии. Такое восприятие было особенно характерно для австрийских немцев-националистов, которые не жили в вильгельмовской Германии и не ощущали ее внутренней половинчатости, а как изгнанные из рая, мечтали попасть в единую Германию. В такой обстановке зародился – что вообще характерно для таких ситуаций – самый чудовищный монстр политического развития новейших времен – антидемократический национализм. Австрийское пангерманское движение, до 1866 г. неизменно стоявшее на либеральных позициях, в десятилетия после исключения Австрии из состава Германии все более сдвигалось в сторону антидемократической линии. Необходим углубленный историко-философский анализ, чтобы выявить причины превращения этого движения в антисемитское [70]; мы же в данном случае удовлетворимся констатацией того факта, что оно превратилось в движение, философия которого отстояла далеко от естественной цепи причин и следствий, поскольку этому движению был нанесен удар, причина которого была для него сокрыта ложным историческим опытом.



*Начальный этап утверждения  
немецкого культа власти и расцвет немецкой  
политической метафизики*

ТУПИК, в котором оказалась проблема объединения Германии, стал почвой для зарождения немецкого культа власти новейшего времени, которому принадлежала решающая роль и в формировании антидемократического национализма. Как же это произошло? Заблуждение 1871 г. состояло в том, что объединение Германии считалось *свершившимся фактом*, и это заблуждение сочеталось с роковым, ошибочно понятым историческим уроком, что привлечение демократических сил в 1848 г. не привело к созданию единой Германии, что для этого потребовалась военная мощь крупнейшего немецкого государства. По утверждению Бисмарка, объединять Германию пришлось «железом и кровью». Это высказывание в устах великого реалиста, не приемлющего никаких мифов, а стало быть, и мифа о власти, было лишь пустой фразой, с помощью которой он дезавуировал демократов и националистов, препятствующих воплощению его прусской идеи. Однако последующее поколение, восхищенное успехами Бисмарка, вместе с тем испытывало глубокие страдания, причины которых не могло уяснить, а именно того, что объединения Германии *не произошло* – ни железом, ни кровью, ни чем иным. Это противоречие стало почвой для зарождения мифологии инструментов насилия, которая подобно революционной мифологии придает этим средствам некий особый характер, принципиальную, магическую силу воздействия и в любой ситуации утверждает их преимущество по сравнению с мирными, гуманными, уступчивыми методами правления. В обстановке господства этой ложной идеи стало привычным то, что было бы не-

возможно во времена пруссаков Фридриха Великого, Канта, Гумбольдта и даже Бисмарка: немецкие историки, публицисты и политики принципиально, самоцельно, догматично отрицали мирные и гуманные методы и оценивали исторические или политические события или деятельность отдельных лиц в соответствии с тем, насколько в той или иной ситуации в максимальной мере использовались доступные насильственные средства. Это объяснялось тем, что под воздействием ложного толкования урока 1871 г. у них возникло убеждение, что поскольку объединение Германии в 1871 г. произошло в результате использования прусским государством и прусской династией военных и других насильственных средств, для создания полного германского единства, то есть для пополнения его недостающими элементами, эти средства следует применять *и в дальнейшем*. Однако это было нереально, так как ставило под удар систему территориальных княжеств, а также компромисс между Югенцоллернами и Габсбургами, то есть то, на чем основывалось творение Бисмарка. Нереальность этой установки усугублялась и резким контрастом, который ощущал каждый немец, болевший душой за дело объединения Германии: бусучи на словах и в глазах мира представителем могущественнейшей нации Европы, у себя на родине он подвергался необузданному произволу и испытывал высокомерное снисхождение со стороны спесивых князьков и их прислужников. Этот факт, свидетельствовавший о внутренней немощи вильгельмовской Германии, никак нельзя упускать из виду, если мы хотим уяснить исторические корни немецкой истерии. <...>

*немецкой демократической революции*

ОДНАКО до 1914 г. существовал выход из тупика политического развития, и это был единственный выход: опирающаяся на широкую народную базу, охватывающая всю немецкую нацию демократическая революция, которая устраняет стоящие на пути германского единства две большие и множество малых династий и создает единую, демократическую Германию. Эта революция могла бы открыть дорогу более свободного развития не только для немцев, но, возможно, и для малых восточноевропейских народов. На пути этой революции стояло немало серьезных трудностей, однако были и обнадеживающие моменты. Как бы рейхстаг ни зависал в воздухе среди подлинных сил германской политики и германского общества, он все же приобрел немалый вес как орган представительства общественного мнения. Поскольку успех вильгельмовской Германии дезориентировал именно умеренные либеральные круги (все правление Бисмарка основывалось на этой дезориентации!), та роль, которую в середине XIX в. играла германская либеральная буржуазия и германская политическая наука, ожидала германскую рабочую социал-демократию и германскую социологию. Для понимания того, что путь осуществления национальных целей шел через крайнюю левую позицию, требовалось время: на первых порах на эту позицию были оттеснены как раз те элементы, заклеянные как антинациональные, которым импонировала вильгельмовская Германия. Наряду с этим на рубеже веков в Германии уже сложилось широкое демократическое движение, ни значимость, ни основательность предпосылок, ни благородство намерений, ни перспективы которого не следует преуменьшать. Крах германской социал-демократии и демократического движения в 1933 г. сегодня принято объяснять доктринер-

ским; бюрократическим духом социал-демократической партии [71] и другими побочными причинами. Однако это несерьезные аспекты: паралич веймарской демократии был вызван совершенно иными факторами, которые в 1918 г. или вообще не играли никакой роли, или же их роль была незначительной. Германская социал-демократия до 1918 г. была решительным, дееспособным, готовым к борьбе движением, которое четко осознавало свои национальные, демократические и общественные задачи. А в том, что это движение было в определенной мере бюрократическим и доктринерским, нет ничего удивительного: каким же ему было быть, раз оно было немецким?! Несмотря на это, *на рубеже веков существовали все предпосылки того, чтобы германская социалистическая революция XX в. стала такой же важной вехой на пути европейского демократического развития*, какой ею были голландская и английская пуританские революции в XVI–XVII вв. и французские либеральные революции в XVIII–XIX вв. Немецкое революционное движение рано или поздно, по всей вероятности, вступило бы в противоборство с претенциозным императором, и Вильгельм II по своему характеру был бы пригоден для роли – в иной аранжировке, возможно, не с трагическим, а лишь с трагикомическим концом – Карла Стюарта и Людовика XVI, которую ему пришлось бы сыграть в ситуации, когда восставший народ, свергнув своего правителя и ощутив в этом свою силу, вступает во владение своей страной.

Однако этого не произошло. Перед тем, как внутриполитическая ситуация созрела для дальнейшего развития, разразилась внешнеполитическая катастрофа, и последовавший за этим мир был сопряжен с таким поворотом, который окончательно завел дело германской демократии в тупик.

## 5. ЧЕТВЕРТЫЙ ТУПИК: ГЕРМАНСКИЕ РЕСПУБЛИКИ

### А) Тупик Веймарской республики

#### *Шансы внутригерманского развития в 1918 году*

ПОСЛЕДОВАВШИЙ за Первой мировой войной крах вильгельмовской империи в 1918 г. открыл перед европейской общностью как во внутренней, так и в международной политике огромную перспективу и одновременно разверз перед ней глубочайшую пропасть. Однако поскольку европейская общность не желала считаться с реальностью, перспектива перед ней закрылась, и она с заведомой непреложностью полетела в пропасть.

Огромная перспектива открылась перед европейским внутривнутриполитическим развитием ввиду того, что с крушением империи в 1918 г. в Германии окончательно потерпели крах возвысившиеся из крупных феодалов территориальные князья, то есть тот институт, который в Германии заменил монархию, но не освоил при этом в полной мере духовные традиции европейской монархии. В 1918 г. самым потрясающим событием в Германии был не крах германского императора, а исчезновение прусских, баварских, саксонских и т. п. царьков вплоть до шварценбург-зондерсхаузенского князя [72]. Вследствие этого германское политическое развитие освободилось от своего самого тяжелого бремени, которое не только препятствовало демократическим преобразованиям и объединению Германии, но и было главной причиной германского внутри- и внешнеполитического хаоса, а вследствие этого и Первой мировой войны. Таким образом, для Германии открылась возможность наверстать упущенное и ликвидировать ту дистанцию в сфере демократического развития, которая с начала XIX в. отделяла ее от других стран Европы, и главным образом, от Западной Европы.

Однако эта перспектива таила в себе и огромную опасность. 1918 год означал также и то, что в восточном направлении от Рейна потерпели крах все монархии, будь то древняя, централизованная монархия, как в России, или территориальные княжества, как в Германии, или нечто среднее между ними, как Австро-Венгрия. Иными словами, внезапно рухнул тот политический авторитет, на котором зиждилась политическая система всех этих территорий и одновременно и всей общеевропейской жизни. Этот сам по себе жуткий вакуум роковым образом усугубляло то обстоятельство, что главный удар, приведший к крушению монархии, был нанесен не демократическим, революционным движением, как в России, составляющей в этом смысле исключение, а проигранной войной. То есть хотя это крушение в силу образовавшегося вакуума объективно принесло успех различным демократическим движениям, успех этот не был плодотворным, потому что демократические движения не могли обрести того политического авторитета, который складывается лишь при наличии результатов, достигнутых при самоличном свержении старых авторитетов. Поэтому начиная с 1918 г. и поныне для этих стран характерно отсутствие стабильных политических авторитетов.

Этим бременем был отягощен и демократический поворот в Германии, где социалистическое и демократическое движение являло собой чрезвычайно весомый и авторитетный фактор. Это движение также не могло похвастаться своим содействием краху германской монархии. Единственной возможностью обретения германской республиканской демократией политического авторитета посредством достижения осязаемого политического результата оставалось создание полного немецкого единства, что включало в себя и Австрию. Однако достичь этого не удалось.

*Шансы создания европейского равновесия в 1918 году*

КРУШЕНИЕ монархий в 1918 г. открыло огромные перспективы для преобразования Центральной и Восточной Европы. С поражением в войне были сметены обе немецкие династии, более того, косвенно оно способствовало и краху русской династии. В этой обстановке необычайно удачным образом сложились все необходимые условия для успешного разрешения проблемы немецкого единства, а также установления разумных рамок распавшегося, хаотичного территориального положения Центральной и Восточной Европы. У миротворцев 1918 г. имелась принципиальная основа в виде принципа самоопределения для разрешения открытых европейских вопросов, и перед ними довольно четко вырисовывалось то объективное положение, что в Центральной и Восточной Европе в спорных точках следует установить этнические границы. В отношении Германии это должно было означать уступку определенных территорий Франции и Польше, с другой стороны, в объятия Германии естественным образом падала немецкая Австрия, для которой после краха Габсбургов пропал всякий смысл в независимом существовании. Таким образом, Германия увеличилась бы территориально и наряду с этим стала бы менее опасной, поскольку Габсбургская монархия, из-за которой весь Дунайский бассейн находился в сфере немецких интересов, была ликвидирована. Из ставших свободными поляков, чехов, венгров и южных славянских народов можно было без всяких проблем создать такой властный комплекс, который в случае восточной экспансии Германии — что с учетом создания единого германского государства не было бы столь невероятным — мог бы быть противовесом. Такого рода мир мог бы стать отличным курсом лечения для прусского милитаризма и германского культа вла-

сти, поскольку смог бы продемонстрировать, что дело немецкого единства не сопряжено с насилием и войной. Это стало бы беспрецедентно удачной увертюрой германского демократического развития и создало бы в стране настроение, которое во времена Веймарской республики нашло свое выражение в замечании лишь некоторых саркастически настроенных особ: «Слава Богу, что мы не выиграли войну!»

Однако все случилось иначе. Для того чтобы это произошло вышеописанным образом, немецкой демократии было необходимо заключить разумный мир с западными демократиями. В истории демократии впервые сложилась такая ситуация, когда мир, упорядочивающий общую политическую систему и территориальный статус Европы, нужно было заключать исключительно с помощью демократического аппарата и демократических средств, однако демократия при этом первом эксперименте потерпела крах. Это была та пропасть, в которую рухнуло европейское сообщество в 1918 г.

### *Искусство заключения мира*

Ныне модно утверждать, что Версальский мир не только не был слишком жестким, а наоборот, был слишком мягким, так как в недостаточной мере обуздал немецкое помешательство на почве власти, и Гитлеру удалось прийти к власти и обрушить на мир немецкие агрессивные инстинкты.

Вся эта установка в корне неверна. Справедливо в ней только то, что Версальский мирный договор не был ни беспощадным, ни циничным, как это утверждают немцы. Версальский договор был плох не из-за особой строгости



или особой мягкости, а из-за того, что не закрыл вопрос, из-за которого разразилась Первая мировая война: вопрос окончательного формирования немецких политических рамок. И не только не закрыл, но даже и не попытался закрыть или хотя бы лишь слегка обозначить, что это за вопрос, который ему следует решить. В нем почти что полностью отсутствовала доминирующая во всех прежних мирных договорах тенденция, а именно, закрытие какой-либо проблемы.

Демократическая Европа забыла то, что было известно феодальной Европе, – искусство заключения мира. Реальными органами, которые до 1789 г. и с 1814 до 1914 г. осуществляли контакты между нациями, были монархия и аристократия. Их политическая культура, коренящаяся в христианской теории государства и в естественном праве нового времени, создала рафинированные формы и традиции европейской дипломатии, а также технику миротворчества в рамках системы европейского равновесия, которую Ферреро столь мастерски описал в своих книгах «Avanture» и «Reconstruction». Сюда же относится и характерная для XVIII в. трактовка лишенных эмоций войн, по которой война расценивалась не как прыжок в грозящую катастрофой беспросветную темноту, а как средство, пригодное для разрешения политических споров, когда войну с наименьшими эмоциями следовало вести только до того момента, пока одна из сторон не окажется в состоянии пойти на определенные уступки, а другая сторона при этом не должна была, исходя из военной удачи, настаивать на большем, чем изначально предполагалось. Сюда же относится кажущаяся ныне циничной, хотя на самом деле обладающая глубокой культурной основой система территориальных компенсаций, которая в наши дни обычно рассматривается как бесстыдные торги, хотя в свое время она была одним из наиболее эффективных

средств предупреждения войны. Дело в том, что в этой системе отразилась остающаяся в силе и поныне мысль о том, что любые сдвиги в территориальном составе Европы следует брать на учет, контролировать и осуществлять в рамках взаимосвязанного порядка. Параллельно этому в XVIII в. существовало понятие методично ведущейся войны, экономящей людские и материальные ресурсы, придерживающейся установленных правил и распространяющейся лишь на армию, военные арсеналы и поля сражений в такой мере, что между находящимися в состоянии войны странами не исключалась возможность поддержания общественных и научных связей.

Упадок культуры такого рода межеународного сосуществования начался в тот момент, когда силы нового демократического национализма активно вмешались во внешнюю политику. Это произошло не потому, что интенсифицированные демократией общественные чувства изначально были более агрессивными по отношению к соседним обществам. Как раз наоборот: демократический национализм, по своей сути означавший одухотворенное овладение собственной общностью, не был склонен переступать собственные территориальные границы и покушаться на соседние территории, то есть ему не были свойственны захватнические намерения династий. Демократия, означавшая победу гражданского образа жизни над господским, именно поэтому не могла считать войну, перемалывающую тысячи человеческих жизней, формой разрешения спорных вопросов, а естественным образом рассматривала ее как злодейское преступление, виновников которого следовало отыскивать и наказывать. Справедливой она могла представить только оборонительную войну народов, подвергшихся агрессии, а также войну народов, восставших против своих тиранов. Этим самым война также заняла свое место в

характерном для демократии арсенале обладающих большим моральным накалом общественных чувств. С одной стороны, это ознаменовалось более серьезным и благотворным по своей сути отношением к войне, с другой же стороны, активизировало такие настроения, при наличии которых стало уже нельзя вести войну и заключать мир в лишенном эмоций стиле XVIII в.

Вести лишенную эмоций войну стало невозможно прежде всего потому, что в итоге различных первопричин не только связанные с войной предрассудки эмоционального характера стали делом и правом народных масс, но, к сожалению, и само участие в войне. Всеобщая воинская повинность как роковое наследие, рожденное в страхе Французской революцией, дала для большинства людей непосредственную реальную основу тому романтическому представлению, что современная война является войной всего восставшего народа против агрессоров или тиранов. И это радикально изменило общественное влияние войны. На протяжении тысячелетия Европа переживала войны, как коровы Дженнера оспу, ее организм был соответствующим образом приспособлен к ведению войн, и она сопровождалась суровыми испытаниями только для солдат и жителей районов военных действий, не нарушая продолжавшуюся в прежнем русле жизнь большинства населения. С 1792 г. Европа познала войну, которую вели оторванные от мирного труда и одевшие военную униформу крестьяне, ремесленники, торговцы и чиновники, и такого рода война, как тяжелая болезнь, поразила весь общественный организм, потрясла его основы, коренным образом изменила привычные условия жизни.

Все это можно было бы понять, если бы война всего восставшего народа оставалась войной против агрессора или тирана. И после утверждения системы всеобщей во-

инской повинности демократия не стала агрессивной по своей природе, и только страх время от времени делал ее таковой. Однако поскольку не обладавший центральной властью европейский государственный строй был тесно связан с проявляющимися временами взаимными страхами и их военными решениями, для продолжения войны в поднявшемся на войну народе нужно было возбудить чувство опасности, угрозы нападения. То есть более или менее обоснованные страхи политиков надо было превратить в массовые чувства, причем у обеих сторон. На этой основе зарождается роковая концепция, что демократизация войны состоит попросту в том, что война между правителями превращается в войну *между народами*. Первым реальным впечатлением, ставшим подспорьем этой губительной мысли, было опустошение, которое принесли Германии революционная и наполеоновская армии, в результате чего наряду с прочим в немцах зародился комплекс «заклятого врага». Однако все это в определенной мере можно было списать на счет тирана Наполеона. Франко-германская война 1870–1871 гг. была первой войной, которую с обеих сторон вели народные массы, проникнутые национальными и демократическими чувствами. После «восстания масс» французский народ сражался с тем сознанием, что отражает нападение тиранов Гогенцоллернов на национальную территорию, немцы же, воодушевленные идеей национального единства, сражались с французами с сознанием того, что Наполеон III [73] или *занявший его место французский народ* любимыми путями стремится воспрепятствовать немецкому единству. Мысль о том, что роль тирана-поработителя *заменяет* весь соседний народ, была отправной точкой роковой концепции *истребительной войны между народами*, своего рода атавизмом, которого Европа не знала уже веками.

Параллельно с этим шел продолжающийся и поныне процесс все большего огрубения европейской военной практики. Это та точка, где деформация не ограничивалась Центральной и Восточной Европой, а распространялась и на англосаксонский мир. В этой сфере англосаксонский мир не проявил своей регенерирующей силы. Характерные для XVIII в. упорядоченная война, ограниченная определенными рамками, и моральные традиции европейских армий *были* прежде всего континентальными завоеваниями; англосаксонский мир, не знавший постоянной армии, всегда был склонен видеть в войне войну народов. В наши дни *совместное* воздействие таких факторов, как англосаксонское толкование войны, французская революционная романтика всеобщей воинской повинности и огрубение общественной морали в Центральной и Восточной Европе, ведет ко все большему ожесточению войны. В Первой и особенно во Второй мировой войне в полной мере проявился основывающийся на взаимном недоверии узколобый военный материализм. И это не означает, что все возможности ожесточения войны уже исчерпаны: от принятых ранее правил упорядоченного ведения войны можно и дальше двигаться в направлении прямого истребления народов.

В волнах страданий и страха, ненависти и поиска реванша, заполняющих души в такой войне, все более погружается в небытие свойственная монархии и аристократии традиционная техника заключения мира, лишенная эмоций. Понадеемся, что и в вопросах войны и мира демократия призвана сказать миру нечто большее и значительное, чем монархия и аристократия. Однако необходимо признать, что ныне положение таково, что в плане преодоления психических последствий войн демократический строй затронутых войнами стран проявляет

себя крайне негативно. Хотя демократия более резко осуждает войну, чем монархия и аристократия, хотя она стоит на принципиальной позиции мира во всем мире, все это вряд ли поможет миру, если конкретные войны она не в состоянии закончить так, чтобы из-за той же самой проблемы не возникла очередная война. Довольно трудно установить атмосферу доверия, согласия и умиротворения среди таких партнеров, которых уже заранее в интересах ведения войны с помощью средств массовой пропаганды заставили поверить в то, что противник, руководствующийся своими разрушительными намерениями, начал против них агрессивную войну. Именно поэтому государственные мужи победивших в войне демократий редко склонны к лишенной страха открытости, смелости, великодушию и доверию, что является предпосылкой любого успешного заключения мира. Более того, в сфере внутренней политики заключение мира означает для государственного мужа задачу, состоящую в удовлетворении требования сатисфакции, обостренно ощущаемого народом победившей страны. А удовлетворение это неизбежно ставит под удар внешнеполитические цели заключения мира, а именно само решение вопроса. С другой стороны, демократический строй побежденной стороны в силу непредсказуемости общественного мнения не способен акцептовать никакие обещания без наличия конкретных, осязаемых гарантий. А постоянное форсирование темы обеспечения гарантий не дает возможности закрыть вопрос. Франкфуртский мир был первым со времен Наполеона, когда под знаком удовлетворения «национальных» требований не были приняты во внимание европейские традиции заключения мира, лишенного эмоций; в Версальском же мире уже не имели места и умиротворяюще воздействующие внешние атрибуты заключения мира – то была оргия мелочности..

### *Страх Франции и версальская атмосфера*

ВСЕМУ этому содействовало глубокое чувство страха, испытываемое французской нацией с тех времен, когда в 1870–1871 гг. она стала жертвой реваншистских настроений германской нации, также страдавшей комплексами страха. Для французской нации это был удобный случай взять свой великий реванш, и желание этого было тем более мучительным и роковым, что за великим реваншем 1918 г. скрывался великий страх 1870 г. Дело в том, что произошедшие за это время сдвиги в численном соотношении французского и немецкого населения привели к положению, когда Франция не могла быть спокойной и уверенной в том, что страшное впечатление 1870 г. – то, что она осталась один на один с преобладающими силами Германии, не повторится вновь. В 1870–1871 гг. Германия и одна могла победить Францию, и в 1914–1918 гг., несмотря на блестящие военные успехи французов, огромное напряжение и огромные жертвы Франции были достаточны лишь для того, чтобы держать вместе с англичанами один из фронтов воюющей на двух фронтах Германии. Это чувство страха усугубило желание реванша и наказания за содеянное, с которым западноевропейские демократии приступили в 1918 г. к заключению мира. Мир еле удерживался на ногах после жуткого впечатления сопровождавшейся неисчислимыми человеческими и материальными жертвами четырехлетней войны, воздействие которого перевернуло вверх дном все человеческие расчеты и представления и внесло полнейший хаос в суждения людей, лишив их способности объективной оценки причин и следствий. Обрушившиеся на мир беды были настолько безмерными и устрашающими, что люди пытались обнаружить за ними столь же безграничную злонамеренность и дьявольский

умысел: в это столетие безверия учение о сатанинской власти на земле обрело такую реальность, которую христианство, вероятно, никогда еще не знало за два тысячелетия своего существования. Между прочим, мысль о сатанинском заговоре приблизил к людскому миру представлений и вульгарный марксизм. Производители оружия, продажные политики, кровавые диктаторы и генералы, рвачи-спекулянты, замышлявшие убийства масонские ложи, рвущиеся к власти над миром евреи, садисты-реакционеры, наслаждающиеся разрушением революционеры – с 1918 г. такими секуляризированными сатанинскими призраками был заполнен мир политических представлений белого человека. В обстановке господства «сатанинских» толкований вряд ли кто-либо мог поверить, что все это лишь эпизодические фигуры великих событий и что страхом и чванством, ложной романтикой и безмерным поиском справедливости, стремлением произвести сенсацию и неприятием во внимание правил игры можно принести миру такие бедствия, которые не способны вызвать и все зло мира.

В этой атмосфере страха, непонимания и нереальных подходов речь шла обо всем, кроме европейских традиций трезвого заключения мира и восстановления пошатнувшегося европейского равновесия. Даже сама мысль о том, что «спровоцировавшая войну», «милитаристская» Германия после своего поражения может получить какие-то территории, что она может сохранить свою армию и не понести никакого «наказания», казалась абсурдной.

Все это усугубила негибкость Парижской мирной конференции, проистекавшая из полнейшей неосведомленности демократии относительно техники заключения мира: невероятное количество официальных бумаг, гротескная роль специалистов и советников, в одних случаях нереально весомая, в других – унижительно лакей-



ская, тормозящий ход дела высокопарный, но абсолютно непрактичный лозунг открытой дипломатии, а также масса фальшивых формул, которые с огромным трудом и напряжением были буквально выстраданы для сглаживания противоречий между реальными интересами и наивными лозунгами. В этой ситуации мир нужно было установить трем престарелым людям, которые не понимали не только друг друга, но и стоящей перед ними задачи и к тому же постоянно нервничали при изменении общественных настроений в своих странах, что есть естественное условие любого великодушного заключения мира. Неудивительно, что Версальский мирный договор, по словам Ферреро, «был началом самого большого страха, который когда-либо охватывал человечество» [74], и оказался тем драконовым зубом, посев которого привел к рождению зачатого в страхе самого жуткого монстра европейской общности – гитлеризма.

*Посев драконова зуба. Версальский мирный договор:  
мир-диктат*

ПЕРВЫЙ посев драконова зуба Версальским договором [75] состоял в том, что даже не шло и речи об элементарном требовании трезвого и умеренного заключения мира, а именно чтобы мир был *пактам*, а не *диктатом*. Немцы были отстранены от участия в мирных переговорах не в последнюю очередь потому, что непримиримые противоречия между серьезными принципами и пустыми лозунгами, мнимыми страхами и реальными интересами едва удавалось сгладить и без немцев. Однако немцы и поныне уверены в том, что их отстранение от переговоров было исключительно проявлением садизма победителей и стремлением унижить немецкую нацию, и

это их убеждение подкрепили проникнутые духом реванша несколько показных, откровенно недружелюбных сцен и масса мелких уколов в их сторону, что с течением времени сохранилось в их памяти как утонченное издевательство и оскорбление достоинства. Это усугубила и крайне нелепая техническая организация, проявившаяся в том, что мирные переговоры, если они вообще имели место, велись *в письменном виде*. В довершение ко всему обсуждение самого договора проходило почти год в условиях блокады, и за это время полностью исчез хотя и едва заметный, но все же проявлявшийся в конце 1918 г. настрой на примирение и прощение обид. И – хвала демократии! – каждая мелочь и второстепенность смогли найти на переговорах свое место и время, и даже французские производители шампанских вин имели возможность втиснуть в мирный договор свои особые условия, на каких они были согласны мириться с немцами.

*Посев драконова зуба. Версальский мирный договор:  
констатация виновности за возникновение войны*

ВТОРОЙ посев драконова зуба Версальским мирным договором состоял в констатации виновности за развязывание войны. Поначалу поиск виновников не был направлен против всего немецкого народа, а касался лишь бряцающего оружием императора, юнкеров-феодалов и генералов-милитаристов. Однако чем больше абсурдного бремени приходилось нести воюющим демократиям, иными словами, оторванным от мирного труда крестьянам, ремесленникам, торговцам, чиновникам и их оставшимся в тылу семьям, тем сильнее было стремление демократий к поиску виновников, и наряду с этим после войны счет привлекаемых к ответственности виновников на-

столько возрос ввиду репараций, гарантий и разного рода эмоциональных, политических и моральных авансов, что выплату по нему уже нельзя было требовать от опустошенного, потерпевшего крах германского императорского режима, а только от немецкого народа, как раз двинувшегося в направлении демократии. Виновность же немецкого народа за развязывание войны можно было «сконструировать» лишь посредством следующей демократической формулы: немецкий народ, хотя в целом и не желал войны, все же *несет ответственность* за то, что терпел режим, в конечном итоге вовлекший в войну и немцев, и всю Европу. И поныне в достаточной мере еще не оценен тот страшный психологический шок, который вызвала эта формула и ее распространение на немцев в демократическом развитии немецкой нации. По всей вероятности, немцы без особых возражений приняли бы формулировку, согласно которой ответственность за разжигание войны несет бряцавший оружием режим Вильгельма II. Однако то, что эта ответственность *переходит* на немецкий народ потому, что он терпел этот режим, что очевидно для выросших в условиях демократии народных масс, для *еще* не ставшего демократическим немецкого народа, было полнейшим абсурдом. Дело в том, что со всей строгостью требовать предотвращения войны и устранения подстрекающих к войне руководителей можно только от такой нации, которая уже познала на собственном опыте, что данных милостью Божьей правителей вообще можно устранить. Для консервативно-аристократического общества, существующего в условиях единоличной власти, война – даже если этому обществу известно, что решение о развязывании войны принимают короли и министры, – является не результатом человеческого решения или, наоборот, упущения, а стихийным бедствием вроде наводнения или опустошительного града. В 1918–1919 гг. немцы,

подобно Рипу ван Винклю [76], были крайне удивлены требованием мирового сообщества об их наказании, как если бы они заснули в элегантной, в стиле бидермейера, гостиной перед чашкой кофе, а проснулись неграми в окружении разъяренной толпы, готовящейся их линчевать. Немцы, изведя несметное количество бумаги, отчаянно пытались доказать, что Пуанкаре [77] или Извольский [78] настолько же или даже в большей мере повинны в возникновении войны, как и император Вильгельм или граф Берхтольд [79]. Однако более глубокая психологическая подоплека состояла в том, что весь вопрос об ответственности за развязывание войны был для немцев абсурдным, и вместе с ним стала абсурдной и сама демократическая идеология, именем которой произошло это привлечение к ответственности. Смотря на те события сегодняшними глазами – и я вряд ли поверю, что трезвые умы того времени не ощущали этого, – становится ясно, что констатация виновности за разжигание войны была не силой, а слабостью мирного договора. Дело в том, что по мере того, как утихомиривались всплески вызванных Первой мировой войной эмоций и настроений и становились более ясными комплексные причины войны, все менее убедительным для победителей становилось утверждение, что Германия «вызвала» войну и должна «нести за это ответственность». Однако одновременно с этим ослабла «обязательная» сила мирного договора как правового комплекса, многочисленные постановления которого основывались на констатации этой виновности. Мирный договор теперь уже предстал перед побежденными не таким, каким следует быть подлинному мирному договору, – то есть воплощающим в себе заверченный исторический факт, – а таким, который подобен проигранному судебному делу, для возобновления которого требуется лишь предъявить новые доказательства.

*Посев драконова зуба. Версальский мирный договор:  
репарации*

ТРЕТЬИМ посевом драконова зуба Версальским мирным договором было решение о выплате репараций, и главным образом то, что годами не была установлена их конечная сумма. Не думаю, что выплата репараций сыграла непосредственную и решающую роль в возникновении инфляции и экономическом крахе Германии. Однако если военная контрибуция с четко установленной реальной суммой вызвала бы в Германии стремление как можно скорее освободиться от этого бремени, то огромная и неоднозначно определенная сумма репараций создала такую психологическую атмосферу, что Германия десятилетиями будет работать не на себя, а на победителей, и атмосфера эта послужила основой для катастрофичной политики и в экономической сфере, в рамках которой инфляция и выплата репараций оказались тесно связанными факторами. Вряд ли житель Западной Европы мог представить, насколько масштабы германской инфляции означали отрыв Германии от нормальных европейских экономических процессов. Имущество, сбережения, доходы массы людей из буржуазных и мелкобуржуазных слоев превратились в ничто, и этими людьми овладело отчаянное стремление найти виновника их бед. Они стремились выявить укравших их деньги, и виновников они нашли в тех, кто на самом деле или по видимости, или же по их представлениям, нажился на мирном договоре либо на инфляции: вовне – в победителях, внутри страны – в спекулянтах и евреях.

Посев драконова зуба. Версальский мирный договор:  
разоружение

ЧЕТВЕРТЫМ посевом драконова зуба Версальским мирным договором было *одностороннее разоружение*. Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что нормально функционирующее общество – а немецкое является таковым – только под воздействием особо тяжелых впечатлений, связанных с обезоруженностью, подчиненностью, отсутствием армии, оказывается в противоестественном психическом состоянии, самоцельным объектом обожания и преклонения для него становится хорошо вооруженная, мощная армия. Германский милитаризм заключается не в том, что средний немец любит больше драться, чем средний англичанин, а в том, что при виде марширующих по улице солдат он испытывает чувство необычайного самоутверждения, а также в его вере, что партии, не желающие голосовать за увеличение военных расходов, – предатели родины. Подобный подход складывается в обществах, в исторической памяти которых отсутствие армии тесно связано с незабываемым воспоминанием о жалком, бедственном положении. Такая психическая настроенность, когда военное поражение рассматривалось как самое страшное, что может случиться с нацией, послужила почвой для немецкого представления об истории, по которому факт военного поражения становился предметом дискуссии, и причины поражения объяснялись исключительно действием внутренних враждебных сил, подрывом военного еуха. Поэтому необоснованно считать современный германский милитаризм прямым потомком прусского милитаризма. В своих формах, фразеологии он мог унаследовать от него определенные элементы, однако возникшие в связи с предписанным в Версале разоружением политические крены и идейный

хаос сами по себе были достаточной основой для возникновения определенного рода германского милитаризма.

<...>

*Посев драконова зуба. Версальский мирный договор:  
запрет на аншлюс*

ПОСЛЕДНИМ, но в наибольшей мере роковым посевом драконова зуба Версальским мирным договором были *решения о территориальном размежевании*. Среди территорий проблему вызывали не те, что по мирному договору были отделены от Германии, а те, что не были ей переданы. Решения Версальского мирного договора относительно территориальных изменений хотя и не были во всех отношениях удачными, в целом – в отличие от других мирных договоров – явились результатом кропотливой, добросовестной работы, на чем мы еще остановимся подробнее при рассмотрении вопроса о границах. Факт, что Данциг и относящийся к нему коридор на протяжении двадцати лет рассматривались как наиболее критические точки Версальского мирного договора, которые могут послужить почвой для новой мировой войны, и события 1939 г. внешне подтверждают эти предсказания. Однако если принять во внимание то обстоятельство, что коридор проходил по территории, населенной большей частью поляками, где господство немецких рыцарей в свое время зиждилось на не слишком обширном территориальном завоевании, а также то, что коридор, более того, окружавшие его более значительные территории свыше трехсот пятидесяти лет принадлежали Польше и только в результате ее раздела отошли к прусскому королевству, то стоит задуматься над тем, был ли сам коридор тем очагом напряжения, который с неизбежностью вызвал Вторую мировую войну. Положение таково, что отделение кори-

дора и тем более Позена было не настолько германским, насколько прусским делом и прусской потерей. В этой точке мы приблизились к самой роковой ошибке версальского территориального размежевания – запрету на австрийский аншлюс. Миротворцы, как и вся Европа, находились под сильным воздействием бисмарковского творения, считая, что современная Германия тождественна увеличенной Бисмарком Пруссии и что Австрия – уже отдельная нация. Однако запрет на присоединение Австрии означал, что Германия и в дальнейшем останется в импровизированных территориальных границах вильгельмовской Германии, что после краха Гогенцоллернов и Габсбургов уже не имело никакого смысла. Случайность территориальных границ Германии послужила основой для сумбурной теории, пытающейся придать метафизическую глубину тому прискорбному факту, что немцы – «народ, не имеющий границ». Но вряд ли отдельную личность или целое сообщество может постичь большая беда, чем неопределенность ее границ, которая и в эмоциональном, и в отвлеченном смысле означает паралич творческих сил. В 1918 г. Германии было бы более всего необходимо найти свои границы, четко прорисованные в историческом и языковом планах, свои целостные территориальные рамки, обладая которыми Германия утратила бы интерес к прежним негерманским владениям отдельных германских государств – например, к бывшему прусскому Позену и коридору, точно так же, как к бывшим австрийским Буковине или Далмации. Однако случилось так, что версальская Германия наряду со стремлением к созданию полного немецкого единства сохранила и свои польские запросы, основывающиеся на прусско-германских реминисценциях времен Вильгельма. И хотя сбылось предсказание, что Вторая мировая война начнется с германо-польских распрей, подлинным источником



катастрофы было то, что австрийский аншлюс и самоопределение судетских немцев произошли *не в 1918 г.* в качестве завершения процесса самоопределения и начала новой, мирной эпохи, а двадцать лет спустя как результат губительных, маниакальных усилий всей немецкой нации к обретению власти, в результате чего вся эта акция с неизбежностью перешла ту точку, на которой она естественным образом смогла бы остановиться, если бы все происходило в рамках реальной политической акции.

### *Версаль и немецкое чувство неполноценности*

ВЫШЕ мы показали, что и до 1914 г. немцы находились в состоянии определенного рода политической истерии. Эта истерия коренилась в невыносимом положении, сложившемся из-за резкого противоречия между видимостью внешнего могущества и внутренней недееспособностью. На этой основе у немцев возникло чувство неопределенности, требующее своей компенсации. А санкционированное Версальским мирным договором материальное и моральное ущемление немцев обнажило перед всем миром их слабости, в результате чего психологически они оказались между двумя крайними точками – чувством неполноценности и неудержимым стремлением к власти. Наиболее яркие проявления усилий к достижению власти были проникнуты чувством ущербности, вызванным Версалем. Как расценить, например, строки знаменитого марша «Englandlied», в которых утверждается, что немцы не потерпят *насмешек* англичан над их властью?! Сомневаюсь, чтобы у англичан был марш с подобным содержанием. Никогда не забуду замечания одного *интеллигентного* немца о том, насколько ужасно быть представителем такого крошечного народа, как, напри-

мер, швейцарский. Стоит поразмыслить над этой фразой. Нетрудно прийти к выводу, что это полнейшая несуразица. В этом нет никаких сомнений! Однако задумаемся над тем, что толкает интеллигентного человека на такого рода глупые замечания. Видимо, в глубине души его волнует другая мысль: «Как ужасно, если вдруг выяснится, что нация, к которой я принадлежу, не великая нация!» А это уже не нонсенс: если о немецком народе, бывшем на протяжении тысячелетия великой европейской нацией, выяснится, что на самом деле он не является таковым, сознание этого для любого немца стало бы и вправду невыносимым.

Самое худшее, что можно предпринять в отношении истеричного душевного состояния, это подвергнуть его моральному осуждению и расценить как деградацию. Истеричная душа склонна находить удовлетворение в себе самой; она существует в замкнутом мире, категориями которого она всегда в состоянии подтвердить свою правоту, и любое моральное осуждение побуждает ее к еще большей закрытости. Истеричную картину мира нельзя поколебать никаким моральным осуждением, а только лишь силой самых грубых и простых фактов, подобно тому, как визжащую в истерике женщину нельзя обуздать ни осуждающим покачиванием головы, ни нравственным порицанием, ни наказанием, а только ведром холодной воды. В 1918 г. немцев нужно было оставить наедине с простым и грубым фактом их военного поражения и с какой бы ни было огромной, но конкретной суммой военной контрибуции, но одновременно и с широкими возможностями политического развития, которые возникли ввиду исчезновения немецких династий. К сожалению, непреодолимый зуд морализаторства не позволил победившим демократиям это осуществить. Вместо констатации простых фактов поражения и контрибуции последовал приговор

о виновности за разжигание войны, который требовалось доказать, но можно было и опровергнуть; затем последовало разоружение, которое требовалось контролировать, но можно было этот контроль обойти; затем последовала репарация, которую можно было увеличить, но можно было и сговориться на определенной сумме; и затем последовал запрет на аншлюс, который требовалось обосновать, но обосновать было нельзя. Трактовка мирного договора как привлечения к моральной ответственности усилила бы немецкую истерию и в том случае, будь она объективной и неоспоримой на все сто процентов, а поскольку она была лицемерной и мелочной, ее воздействие в этом смысле стало еще более ощутимым.

Таким образом, несмотря на то, что все это может показаться отжившим, потерявшим смысл в свете наших сегодняшних впечатлений, связанных с ужасами Бухенвальда и Маутхаузена, все же следует констатировать, что именно Версаль был тем фактором, который сознательно вызвал конфликт между немецкой политической истерией и всей европейской системой ценностей. Версаль укоренил в немцах веру – и вера эта была всеобщей, а не только присущей гитлеровцам, – что для того, чтобы стать моральным судьей в международной жизни, не требуется ничего иного, как победная война, из чего следовало, что если немцы хотят освободиться от воплощенного в Версальском мирном договоре тяжкого бремени и сами творить суд над другими народами, они должны выиграть следующую войну.

Влияние Версальского мирного договора наиболее непосредственным образом проявилось в том, что немцы были не в состоянии использовать две огромные возможности, которые открылись перед ними после исчезновения немецких династий: создать полное политическое не-

мецкое единство и осуществить полную демократизацию. Оба эти дела были заведены в тупик и, что еще хуже, они вновь оказались противопоставленными друг другу.

### *Тупик внешней политики веймарской Германии*

ПОСЛЕ краха 1918 г. для трезвой, умеренной внешней политики Германии могла быть единственно возможная установка: на основе корректного использования этнического принципа и права на самоопределение создать полное политическое немецкое единство и этим окончательно утвердить европейский территориальный статус Германии. Однако Версальский мирный договор наложил на это запрет. Это естественное и абсолютно не агрессивное стремление он превратил в неосуществимую мечту и при этом само упоминание об этой мечте заклеил как агрессивное намерение. Такое положение сделало для немцев невозможным проведение прямолинейной, сбалансированной, лишенной внутренних изломов внешней политики. Поскольку для немцев стало проблематичным их достоинство, вес, место в Европе, вся немецкая политика приобрела чисто внешний характер, позиции которой определялись не внутренними целями и программами, а прежде всего отношениями с Европой, с зарубежными странами, с *другими* народами. Все политические шаги Германии представляли собой или самооправдание, или самоподтверждение, или подчеркнутую готовность, или самоцельное упрямство, или любой ценой быть европейцами, или любой ценой противостоять Европе. Германскую внешнюю политику приходилось проводить в такой обстановке, когда душевное состояние немцев и тяжелое бремя Версальского мирного договора неизбежно предписывали этой политике

предпринимать попытки устранения военного и территориального ущерба, и при этом в такой Европе, которая истолковывала любое упоминание об этом ущербе как новое свидетельство ответственности немцев за разжигание войны и их воинственных устремлений. В этом типике Штреземанн [80] нашел единственно возможный узкий проход: сначала восстановить уверенность немцев в самих себе и доверие к немецкому народу, а затем приступить к ликвидации требующих своего устранения предписаний Версальского мирного договора. С тех пор знатоки немецкого жупела установили, что Штреземанн ни на йоту не был лучше Гитлера, а лишь искуснее умел завуалировать скрывающегося в нем кровожадного немца, поскольку из изданной после его смерти переписки выясняется, что инициатор Локарнского договора планировал в качестве долгосрочных целей своей политики отмену разоружения, австрийский аншлюс, а также корректировку германо-чешской и германо-польской границ. Такого рода подход является крайне ограниченным, проистекающим из полнейшего незнания причин немецкого и европейского кризисов. Попробуем с трезвой логикой и объективностью вникнуть в текст Рейнского пакта [81], составляющего ядро Локарнского договора: разве с немецкой стороны этот пакт не означает, что немцы воспринимали Версальский мирный договор как диктат, однако его отдельные постановления, например касающиеся западной границы и демилитаризации Рейнской области, добровольно принимали как окончательные и неизменные? *То есть* они стремились изменить другие постановления. Таким образом, не стоило ожидать смерти Штреземанна и издания его писем [82]: на основании самого Рейнского пакта становится совершенно ясно, что тот, кто подписал его со стороны Германии, стремился к отмене разоружения Германии, а также к из-

менению германо-чешской и германо-польской границ. Однако тот, кто утверждает, что Штреземанн точно так же, как и Гитлер, занял бы Рейнскую область, покорил бы чехов и поляков, попытался бы установить господство немецкой расы над другими расами, попрасть моральные и правовые принципы европейского сосуществования и разорить Европу, тот и вправду заслуживает участи жить в Европе Гитлеров.

Открытый Штреземанном узкий проход после его смерти закрылся, и вокруг вопроса о демилитаризации возник европейский кризис доверия. Равноправие Германии в вооружении было существенной частью чувства уверенности немцев в своих силах, и то германское правительство, которое могло добиться этого равноправия, должно было обрести главный козырь и в германской внутренней политике. Элементарная трезвость подсказывала дать этот козырь в руки европейски настроенного германского правительства. Однако этого не произошло, и какие бы новые факторы ни открывались относительно предпосылок прихода Гитлера к власти, я убежден, что Гитлер не пришел бы к власти, если бы Конференция по разоружению [83] не потерпела краха, поскольку именно это сделало окончательно убедительным гитлеровский лозунг, что европейскими методами невозможно достичь главнейшей цели немецкой политики — восстановления *лица* Германии.

### *Тупик немецкого демократического развития*

БЕЗВЫХОДНАЯ ситуация, в которой оказалась немецкая нация в отношении своего положения в Европе, стала тупиком и для демократического развития Германии. Немецкое демократическое движение, которое до 1918 г.

столь обнадеживающе двигалось в направлении демократических и социалистических преобразований, после 1918 г. претерпело сильнейший перелом. Благодаря опыту и авторитету немецкой социал-демократии был решен вопрос о низвержении всех династий и провозглашении германской республики. Однако после краха прежних политических авторитетов немецкие демократические институты оказались не в состоянии создать новый политический авторитет. О том, чтобы в возникшем вакууме вновь выступили со своими претензиями дискредитировавшие себя территориальные княжества, не могло быть и речи; территориальные княжества, несмотря на их стойкость и живучесть, уже изжили себя в Германии, это был прогнивший институт, о возрождении которого серьезно нельзя было и думать. Однако в нем имелся один поддающийся возрождению и чрезвычайно опасный момент — единоличная власть. Дело в том, что отсутствие ощутимых демократических усилий и впечатлений привело прежде всего к тому, что Германия не имела возможности освоить наиболее существенный урок демократической науки, а именно правление без единоличной власти и деспотов. После 1918 г. Германия в глубине души ощущала, что в стране никто не господствует, не командует и что ее никто не возглавляет. Потому она при первой возможности предпочла Гинденбурга, а не какого-либо демократического политика, и потому так легко поддавалась романтическому безумству ожидать от провозглашенного политическим гением лидера разрешения всех своих бед.

При таких условиях не стоит удивляться тому, что веймарская демократия была недееспособной, болезненной и бессильной. Версальская атмосфера означала; прежде всего, то, что внутренние политические преобразования зародились в обстановке бесцветных и едва

привлекающих внимание впечатлений: вместо впечатлений, связанных с общественными преобразованиями, на передний план выступило гораздо более острое впечатление, вызванное Версальским мирным договором, которое во всех отношениях максимально продемонстрировало отсутствие солидарности западных демократий в отношении новой немецкой демократии и тем самым означало, что Германия именно тогда потеряла свой европейский престиж и свое место среди европейских наций, *когда* она стала демократией. Отсюда проистекает жуткое оцепенение немецкого социализма в период 1918–1930 гг. В тяжелой атмосфере после 1918 г. возник раскол немецкого социализма и его бесплодность на обеих сторонах. Во всем мире существуют как более, так и менее радикальные социалисты, однако в Германии коммунизм означал катастрофический социализм, а социал-демократия – недееспособный социализм. В период 1918–1930 гг. социал-демократия почти постоянно находилась у власти или была соучастником власти, однако кроме бескровных институтов она практически ничего не смогла создать ни в области демократизации немецкого общества, ни в области серьезного социалистического строительства, поскольку ей приходилось постоянно оправдываться по поводу национальных требований и национальных обид перед проникнутым болезненным духом немецким общественным мнением. В результате социал-демократия оказалась в таком нелепом положении, что поскольку кроме национальных обид ее волновали и другие вопросы, постепенно она становилась козлом отпущения немецких национальных движений, клеймивших ее как соучастника антинемецкого заговора международной демократии. Не случайно, что то немногое, что можно было достичь в разрядке версальской атмосферы, удалось «выжать» из



немцев и из Антанты не социал-демократии, а правому политику Штреземанну. Однако в тот момент, когда в 1930 г. гитлеризм категорично выдвинул на повестку дня вопросы о немецком реванше, немецкой гегемонии и превосходстве немецкой нации, положение других партий – и в первую очередь социал-демократической, – которые стремились трактовать эти вопросы в духе определенной европейской умеренности, стало чрезвычайно сложным. Партии центра не посмели и дальше вступать в коалицию с социал-демократами, в результате чего было создано брюнингское [84] правление без социалистов, затем взяла верх антисоциалистическая политика Гинденбурга, приведшая к полнейшему оцепенению демократических сил и окончательному параличу механизма демократической политики. Кульминацией этого паралича было гротескное голосование социал-демократов за Гинденбурга, а самым гротескным в этой ситуации было то, что социал-демократы действительно не могли сделать ничего иного, точнее, что бы они ни предприняли, все способствовало бы приходу Гитлера к власти. Не стоит тратить усилий на поиски причин краха веймарской демократии в доктринерстве демократов, излишней централизации социал-демократической партии, в насквозь теоретизированной, механической избирательной системе, в стадном инстинкте немцев и подобных несерьезных вещах. Нет сомнений, что эти моменты сами по себе следствия, а не причины. Немецкая демократия шла своим путем, лишенная глубоких демократических впечатлений и отягощенная непосильным эмоциональным и историческим бременем, то есть она и не могла быть иной, как доктринерской, механической и безжизненной.

*Истоки патологического немецкого  
антисемитизма*

В АТМОСФЕРЕ веймарского тупика возник и патологический немецкий антисемитизм новейшего времени. Антисемитизм существовал в Германии и раньше, и его проявления были более значительными, чем в других странах. По всей вероятности, это определялось общественными отношениями и определенными факторами психологического характера. Душе немца и душе еврея свойственны определенные сходные черты (оба народа привержены формуле «или все, или ничего», и оба они находятся в состоянии поиска удовлетворения) и определенные различия (немецкая наивность и еврейская спекулятивная жилка, немецкий иррационализм и еврейский рационализм), которые воздействовали в направлении того, чтобы при случае их противостояние обострилось более легко, чем у других наций. Однако в Германии, как и повсюду в мире, евреи превратились в источник всех бед и центральную фигуру патологической картины мира лишь в сознании чрезвычайно малой группы людей, склонных к причудам и окруживших себя фантомами. Но после 1918 г. призрачные картины, владеющие этой небольшой группой, внезапно вызвали особый отклик в душе немцев. Среди причин этого особого отклика наиболее важной мне представляется то отличие, которое проявилось в реакции немцев и евреев на факторы, оказавшие гнетущее воздействие на германскую политическую жизнь и политическое душевное состояние и приведшие к их оцепенению, в особенности что касалось проблем демократии, международной жизни и экономического кризиса. Несомненно, что мнение немецких евреев о Версальском мирном договоре было точно таким же, как и у других немцев, и в конечном итоге они не меньше страдали от

экономического кризиса, чем другие жители страны. (Накопление капиталов спекулянтами, среди которых, по всеобщему мнению, непропорционально много было евреев, — наиболее лабильное, преходящее явление экономической жизни.) Однако психологическая реакция евреев на все эти факты была иной. Для большинства евреев, исходя из их исторического положения, активизация демократии и международных связей была единственной обнадеживающей возможностью, и даже самый нелепый мирный договор не мог вызвать в их душе глубокого кризиса в отношении демократии и интернационализма. То есть хотя у них было то же самое *мнение* о Версальском мирном договоре, как и у других немцев, в глубине души они ощущали себя иначе в атмосфере демократии и интенсивных межународных связей, сложившихся после 1919 г., и не могли разделить с другими немцами их гнетущих психологических ощущений в отношении всех этих фактов. Наряду с этим большинство евреев, хотя во многом и пострадавших от экономического кризиса, обладали исторически сложившейся гибкостью и выдержкой; обрушившиеся невзгоды не означали для них «конца света», как для большинства германских буржуа и мелких буржуа. И если ко всему этому присовокупить склонность евреев с некоторым недоумением и высокомерием воспринимать свойственные другим эмоциональные привязанности, а также их стремление все рационально объяснять, переоценивать и в наиболее современном духе истолковывать, то в общих чертах вырисовывается то раздражение, которое они вызывали в германских средних слоях и мелкой буржуазии, которые во всех отношениях ощущали себя в тупике и на протяжении двух десятилетий искали виновников, «укравших» их деньги в ходе инфляции и национальное достоинство в Версальском мирном договоре. Роль части еврейства в со-

циализме обусловила возможность искать в нем козла отпущения за грехи марксизма, а роль другой части еврейства в капитализме обеспечила блестящую возможность для направления социалистических настроений масс против *евреев*-капиталистов. То, что все это вместе в определенной мере противоречило друг другу, становилось все менее важным, когда все душевные устремления направлялись на поиск виновника, а не истины. При таком душевном состоянии, когда во всех бедах усложненного и погрузившегося в хаос мира весь народ был склонен видеть сатанинский заговор – а к мысли о сатанинском заговоре его уже приучил и вульгарный марксизм, – пришлось кстати патологические призраки прежде изолированного антисемитизма, которые полностью совпадали с желанием отыскать виновника-Сатану и раздражающим личным опытом. При наличии Сатаны не хватало только Мессии, и он не замедлил явиться.

### Б) Тупик Австрийской республики

*Являются ли австрийцы суверенной нацией,  
или же Австрия – центр немецкого кризиса?*

В ОБЩЕСТВЕННОМ мнении союзных держав ныне доминирует установка, согласно которой австрийцы причисляются к поработленным гитлеровской Германией малым нациям, таким, как чехи, поляки, норвежцы, голландцы, бельгийцы, югославы, греки и т. д., согласно чему считается естественным, чтобы после провала гитлеризма Австрия вместе с этими поработченными нациями вновь обрела суверенитет. Формула представляется чрезвычайно простой: существовало самостоятельное

австрийское государство, значит, существует и хочет быть независимой и австрийская нация.

Этой установке странным образом противоречит тот факт, что в период 1918–1934 гг. Австрию приходилось удерживать разнообразными международными договорами, постановлениями, предоставлением различных политических и экономических преимуществ от добровольного присоединения к Германии. Сегодня же не только в самой Австрии, но и среди различных групп австрийских эмигрантов не существует единого мнения относительно создания суверенной Австрии.

После всего сказанного об истории возникновения немецкого кризиса в этом нет ничего удивительного. Австрия объединяет в себе не отдельную нацию, а является одним из многочисленных немецких территориальных княжеств, которые при наличии большей или меньшей политической самостоятельности всегда оставались составной частью немецкой нации. Среди них только Голландия, Бельгия и Швейцария пережили особые и обладавшие большой силой исторические впечатления, которые окончательно отделили их от Германии и превратили в отдельные нации. В других же княжествах лишь усилилось локальное самосознание, что более всего было характерно для Пруссии и Баварии, однако это самосознание никогда не было настолько сильным, чтобы могло превзойти сознание принадлежности к немецкой нации. Австрийцы же, хотя и обладавшие сильным локальным самосознанием, всегда были еще большими немцами, чем пруссаки или баварцы. Это объяснялось тем, что несмотря на длительность и интенсивность политического впечатления, связанного с образовавшимся с центром в Вене австрийским герцогством, а затем с длительной и не лишенной славы историей Австрийской империи, слава этой истории состояла как раз в том, что

Австрия была родиной германского императора, своего рода Иль-де-Франс, иными словами, политическим центром Германии.

Однако Австрия была не только обладавшей центральным значением частью германского политического организма, но и главным носителем немецкой политической лихорадки. В критический период зарождения идеи немецкого единства – в 1806–1866 гг. – взлет национальных чувств был в Австрии гораздо более интенсивным, чем во многих других немецких землях. Тот факт, что в результате политики «железа и крови» Австрия оказалась вытесненной из единой Германии, вызвал глубокое оцепенение в политической жизни австрийских немцев, которые все больше недоумевали по поводу того, что если существует единая Германия, то почему им нужно оставаться в десятиязычной империи Габсбургов. Эта оцепенелость проявилась в определенного рода вялости, безразличии, отсутствии убеждений, в рутинной политической практике («*fortwursteln*» [85]), сложившейся в Австрии в период 1866–1918 гг. Сегодня об этих качествах говорят как о политическом проявлении характерного австрийского благодушия, в то время как это был явный симптом болезни, не имевший ничего общего с австрийским национальным характером. Та Австрия, которая с XV в. и до 1866 г. была немецким политическим центром, показала свое совершенно иное лицо. После 1866 г. ее «благодушие» обернулось и другой стороной, абсолютно не соответствующей общепринятому представлению об австрийском характере, что выразилось в создании экспансивных, истеричных политических движений. В Западной Европе это прозвучит странно, но в Центральной Европе всем известно, что гитлеризм зародился не в «идуущей напролом», «феодальной», «милитаристской» Пруссии, а в благодушной,

кроткой, проникнутой латинским духом Австрии. Не случайно, что и сам Гитлер был австрийцем, и не случайно, что именно в Австрии сформировалось антисемитское пангерманское движение, давшее Гитлеру и гитлеризму решающий толчок.

Это болезненное, поляризованное, можно сказать, шизофреническое состояние австрийской политической жизни продолжалось и после 1918 г. Хотя империя Габсбургов распалась, закрепленный в мирном договоре, а затем в австрийском экономическом договоре «обязательный» суверенитет был столь же бесцельным и бессмысленным для австрийских немцев, как и Австро-венгерская монархия: и то, и другое означало, что без каких-либо конкретных причин они должны существовать вне германского политического организма, в рамках которого они находились до 1866 г. Таким образом, снова возникла благодущная, вялая, ориентирующаяся лишь на данный момент политическая практика и напряженность скрытой политической истерии. Чем можно объяснить — и в Западной Европе это также остается неизвестным, хотя в Центральной Европе является банальной истиной, — что нацистская истерия в гораздо большей степени захватила Австрию, чем, например, Баварию? Вряд ли имеет смысл утверждать, что Бавария является более католической и более европейской страной, чем Австрия, и что она обладает большим количеством антитоксинов против варварства и нигилизма. Ответ прост: гитлеризму удалось идентифицироваться с делом немецкого единства, и для Баварии принадлежность к единой Германии была естественной, то есть не вызывавшей особого интереса, в отличие от Австрии, для которой это было жгучим вопросом. И это, опять же, такой момент, который был бы невозможен при существовании самостоятельной австрийской нации.

Однако Австрия не только не отдельная нация, а скорее *центральная проблема немецкого кризиса*. <...> Основным пороком процесса упорядочивания европейских дел в 1918 г. было недопущение объединения Австрии с Германией тогда, когда в германском внутреннем развитии для этого не было никаких препятствий. Это привело к тому, что все же свершившееся в 1938 г. объединение сопровождалось таким взрывом накопившихся болезненных немецких сил, который потряс весь мир и потрясает его и ныне.

#### *Факторы австрийского сопротивления: 1934–1938 годы*

До 1866 г. Австрия юридически, политически и эмоционально была органической частью Германии, и в периоды 1866–1918 гг. и 1918–1934 гг. не переживала никаких исторических впечатлений, которые хотя бы в незначительной мере приблизили ее к формированию в самостоятельной нации. Определенные свидетельства существования австрийской нации как таковой и ее готовности защищать от немцев свой суверенитет проявились лишь в 1934–1938 гг., то есть в период, начавшийся с убийства Дольфуса [86] и продолжавшийся до вероломного аншлюса. Для формирования нации это довольно малое время. Дело, однако, в том, что и здесь не *нация* оказала сопротивление гитлеровской Германии.

Наиболее весомый вклад в сопротивление внесла *Христианско-социалистическая партия* [87], за которой стояла католическая церковь. Хотя до 1933 г. эта партия не настаивала на присоединении в основном к протестантской Германии, она никогда не выступала и против аншлюса. Сопротивление с ее стороны проявилось с того момента,



когда анишлюс открыл двери языческой мифологии и стал означать присоединение к преследующей церковь гитлеровской Германии. Таким образом, это было такого же рода сопротивление, какое с меньшим успехом попыталась проявить в Германии партия Центра [88]. В Австрии же за этим сопротивлением стояли традиции самостоятельной государственной жизни и большее чувство безопасности, обусловленное господствующим на протяжении столетия положением католической церкви.

Вторым фактором сопротивления был *легитимизм*, не имевший массовой базы, за исключением аристократов, бывших военных и склонных к воспоминаниям о былых временах пожилых людей. Легитимизм активизировался только тогда, когда возникала потребность в сопротивлении гитлеризму и надо было противопоставить лозунгу немецкого единства нечто более авторитетное и презентабельное, чем христианская социалистическая республика.

Третьим фактором сопротивления был военный союз *Heimwehr* [89], являвший собой странный конгломерат защищавших границы военизированных отрядов, возникших после 1918 г. в связи с австро-югославскими пограничными распрями, фашистского союза фронтовиков и иррегулярной армии амбициозного аристократа (герцога Штаремберга, бывшего соратника Гитлера). Наиболее активно этот союз действовал в период, когда в Германии поднял голову гитлеризм, и в это время фигурировал как австрийский аналог гитлеризма. Однако в той же мере, в какой гитлеризм вырос в олицетворявшее немецкое единство движение, ослабла внутренняя сплачивающая сила *Heimwehr*'а, и в конце своего существования он во многом соответствовал австрийскому анекдоту, когда один из штурмовиков, марширующих в рядах *Heimwehr*'а, говорил другому: «Знают ли все эти нацисты вокруг нас, что мы двое – коммунисты?!»

И последний фактор, который мне нужно было бы упомянуть в числе первых, это если бы они смогли принять участие в антигитлеровском сопротивлении, были *австрийские рабочие-социалисты*, до гитлеризма полностью приверженные аншлюсу, и только в период гитлеризма временно снявшие эту задачу с повестки дня.

Таким образом, в 1934–1938 гг. сопротивление проявила не самостоятельная австрийская *нация*. Убийство Дольфуса не было тем событием, которое могло стать началом образования нации, поскольку ни пангерманцы, ни социалисты, составлявшие вместе большинство австрийского населения, не могли видеть в нем национального героя и мученика. Много говорилось о том, что было бы, если бы Дольфус попытался войти в коалицию с социалистами и найти для сопротивления более широкую основу. По всей вероятности, в его положении можно было проводить более разумную и гуманную политику в отношении социалистов, однако если бы он и хотел этого, ему бы не удалось проводить общую с социалистами политику. Дело в том, что с того момента, как в свойственных немецкой истерии воззрениях сложилась окончательная картина предающей родину международной социал-демократии, она утвердилась и в Австрии, и Дольфус точно так же не мог пойти на коалицию с социалистами, как и Брюнинг, потому что Австрия была не самостоятельной нацией, а частью немецкой нации и вместе с нею соучастником немецкой истерии. Даже в разгар сопротивления ни один из австрийских авторитетных политиков факторов не посмел бы противопоставить австрийскую *нацию* немецкой *нации*, а если бы и посмел, то ни на день не остался бы в правительстве. Речь всегда шла только об особом *немецком* призвании австрийского народа, в интересах чего ему нужно сохранять свою самостоятельность. Это осо-

бое призвание многие обосновывали тем, что пока Германия переживает лихорадку гитлеризма, суверенному австрийскому государству следует консервировать *немецкие* силы европейского духа, то есть речь здесь шла только о *временном* и *условном* суверенитете. Нельзя было даже представить такого положения, чтобы Австрия оказалась в состоянии войны с Германией или же в связи с войной вступила в союз с иностранными государствами. Если бы в 1938 г. западные страны начали войну с целью предотвращения австрийского аншлюса, то в этой войне у них было бы немало союзников, однако среди них не было бы австрийцев.

Сегодня уже трудно установить, могли ли события после 1938 г. стать исходной точкой образования самостоятельной австрийской нации. То, что присоединение к Германии произошло насильственным путем и сопровождалось принудительными мерами, что благодушная Австрия во многом пострадала от высокомерия гитлеровских наставников, что после короткого полугодового периода воцарения в стране немецкого мира Австрия также была вовлечена в самую катастрофическую авантюру именно немецкой истории, что теперь, во время войны, со стороны союзных держав к Австрии проявляется определенный дифференцированный подход и имеются надежды на особое отношение к ним в дальнейшем, все это достаточно для того, чтобы создать определенную дистанцию между австрийцами и другими немцами. Все это, возможно, достаточно и для того, чтобы в случае плебисцита, когда альтернативой стало бы разделение страшной ответственности с побежденной Германией, большинство голосов – не думаю, чтобы оно было подавляющим, – было бы подано за суверенную Австрию. <...>

## 6. ПЯТЫЙ ТУПИК: ГИТЛЕРОВСКИЙ ТРЕТИЙ РЕЙХ

### Что такое фашизм?

ГИТЛЕРИЗМ, как мы его трактовали выше, явление уникальное: это конечный результат, проистекающий из конкретных предпосылок немецкого политического развития, из конкретных исторических потрясений. Однако наряду с этим он относится и к такому типу общественно-политического развития, который в наши дни обычно характеризуется обобщающим термином «фашизм». Стоит ли говорить о психологических предпосылках гитлеризма, связанных с ним потрясениях, когда у фашизма есть свои общеизвестные общественные и экономические предпосылки, при наличии которых он закономерно возникает? У фашизма и вправду имеются свои типичные среди них предпосылки, однако предпосылки психологического характера являются определяющими. Любое толкование, исключаяющее их, не имеет под собой серьезной основы.

Самая общая трактовка сводится к тому, что фашизм — это объединение феодальных, капиталистических и милитаристских, иными словами, реакционных высших слоев в защиту своих интересов, направленное против демократического прогресса и особенно против социалистической революции. В этом утверждении безусловно верно то, что в любом виде фашизма со стороны этих элементов проявляется определенное содействие или же во всяком случае хотя не безоговорочное, но все же ощутимое признание и отражающаяся в действиях поддержка. Однако все это далеко от того, чтобы эти элементы можно было считать «возбудителями» фашизма. Довольно наивно представлять, что на деньгах, подстрекательстве или интригах мож-

но создать серьезное массовое движение. Деньги, подстрекательство, интриги могут содействовать организации и акциям массового движения, деньги могут помочь определенным массовым движениям пережить критические, опасные моменты, однако массовое движение может сформироваться и независимо от всего этого, и деятельность какой угодно группы не может ему воспрепятствовать. Феодалы, капиталистические и милитаристские группы, которые в ходе истории не раз поддерживали установление деспотичного фашистского режима, например при создании первой и второй французской империи играли ту же самую роль, то есть содействовали приходу к власти деспотизма, но без попыток или стремлений создать фашистские массовые движения. Для них важна готовность масс к *покорности*, не к движению. То, что эта готовность выливается в форму *массового движения*, для них скорее неприятный фактор. Союз феодальных, капиталистических и милитаристских сил с фашизмом всегда и везде является в прямом смысле слова компромиссом, в котором обе стороны, реакция и фашизм, пытаются взаимно использовать друг друга в качестве средства, однако при этом не отступают от своих противоречивых методов, противоречивых интересов и противоречивых целей. Именно поэтому компромисс между реакцией и фашизмом раньше или позже обычно теряет силу. Таким образом, совершенно недостаточно истолковывать фашизм как средство реакции или как форму проявления реакции.

Еще более бесплотная схема – это трактовка фашизма как революции *мелкой буржуазии*. Эта схема – один из побочных продуктов вульгарного марксизма, который считает, что нельзя приступать к истолкованию революции до тех пор, пока не указан тот общественный класс, кото-

рый в первую очередь является заинтересованным лицом и выразителем революционных идей. Сколько бы мелких буржуа ни было среди сторонников фашизма, несомненно, что представление мелкого буржуа в качестве основного выразителя фашизма – вымученное, возникшее постфактум толкование. На протяжении столетия вся Европа считала естественным, что после буржуазной революции следует революция пролетарская, и до 1930-х гг. никому не приходило в голову в честь мелкой буржуазии вклинить в этот процесс еще одну, особую революционную фазу. Не легко объяснить, как стремление к мировому господству, захватническим войнам и покорению других народов связано с интересами мелкой буржуазии как общественного класса, не говоря уже о том, что как английская, так и французская мелкая буржуазия, обладавшие несоразмерно большой общественной силой, не выступали в качестве выразителей этой промежуточной революционной фазы.

Трактовкам фашизма, исходящим из связанных с обществом и общественными классами фактов, противостоят столь же малопродуктивные подходы, интерпретирующие фашизм как течение, касающееся лишь моральных аспектов, как кризис системы моральных ценностей или как особый мир ценностей, отличающийся от европейского. Несомненно, что для фашизма гораздо более характерными являются его ценностные категории, чем то, на какие общественные классы он опирается. Однако в трактовке фашизма как некоей оспоримой, но все же самостоятельной системы ценностей, основанной на принципах, не исходящих, не выводимых из других систем ценностей и не имеющих с ними ничего общего, невольно проявляется его переоценка. Обычно отмечается, что фашизм есть примитивная, варварская, воинственная, проникнутая героикой система ценностей, противостоящая основанная на принци-

пах человечности, любви и свободы христианской, гуманистической и социалистической системам ценностей. Однако было бы большой ошибкой считать, что на всем протяжении европейской истории в противовес основанной на гуманизме и свободе системе ценностей существовала и проявлялась, хотя и в скрытой форме, независимая от нее, исходящая из противоположных принципов воинственная, проникнутая героикой система ценностей. Результатом двухтысячелетнего существования христианства было как раз то, что оно сублимировало достоинства молодых европейских варварских народов и стремилось преобразовать слепое повиновение в опирающуюся на ответственность самодисциплину, слепую преданность – в личное самопожертвование и родовое чувство – в чувство общественное. Верно и то, что эта, базирующаяся на родовой принадлежности система ценностей существовала в Германии дольше всего, и частично как причина, частично как следствие была тесно связана с тем пагубным, гипераристократическим механизмом, который привел к созданию института немецких территориальных княжеств и через это – к распаду немецкого политического организма, к проблемам формирования немецкого единства и его половинчатому решению и, наконец, к нынешнему кризису немецкого политического организма; безусловно и то, что во многих точках гитлеризм сознательно использовал элементы, родовой системы ценностей. Наряду с этим следует особо подчеркнуть, что у фашизма нет основополагающего морального постулата. Ценностные представления фашизма основываются не на какой-то самостоятельной, воинственной, героической моральной системе ценностей, а являются лишь производными христианских, национальных и демократических ценностных установок, и суть их в конечном итоге состоит в том, что некоторые

актуальные проблемы общественной морали западного мира, в частности возрождения морального героизма, коллективного авторитета и общественного еуха они пытаются разрешить посредством чудовищных, обретших глобальные формы химер (миф о насилии, принцип фюрерства, расовая теория). Нет смысла списывать эти вывихи мышления на счет послуживших источником заимствования идей философских систем и вменять им это в вину. Нет сомнений, что формулированию, высказыванию и объединению в систему сконцентрированных в фашизме деформаций человеческого мышления содействовал зарождавшийся под знаком ложной романтики культ героя, силы, власти, воли, действия, неудержимой жизненной энергии и т. д., который во второй половине XIX в. появился на поверхности как составной элемент серьезных и глубоких философских систем, а к началу XX в. опустился на уровень вульгарных философских лжеидей. Однако не стоит вслед за немцами заниматься псевдоисторией духа и приписывать философским мыслям или идеологиям такое влияние, которым они не обладают. Источниками катастроф являются не сами мысли, а настроения, заполняющие заданные мыслями схемы. Как бы ни было велико значение той или иной идеи, причину выбора человеком или обществом среди моральных формул именно той, которая в данной ситуации ведет к катастрофе, нельзя вывести из самой формулы.

Непродуктивна и трактовка фашизма как восстания человека преступного типа, находящегося вне закона. Преступный тип чрезвычайно характерен для фашистских акций, но это означает лишь то, что фашизм предоставляет ему возможности для активности. Однако нет и речи о том, что объединение находящихся вне закона людей может быть при-



нято в расчет как один из факторов возникновения фашизма. Суть фашизма состоит как раз в нарушении мира ценностей добропорядочных и законопослушных людей. А для того чтобы находящийся вне закона человек стал деятельным фактором, требуется нечто такое, что вначале должно поколебать сам закон, и для этого недостаточно даже очень хорошо организованной акции находящихся вне закона людей. Самым большим противником господства закона является не стоящий вне закона человек, а те невыясненные, ложные ситуации, которые превращают закон в пустое, фальшивое средство.<...>

Сторонники европейского традиционализма считают фашизм лишь одной из разновидностей уничтожающей ценности революции, выделяя при этом общие черты фашизма и коммунизма. В противовес этому сторонники европейского прогресса считают фашизм «наемной псевдо-революцией», за которой стоят самые темные, антипрогрессивные, феодальные и реакционные элементы, иными словами, правые в вопросе фашизма ссылаются на крайних левых, а левые – на крайних правых.

Все это не случайно, а органически связано с сущностью фашизма. Фашизм и вправду апеллирует к европейскому традиционализму и при этом все же низвергает его. Он призывает себе в помощь реакционные силы и одновременно уничтожает их общественный престиж, активизирует демократические массовые чувства и одновременно ведет их в тупик, вызывает революцию и ничего не решает. Неудивительно, что нельзя выявить основополагающую мысль фашизма, ведь все его идеи имеют негативный характер. Фашизм – это не самостоятельная система ценностей и даже не антитезис, а один из продуктов вызванного европейской демократической революцией кризиса:

именно поэтому в нем деформирован как каждый элемент демократической революции, так и каждый элемент восставшей против демократической революции реакции. Их объединяет тот момент, что волна одной и той же исторической истерии выплеснула их из того хаоса, который охватил в последнее время в определенной части Европы мир общественных ценностей, свойственных христианству и гуманизму. От всех течений, детерминировавших общественное и политическое развитие Европы, фашизм отличает именно его *деформированность*.

Какова причина этой деформации? Для гармоничного и однонаправленного современного политического развития европейского общества по сути необходима единственная вещь: чтобы дело общества и дело свободы было единым делом. Иными словами, необходимо, чтобы при наступлении революционного момента, когда человек посредством глубоких революционных потрясений освобождается от психического давления господствующих над ним милостью Божьей общественных сил, для всех должно быть ясным и ощутимым, что освобождение отдельного человека одновременно означает и освобождение, расширение масштабов, внутреннее и внешнее обогащение всего общества. В определенной части Европы, особенно в Центральной и Восточной Европе, в жизни многих наций все произошло по-иному. Эти нации пережили такие исторические моменты, когда крушение господствовавших над обществом политических и общественных сил прошлого одновременно означало и катастрофу всей национальной общности. Корни фашизма всегда там, где по каким-либо причинам в ходе какого-либо потрясения и из-за каких-либо ложных представлений дело нации и дело свободы оказываются в противостоянии и где какое-либо историческое потрясение зарождает судорож-

ный страх, что прогресс свободы угрожает делу нации.

Однако для возникновения подлинного фашизма требуется кроме этого и еще нечто: чтобы общественное и культурное развитие данной страны достигло такого уровня, когда на повестке дня стоит полная и массовая демократизация общественных чувств, демократическая революция. В находящейся на таком уровне развития политической общности в обстановке испытываемого ею судорожного страха возникает абсурдная идея, что все те массовые силы, которые в гармонично развивающихся европейских странах в ходе демократической революции сплотились или могут быть сплочены вокруг дела нации и свободы, со всем присущим им динамизмом должны объединяться *только вокруг дела нации, а не вокруг дела свободы*. Как бы парадоксально это ни звучало, следует отметить, что фашизм существует только там, где существуют демократические массовые чувства. Без какой-либо предпосылки, примера, эксперимента или краха демократии нет фашизма. Отношение фашизма к демократии это не просто отношение отрицания, противостояния, а то, что в нем деформируются определенные кризисные явления демократического развития: фашизм — это деформированный продукт демократического развития.

После сказанного становится ясным, что фашизм нельзя трактовать лишь как инструмент реакции. Реакция и фашизм органически связаны друг с другом. Однако не потому, что они взаимно расположены друг к другу. Коренящийся в фашизме страх благоприятствует политическим и общественным силам прошлого, поскольку внушает, что полное и комплексное устранение общественных сил прошлого ведет к катастрофе; для исторической аристократии и военных групп такая установка означает возможность и побуждение присоединиться к дезориентированным фашизмом обществен-

ным движениям, поскольку они уже направлены не против них, а прежде всего против какого-либо внешнего врага. При этом значительная часть аристократии все же остается на расстоянии как от фашизма, как и от демократической революции, и фашизм в конечном итоге точно так же уничтожает общественный престиж исторических сил, как и демократическая революция. Аристократия и военные, по сути, лишь ассистируют в процессе фашизации, сам же процесс они не в состоянии ни продвинуть вперед, ни затормозить. Хаотичный общественный и классовый фон фашизма являет собой конгломерат самых различных общественных сил, которые объединяет судорожный страх и порожденные им противоречивые, ложные представления: наряду с аристократическими и военными группами, ставящими превыше всего поддержание авторитета господствующей власти, здесь присутствуют прежде всего интеллигентские слои, охваченные паническим страхом за нацию, буржуазные и мелкобуржуазные слои, приносящие в жертву свободу во имя порядка, а также пролетарские элементы, склонные поступиться свободой ради социального обеспечения и человеческим достоинством ради безграничного превозношения национальных достоинств.

Из парадоксальной установки, нацеленной на мобилизацию демократических массовых сил *только* во имя нации, но *не* во имя свободы, проистекают все характерные, уродливые противоречия фашизма: нелепость идеи опирающегося на массовое движение абсолютного деспота, нонсенс пренебрегающей массаами народности (популизм), бессмыслица антидемократического национализма, абсурдность направленной против свободы революции и монстр истребительной войны между народами.

На основании сказанного становится однозначным, что несмотря на общность вышеназванных черт различ-

ных видов фашизма, ни одного из них нельзя понять без знания конкретных потрясений, которые зародили характерный страх, лежащий у истоков данного рода фашизма. Таким образом, для понимания немецкого фашизма, гитлеризма мы не без оснований попытались объяснить такой исторический ряд событий, который восходит к наполеоновским войнам.

### *Гитлеризм и Версаль*

ПОТряСЕНИЕМ, детерминировавшим немецкий национал-социализм, без всяких сомнений был исключительно Версальский мирный договор. К сожалению, нам снова приходится обращаться к тому общепринятому ныне мнению, что Версальский мирный договор был не только неудачным, но и очень мягким, поскольку немцы доказали, что и до Версальского мирного договора, и независимо от него ими руководили глубокие и вряд ли истребимые агрессивные и властные инстинкты. Мы уже касались вопроса верного подхода к легенде о древнем немецком культе власти: этот культ в действительности древнее Гитлера, однако восходит не к темным германским предкам, а к середине XIX в., к кризису вокруг проблемы немецкого единства. Однако нигде не было предписано, что культ власти вильгельмовской Германии после поражения в Первой мировой войне должен был закономерно и естественно развиваться и дальше. Как раз наоборот, военное поражение 1918 г. могло стать отличным курсом лечения для немецкого культа власти, поскольку именно этой проигранной войне удалось сделать то, что не удалось всем победным войнам: убрать с пути множество династий, это гнетущее бремя, препятствовавшее политическому единству и демократическо-

му развитию немецкой нации. Причиной тому, что поражение в войне 1918 г. не излечило немцев от культа власти, а усугубило его, был именно Версальский мирный договор. Не потому, что этот договор был слишком строгим, а потому, что вместо заключения мира он приобрел форму морального осуждения, и к тому же осуждение проводилось с позиции таких моральных принципов, для принятия которых немецкое политическое общество не обладало достаточной зрелостью, и в довершение всего в самом договоре в должной мере не проводились те принципы, от имени которых он обвинял. В ответ на это немецкое политическое общество ввергло в кризис всю европейскую систему ценностей, именем которой было сформулировано обвинение. <...>

Исходя из ответов гитлеризма на все большие, нерешенные вопросы, которые мучили немецкое общество и на которые недееспособная веймарская демократия не могла дать ответа, расчеты относительно процентного состава гитлеровцев среди немецкого населения представляются несущественными. Гитлеризм безусловно обращался к каждому немцу, хотя бы в какой-то степени болеющему душой за все произошедшее с Германией с 1918 г.; если данный человек не имел ничего общего с гитлеризмом, если он был культурным, утонченным индивидом, более того, если он случайно был евреем, то и тогда в послании гитлеризма для него звучало нечто особенное. Отсюда страшный паралич немцев демократического европейского еуха перед гитлеровской агитацией: гитлеризм апеллировал прежде всего к таким чувствам, в отношении которых они не могли быть безразличными. Вопрос не в том, сколько процентов немцев были сторонниками Гитлера, а в том, что гитлеризм преподносил неразрешенные немецкие вопросы так, что в своем воздействии на немецкую по-

литическую жизнь они становились своего рода водоразделом и вызывали положительный отклик со стороны и таких немцев, которые были далеки от философии гитлеризма. Можно сказать, что во всех тех пунктах, где гитлеризм стремился взять реванш, апеллируя к европейским ценностям, более девяноста процентов немцев были сторонниками Гитлера. Однако в тех пунктах, где гитлеризм хотел радикально порвать с системой европейских ценностей, более девяноста процентов немцев на сегодняшний день не являются приверженцами Гитлера. Преобладающее большинство немцев стояли за Гитлера, когда речь шла о военных постановлениях Версальского мирного договора или об австрийском и судетском аншлюсах, но сегодня немцы, за исключением незначительного меньшинства, не поддерживают Гитлера, если речь идет об убийстве еврейских женщин и детей. Проблема была лишь в том, что в силу сложившейся политической ситуации настроенная на массовые убийства партия и утверждаемое ею мировоззрение проявили себя как единственная политическая сила, способная разрешить открытые внешние и внутренние вопросы немецкой нации.

Внутреннее противоречие гитлеризма; ссылающегося на систему европейских моральных ценностей и одновременно отрицающего эти элементы, стало тем фактором, который вызвал внутренний перелом в гитлеровской картине мира и ее крушение. Этот перелом и этот крах можно последовательно наблюдать в трех критических точках, где гитлеризм атаковал систему ценностей европейского общественного, политического и международного сосуществования, а именно в сферах *международного сотрудничества, демократии и социализма.*

## Идейная западня:

## право на самоопределение и культ власти

ГИТЛЕРИЗМ потому порвал с действовавшими ранее основными принципами *европейского сосуществования*, свободой народов, равноправием наций, правом на самоопределение, что немецкий народ, испытав горечь единичного исторического опыта, утвердился в мысли, что эти принципы могут использоваться крайне выборочно, односторонне и лицемерно. Гитлеризм, таким образом, начал проводить такую внешнюю политику, которая основывалась на максимальном выявлении и использовании силовых позиций, на отказе как от продиктованных, так и добровольных договоров и безграничном применении насилия. Подобные методы принесли ему потрясающие внешнеполитические успехи. Оказалось, что без всяких последствий можно было обойти те ограничения Версальского мирного договора, в отношении которых веймарская Германия напрасно просила хотя бы небольших послаблений; выяснилось, что без войны можно спровоцировать проведение таких территориальных изменений, о которых веймарская Германия не смела и мечтать. Чем это объясняется? Я слышал, как люди шептались, что «немцы наконец-то научились делать политику и дипломатию». Другие спешили раскрыть «пособников» немцев в другом лагере, пятую колонну, чемберленизм [90], капиталистические антибольшевистские интриги и т. д. Многие – и даже среди смертельных врагов гитлеризма – всерьез утверждали, что Гитлер политический гений. Другие констатировали, что западные страны слишком отстали в военной подготовке, и все успехи немцев приписывали этому преимуществу во времени. Все эти утверждения имели некоторую реальность, однако по сути были лишены серьезной осно-



вы. Более весомой причиной успеха гитлеровской внешней политики было всего лишь то, что до определенного момента она гармонировала с фактами и основными принципами европейской системы ценностей. Когда Гитлер ссылаясь на желание большинства немцев присоединиться к Германии, то он основывался на подлинных фактах, и выполнение этого желания следовало именно из принципов свободы, равноправия и права на самоопределение наций. Внешнеполитические акции Германии в период 1935–1938 гг. при всех поверхностных и второстепенных причинах в конечном итоге оттого достигли удивительного успеха, что действительно нельзя было начать войну потому, что Германия самовольно добилась равноправия в вооружении, о котором все знали, что его осуществление лишь вопрос времени; войну действительно нельзя было начать, потому что семь миллионов австрийских немцев и три миллиона чешских немцев, большинство которых по всем признакам ощущали и признавали себя немцами, не посредством корректного плебисцита, а насильственными силовыми актами были присоединены к Германии. Поэтому безосновательны представления, что агрессивные акции Гитлера следовало остановить военной силой еще в 1935-м, 36-м или самое позднее весной или даже осенью 38-го года. Демократические страны нельзя ввергнуть в войну без достаточных моральных оснований, а эти войны нельзя было бы морально обосновать, за исключением того случая, если бы западные державы категорически заявили, что все те военные и территориальные уступки, которые они не могут сделать гитлеровской Германии, они могут сделать Германии европейского духа при условии применения европейских форм (плебисциты и т. д.). Убедительную силу такого заявления, по всей вероятности, в значительной мере ослабил бы тот подход, который ис-

пользовался по отношению к Германии европейского духа до прихода Гитлера, однако и при этом было бы не поздно в 1938 г. выступить с таким заявлением. Без наличия такового в начатой в 1938 г. войне моральная позиция западных держав была бы гораздо более шаткой, чем немецкая. То, что Мюнхен завершился известными результатами, было поистине катастрофой, однако факт, что посредством Мюнхена союзные державы оказались в моральном преимуществе по сравнению с немцами. Аншлюс и Мюнхен продемонстрировали всему миру, что западные державы не препятствуют объединению немецкой нации. В этой точке произошел поворот в драме неистовой истерии, воплощенной в гитлеризме, и европейское положение Германии пошатнулось. Большинство немцев ожидали, что Гитлер возьмет реванш перед лицом *европейской* системы ценностей за понесенный немцами урон, который был одновременно уроном и европейской системы ценностей, и наряду с этим надеялись, что всего этого Гитлер сможет достичь без войны. Однако что бы Гитлер ни утверждал, он не верил и не замечал – поскольку *не верил в европейскую систему ценностей и не замечал ее*, – что его внешнеполитические успехи основываются на неодолимой силе международных принципов свободы, равноправия и права на самоопределение, а был убежден, что всех этих успехов он добился потому, что выступил с позиции власти и насилия, что отменил принятые формы европейского сосуществования, в результате чего получил немецкие территории Австрии и Чехии, применив силу вместо плебисцита. А последствием этого стало то, что после Мюнхена, – когда ожидания немецкой нации в соответствии с подлинными фактами и требованиями подлинной европейской системы ценностей должны были достичь точки равновесия, – немецкая политика, воплотившееся в гитлеризме отрица-

ние европейских ценностей, по незыблемым законам истории шла дальше по пути обусловленных властью побед. Таким образом, уже в последовавшие за Мюнхеном месяцы своими новыми и новыми пограничными требованиями к чехам она перешла границы умеренности, в марте 1939 г. с вступлением в Прагу – границы порядочности, а в сентябре 1939 г. с развязыванием войны – все мыслимые границы. Вступление в Прагу подорвало моральную позицию Германии, а развязывание войны ликвидировало надежды, которые большинство немцев связывали с Гитлером. То движение и его вождь, которые обещали Германии моральный реванш, все более способствовали полному подрыву моральной позиции Германии и подтверждению всего того, из-за чего Германия в свое время незаслуженно пострадала.

### *Идейная западня: демократия и принцип фюрера*

ВТОРАЯ точка, где гитлеризм противостоял европейской системе ценностей, – это вопрос *демократии* и *единоличной власти*. Полуторатысячелетнее развитие европейской политической жизни шло в направлении устранения единоличного господства, спиритуализации власти, укрепления демократии и самоуправления. Постепенно в людях становилось массовым чувством желание того, чтобы правление осуществлялось не в традиционной, династической и персональной форме, а в соответствии с их потребностями и волей. Однако там, где крушение традиционной единоличной власти происходило внезапно и не предварялось подготовкой, это по сути и в основе своей демократическое желание легко перерождалось в установление обществом, ощущавшим себя без хозяина и без руководства, диктаторской единоличной власти. Так это

произошло и в Германии: напряжение между желанием демократического руководства и гнетущим чувством его отсутствия разрядил гитлеровский принцип фюрера, который дал на эту проблему свой характерный, во всех направлениях кажущийся удовлетворительным ответ: династическая единоличная власть и вправду отжила свой век, но вместо нее перед вами современная, самая современная власть, обладающая народными корнями, воплощающая в себе исконные желания народа личная власть вождя, являющегося более подлинным выразителем народной воли, чем не знакомые народу и лишь равнодушно терпимые руководители веймарской демократии, и единственно достойным выразителем политической организации великой и амбициозной нации. Здесь снова налицо характерное противоречие истеричной картины мира, противоречие между реальностью и фантазмагорией. Реальной основой прихода Гитлера к власти являлось то, что он идеально воплотил в себе истерию немецкого народа и обещал разрешить проблему великого оскорбления, нанесенного немцам. Немецкий народ желал не диктатуру, а политическое руководство, способное воплотить в жизнь надежды и чаяния всего общества, и во имя этого он был готов вытерпеть и диктатуру. То есть он желал того, что ему и следовало желать согласно основному принципу демократии, однако находясь в тупике политического мышления, поверил такой нелепости, что его желания может осуществить единоличный диктатор. Парадокс, но тем не менее факт, что диктатор, который в каждом своем заявлении осыпал едкими насмешками демократию и демократии, в большей мере, чем кто-либо иной, способствовал тому, чтобы политически индифферентная и непросвещенная значительная часть немецкого народа, равнодушие которой было столь тяжелым бременем веймарской демократии, попала в водоворот

политики, и каким бы прискорбным ни было ее первое выступление, демократия все же начинается там, где массы приходят в движение. Немецкий народ принял фюрера, но с глубоким, усиливающимся недовольством воспринимал сопровождавшие его возвышение явления: все более беспощадное сковывание свободы слова, передвижения, более того, свободы выражения недовольства, постепенную ликвидацию частной жизни, слежку и доносы и всех этих многочисленных маленьких фюреров, которые расплодились во всех сферах жизни под флагом партии [91], СА [92] и СС [93]. Парадокс, но факт, что именно гитлеризм наглядно доказал немецкому народу, что лишенная одухотворенности безграничная единоличная власть невыносима для европейского народа. Какой бы погром ни учинил гитлеризм среди демократических слоев немецкого общества, предпосылка демократии, когда общество с силой серьезного массового чувства начинает испытывать отвращение к единоличному господству, для ранее слишком лояльного к нему немецкого народа впервые возникла через опыт гитлеризма.

### *Идейная западня: равенство и расовая теория*

С ТОЧКИ зрения европейской системы ценностей, третья основополагающая позиция гитлеризма заключалась в том, что в то время, как европейское общественное развитие шло в направлении ликвидации веры в магическую силу родовой селекции и *низвержения всякого рода родовых привилегий*, гитлеризм посредством расовой теории создал в Германии такую конъюнктуру мистике рода, выявлению знатных и престонародных предков, которая не имела прецедента даже в эпохи высшего рас-

цвета европейского феодального строя. Парадокс, однако, состоял в том, что и в данном пункте это был элемент гитлеризма, признающий европейское развитие, который реально и на длительную перспективу одержал победу. Нигде в Европе родовая селекция не обладала столь гнетущим воздействием на развитие общества, как в Германии. Это единственный элемент деформации немецкого политического мышления, который и вправду восходит к древним германским предкам и эпохе переселения народов, когда на руинах распавшегося римского общества германцы создали свою жесткую сословную организацию общества. Эта общественная организация, обретшая иную мораль под воздействием христианства, стала чрезвычайно важным и ценным фактором европейского развития, однако развитие новейшего времени, разумеется, шло в направлении полной ликвидации сословной организации общества, и этот процесс, вероятно, нигде в Европе не сопровождался столь большими трудностями, как в Германии. Гитлеризм устранил *именно* тяжелое бремя сословной организации общества своим радикальным отрицанием значения какой-либо сословности и общественных различий внутри нации, но наряду с этим неимоверно возвысил и придал мистический блеск новой родовой привилегии, которая обещала наибольшие преимущественные права и перед которой блекли все прежние привилегии, а именно привилегии родиться немцем. Гитлер однажды заметил, что быть немецким дворником более достойно, чем графом другой нации, и это вряд ли была пустая фраза. Немецким дворникам было необходимо именно это поощрение, поскольку – в отличие от их английских и французских коллег – они не ощущали в полной мере свое человеческое достоинство. Нельзя преуменьшать значения того факта, что в «плавильном котле» трудовых лаге-

рей гитлеризм радикально смешал немецкие общественные классы. Здесь явно более всего проступает изъян того схематичного утверждения, согласно которому гитлеризм – это замаскированная защитная организация немецких господствующих классов: если бы я был господствующим классом, то был бы наверняка чрезвычайно благодарен такой защитной организации, при которой графини отмораживают руки-ноги на принудительных трудовых работах. Несомненно, что это та критическая точка, где можно обнаружить третью большую трещину гитлеризма. Дело в том, что для немецких дворянчиков главнейшим было не то, что было таковым для Гитлера, то есть что они *выше* английских графов, а то, чтобы быть *равными* с немецкими графами и фабрикантами. Массы простых немцев должны были ощутить на собственном опыте, что сколько они выиграли на обязательном национально-братском распитии пива с начальством, столько же и проиграли на ужесточении дисциплины и приказного права. Заводские рабочие должны были заметить, что их положение значительно не изменилось по той причине, что их стали называть древнегерманским словом *Gefolgsmann*[94], в отличие от чего капиталист, которого стали называть *Betriebsführer*, то есть маленький фюрер, немало выиграл на этом. То, что гитлеризм есть замаскированная защитная организация немецких правящих классов, не соответствует действительности, однако факт, что ввиду своих тенденций пренебрежения к массам и преклонения перед властью гитлеризм реализовал из социализма только принципы организации и дисциплины, но закономерно отменил его идеи о равенстве и освобождении общества, то есть гитлеризм никоим образом не социализм в европейском понимании слова. И все же гитлеризм уничтожил самое большое препятствие на пути социализма – престиж со-

словных (общественных и имущественных) привилегий. Глория немецкой расы была уничтожена в той исторической катастрофе, к которой гитлеризм привел немецкий народ, но вместе с ней было уничтожено и тяжелое бремя сословных привилегий, растворенных гитлеровской расовой теорией.

### *Итоги гитлеризма*

ИТАК, перед нами во всей полноте роковое крушение истеричной картины мира гитлеризма и параллельный внутреннему внешний крах. С невероятным подъемом гитлеризм выступил против трех основных тенденций развития европейского общества: базирующегося на системе самоопределения тесного международного единства, пришедшей на смену единоличной власти демократии и устраняющего сословную организацию общества социализма. Поскольку эти принципы уже однажды были применены в случае Германии, но разрозненно, противоречиво и лицемерно, он стремился построить такой мир, где эти принципы не действуют. Однако основополагающие принципы европейского развития нельзя заменить «новыми» идеями, их нельзя переиначить, изменить их суть. Ссылки на «подлинные» самоопределение, демократию, социализм, которые в мифах гитлеризма о власти и расе считались руководящими тактическими приемами, стали роковой западней: сила и успех гитлеризма были обусловлены тем, до каких пор и насколько он *на деле* представлял идеи права на самоопределение, демократию и социализм, но как только эти идеи как отработанные тактические средства он решил выбросить из своего арсенала, сразу выяснилось, что он идейно обезоружен. В гитле-



ризме сохранится только то, что в нем поистине самоопределение, демократия и социализм, то, что он впервые четко обрисовал рамки немецкой нации, наглядно продемонстрировал невыносимость единоличной власти и впервые живо дал почувствовать немцам устарелость сословных привилегий.

Нет и речи о том, что все это – *заслуги* гитлеризма, и тем более что гитлеризм был приемлемой, возможной вехой на пути демократического развития. Не может быть «заслуг» у такого режима, который наполнил сознание нации лживой романтикой, ориентировал молодежь нации на псевдоценности и вызвал в жизни значительной части мира обладающие неисчислимыми последствиями и проникнутые страхом глубокие потрясения. Безграничен ущерб, нанесенный гитлеризмом развитию Европы. Однако это не исключает, что через него осуществлялись такие глубокие и неудержимые общественные, психологические процессы, которые сильнее любой идеологии, любого девиза эпохи и любой пропаганды.

### *Заключение*

ВЫШЕ мы попытались подробно рассмотреть исходное утверждение, согласно которому глубокая политическая истерия немцев обусловлена не их ментальными, а историческими причинами. Мы остановились на вопросе повышенного воздействия двух исторических факторов, территориальных княжеств и родовой селекции, которые в новейшее время чрезвычайно усложнили решение немецкой проблемы. Рассмотрели тот неудачный исторический шаг, принятие австрийского императорского титула в 1804 г., который лишил немецкое полити-

ческое развитие эффективнейшего консолидирующего фактора, легитимного императора Габсбурга. Показали три исторических потрясения – 1806-го, 1848-го и 1918 гг., вызвавшие в политическом сознании немцев страх и чувство неопределенности, а также склонность прибегать к полурешениям и псевдорешениям. Мы показали, как Германия за недолгие двести лет существовала в условиях следовавших одна за другой пяти политических систем, зафиксировавших крайне тупиковую ситуацию, при которой не могло быть и речи о подлинном общественном и политическом равновесии. Внутреннюю лабильность немцы пытались уравновесить провозглашением абсурдного компромисса или абсурдного политического домысла святым и незыблемым. Развитие, начинающееся со Священной Римской империи и проходящее через Германский союз, вильгельмовскую Германскую империю, Веймарскую республику и завершающееся гитлеровским «третьим рейхом», шло из тупика в тупик, из ничего в ничто. Статичная анархия Священной Римской империи, как назвал ее Ферреро, реакционная недееспособность Германского союза и парализованная демократия Веймарской республики – общеизвестные факты; выше мы попытались подчеркнуть тот момент, что выступившая под маской подъема и динамизма вильгельмовская Германия и гитлеровский «третий рейх» – из той же, основывающейся на абсурдном компромиссе или абсурдном домысле, серии тупиков, каковой является немецкое политическое развитие Нового времени.

Несмотря на то, что политическая истерия немцев была вызвана историческими, а не ментальными причинами, эта серия потрясений и тупиков сегодня движется уже в таком направлении, когда мы можем говорить об определенной степени деформации немецкого

*характера.* В обеих мировых войнах тысячи и сотни тысяч немцев переживали как непосредственное впечатление ощущение своей силы и одновременно слабости, свою победу и наряду с этим неавторитетность, свое правдоискательство и ненависть к себе за несправедливость, свое совершенство и одновременно нереспектабельность, свою высокую организованность и при этом отсутствие твердости. Эти впечатления способствовали тому, что среднему немцу стали близки амбивалентные тенденции грубого культа власти и поиска морального реванша, но одновременно и ощущение наличия некоего психологического балласта, от которого им однажды нужно освободиться.

Путь дальнейшего развития не закрыт: о полном и окончательном изменении немецкого характера пока нет и речи. Первопричины немецкого политического тупика сегодня уже, собственно говоря, исчезли. Политическая атомизация, система территориальных княжеств, гипераристократическая общественная система ушли в прошлое. Но сокрушены или полностью парализованы и те внутренние факторы, которые могли бы способствовать продвижению вперед немецкого политического развития. Политическая регенерация немецкой нации сегодня зависит от четкого видения, не отягощенного страхом спокойствия и гуманной мудрости окружающего немцев мира. Немецкая проблема не есть неизлечимая органическая болезнь, но тяжелый общественный столбняк, излечение от которого – самая большая европейская задача будущего.

О бедствиях и убожестве  
малых восточноевропейских  
государств



## 1. ЕВРОПЕЙСКИЕ НАЦИИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО НАЦИОНАЛИЗМА

Для Европы как политического сообщества образование наций стало одним из наиболее значительных процессов, в рамках которого особое значение приобрел процесс формирования *современных наций*. Суть последнего состоит в том, что в уже существующих или вновь образующихся национальных рамках возникают новые, обладающие огромной силой массовые движения, а национальные чувства превращаются в новые, обладающие огромной силой массовые эмоции. Неправомерно утверждение, что нация и национализм родились с Французской революцией и что вообще процесс образования любой нации связан с буржуазной революцией. В ходе буржуазных революций политические процессы национального характера лишь приобретают форму *массовых движений*, а национальные эмоции превращаются в *массовые эмоции*. У одних наций этот процесс проходил или проходит сравнительно гладко, у других – взрывообразно, у третьих сопряжен с серией подлинных катастроф. В ходе этого процесса одни нации переживали материальный и моральный подъем, другие – материальный и моральный упадок, третьих же он целиком и полностью заводил в тупик. Ниже мы намерены более подробно рассмотреть процесс образования современных наций. <...>

*Образование европейских наций*

ПРОЦЕСС образования европейских наций начался в V–VI вв. новой эры в управлявшихся сильными династиями германских королевствах, которые разделили между собой наследие Римской империи и поначалу предприняли ряд завоеваний, полностью лишенных какой-либо стратегии; позже, после некоторого упорядочивания территорий эти королевства обосновались в бывших крупных регионах Римской империи: франки – в Галлии, западные готы – в Испании, англосаксы – в Британии, лангобарды – в Италии. После распада объединившей Запад империи Каролингов наряду со вновь образовавшимися королевствами – итальянским, западных франков, затем французским – в IX в. возникло и германское королевство. В скором времени число этих государств увеличивается за счет трех скандинавских государств [1] на севере и трех католических государств в Восточной Европе: Польши [2], Венгрии [3] и Чехии [4]. С этим-то ограниченным числом наций Западная Европа и вступает в зенит Средневековья. Более расплывчаты национальные рамки, складывающиеся на территориях восточного христианства. В IX–X вв. Русь объединяется под властью династии Рюриковичей. Византийская империя становится преемницей греко-римской традиции, а на Балканах по образцу западных королевств возникают королевства молодых народов: в VIII–IX вв. болгар [5], сербов [6] и хорватов [7], а несколько позже – придунайские румынские княжества [8] и Великое княжество Литовское [9].

В 1414 г. на Констанцском вселенском соборе пять ведущих наций Западной Европы – итальянская, французская, английская, немецкая и испанская – выступают как уже сформировавшиеся по характеру политические единые общности, воспринимаемые в качестве таковых и

окружающим миром. Тогда-то и возникает различие в характере западноевропейских и центральноевропейских национальных рамок: *французское, английское и испанское* королевства становятся все более конкретной, осязаемой реальностью, а *немецкое и итальянское* – чем-то все более бесплотным, символичным. В тот же период в Европе образуются еще несколько новых малых наций. В регионе между Германией и Францией формируются *голландская и бельгийская* нации [10], чему способствуют усвоение политического опыта, связанного с Бургундским герцогством (кстати, тонко проанализированного в трудах Й.Хейзинги), а также процессы объединения и размежевания, инспирированные нидерландской освободительной борьбой. К этому времени завершается и начавшееся ранее окончательное отделение Швейцарии [11] от германской империи. В ходе политического распада Италии признаки формирования отдельной нации наиболее четко проявляются в Венецианской республике и Сицилийском королевстве. Тогда же завершается объединение Пиренейского полуострова, а затем разделение местного населения на *испанскую и португальскую* нации [12], на что, по всей вероятности, определенное влияние оказали заморские завоевания. В этот же период появляется первый «народный» националист Жанна д'Арк как выразительница патриотических чувств народных масс и зарождаются все те идеи, которые и поныне служат основой национального чувства: сознание принадлежности к нации, благо которой для данной общности превыше всего; осознание и восприятие как ценности национальных черт; неприятие чужеземного господства; осмысление как ценности национального языка. Однако в то время общность языка еще не выступает в качестве фактора, формирующего нацию. По меткому замечанию Ортеги-и-Гассета, в Европе новейшего



времени государства были одноязычными не потому, что одноязычные народы совместными усилиями основывали государства, а потому, что уже существовавшие государства в силу политической, культурной или демографической гегемонии того или иного народа *стали* одноязычными. Действительно, и сегодня многие языковые границы в Европе – франко-валлонская, франко-каталонская, датско-норвежская, шведско-норвежская и т. д. – продолжают хранить память о давно исчезнувших политических границах. <...>

*Современное государство  
и революционный национализм*

В XV–XVII вв. в Западной Европе постепенно складывается *современный тип государства*. Некогда символическая верховная власть все сильнее распространяет свое влияние на политическую жизнь нации, а в формировании национального сознания во все большей мере принимают участие образованные слои населения, приводящие в действие государственный аппарат, и наряду с ними бюргерство. Стольный град княжества постепенно становится столицей всей страны, и страна превращается в характерное единство уже не только в политическом и юридическом, но и в административном и экономическом отношениях. В этой ситуации и происходит Французская революция, одним из важнейших последствий которой стала интенсификация и демократизация коллективных эмоций, появление патриотизма в его современном понимании. В этом – смысл поверхностного, впрочем, утверждения, что европейский национализм родился вместе с Французской революцией. Как мы уже упоминали, нация как *фактическая*

реальность и связываемые с ней эмоции появились не в 1789 г., а за века и даже почти за тысячу лет до этого. Но до 1789 г. сознательным носителем этой формы общности было *дворянство*. Во Французской революции это непрерывно длившееся с конца Средневековья вхождение образованных слоев и бюргерства, то есть «третьего сословия» в национальные рамки было воспринято как победное завоевание, и именно связанные с этим впечатлением переживания породили современное национальное чувство. Как бы ни провозглашала революционная демократия *свободу* человека, достичь свободы она может лишь только в *данной* общности, и осознание этого ведет не к ослаблению, а к усилению и обострению испытываемого к этой общности чувства. Огромный накал и напряженность демократическому чувству сообщества придает то, что оно соединяет в себе два ощущения: «третье сословие», народ, каждый человек завладевают страной королей и дворян вместе с ее историческим и политическим престижем и кичливым самосознанием и наряду с этим переносят на нее все те добрые, непосредственные чувства и симпатии, которые до сих пор они испытывали лишь в отношении своего узкого окружения. В этом слиянии гражданские чувства оказываются сильнее и, исходя из сути демократии, они и должны были быть сильнее: современная демократия – это в конечном итоге победа творческой, созидательной формы жизни над аристократической, нацеленной на реализацию предоставляемых властной позицией возможностей. В Западной и Северной Европе, где не было болезненной деформация политического сознания, подобная связь между демократией и национализмом и по сей день являет собой живую реальность.

## 2. НАРУШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО НАЦИОНАЛИЗМА

КОГДА в конце XVIII в. на поверхность бурно вырывается демократический национализм современного типа, в Западной и Северной Европе не возникает ни малейшего сомнения в том, что единственными рамками, страной, которыми народ желает овладеть, являются – да и не могут не являться – уже существующие государственные рамки: Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Бельгия, Голландия и т. д. Однако совсем иначе складывается ситуация в Восточной и Центральной Европе. Политическая формация Священной Римской империи нарушила политическое развитие двух стран, Италии и Германии, а османские завоевания в Восточной Европе; разрушив уже существовавшие национальные рамки, не создали на их руинах окончательных и устойчивых новых форм. Оба эти фактора сыграли свою роль в возникновении такого государственного образования, которое роковым образом нарушило процесс формирования государств и наций в Восточной и Центральной Европе. Это государственное образование – империя Габсбургов.

*Роковое государственное образование –  
империя Габсбургов*

В МОМЕНТ своего возникновения империя Габсбургов была точно такой же случайной «наднациональной» династической государственной унией, как, скажем, арагонско-сицилийская [13], англо-ганноверская [14] и т. п. В момент своего образования эта уния была чем угодно, но только

не «дунайским государством», как это принято считать в наше время. Одна из ее составных частей, *Германская империя*, оттесненная Реформацией на юг Германии, продолжала сохранять свои интересы в Италии и Западной Европе; *Чешское королевство* лишь в самой незначительной степени было еунайским государством, а постоянно уменьшавшееся в результате османских завоеваний *Венгерское королевство* служило для Германской империи, по сути, лишь военным плацдармом в восточном направлении. Внутри этой унии долго не возникало никаких намерений к подлинному объединению. Несомненно, что до середины XVIII в. политический вес Габсбургов определялся в Европе тем, что они представляли *германскую королевскую власть*, что сочеталось с титулом германо-римского императора. Габсбурги были «императорами», повелителями большей части Германии и Италии и лишь во вторую очередь чешскими и венгерскими королями. Однако в ходе религиозных войн территории, находившиеся под властью германского императора, все более сокращаются, в то же время позиции германского императора в Италии усиливаются и, кроме того, ему удалось расширить и свои придунайские владения, возвратив захваченные турками территории Венгерского королевства. На протяжении XVIII столетия позиции Габсбургов в Германии еще более ослабляются, а в войнах за австрийское наследство [15] вдруг во всей гротескности выясняется, что у страны, доставшейся Марии Терезии, не имевшей императорского титула, даже *нет названия* и что эта страна представляет собой случайное соединение австрийской, венгерской, чешской, ломбардской, бельгийской, хорватской наций, обладавших различными правами, языками, сознанием, а также системой управления.

И только со второй половины XVIII в. начинают предприниматься серьезные попытки придать этому лоскут-

ному придунайскому государству единое «австрийское» сознание. Но прежде, чем эти попытки дали какие-либо результаты, в этом регионе, как и во многих других, под влиянием Французской революции с непреодолимой силой вырвался на поверхность современный демократический национализм, что привело к созданию совершенно новой ситуации.

### *Возрождение наций*

ПЕРВЫМ вопросом, который должны были решить возродившиеся в этом регионе современные демократические национальные движения, именем народа стремившиеся овладеть национальными рамками в целом, был вопрос о том, на *какие именно* рамки они претендуют. Современный демократический национализм был неспособен, да и не желал – с полным на то основанием – ориентироваться в своих устремлениях на существовавшие в этом регионе государственные образования (империя Габсбургов, малые немецкие и итальянские государства, Османская империя), а обратился прежде всего к тем рамкам национальной организации (Германская империя, единая Италия, Польское, Венгерское, Чешское королевства и т. д.), которые продолжали существовать в отчасти еще сохранившихся институтах, а отчасти в символах и памяти народа и которые, даже деградировав до анархии и провинциализма, являли собой более сильные политические стимулы, чем сравнительно недавно возникшие и не имевшие прочных корней государственные образования. Османская империя не могла создать новую наднациональную структуру балканских народов, поскольку ее организация носила чисто военный и завоевательный характер, а с другой стороны, ее

культура была чужда балканским народам. Империя Габсбургов, как мы уже отмечали, была случайным союзом; она сумела ослабить оказавшиеся в сфере ее влияния нации, однако ассимилировать эти национальные общности она была не в состоянии. Сложившееся на рубеже XVIII—XIX вв. сознание приверженности Австрии несло в себе немало добрых, теплых чувств и симпатий, однако более глубокое ощущение принадлежности к общности имело свои корни только в наследных германских провинциях, но и там это было не современное европейское национальное чувство, а скорее провинциальное, характерное и для других малых немецких государств. На основе такого австрийского локального патриотизма вряд ли могла бы родиться новая нация, поскольку славой и гордостью немецкоязычных австрийских провинций было как раз то, что на протяжении пяти с половиной столетий именно отсюда происходили короли и императоры *Германской империи*, а сами эти провинции играли роль «отечества» германских правящих династий; буючи своего рода немецкой «Иль-де-Франс» [16]. Население других малых немецких государств ввиду отсутствия продолжительного политического опыта и серьезного престижа их государств еще в большей степени было неспособно сформироваться в нации, подобно тому, как это произошло в Голландии, Бельгии или Швейцарии. Малые итальянские государства к XIX в. достигли такого предела политического бессилия и полного опустошения, что не могли противопоставить идее итальянского национального единения никакого сепаратистского национального сознания. Таким образом, по всем направлениям верх одержали прежние тенденции: возобладало не австрийское, баварское, сардинское или неаполитанское национальное чувство, а немецкое, итальянское, польское, венгерское или чешское.

*Проблемы национального возрождения  
и народная идея*

ОДНАКО для всех новых национальных движений эта победа оказалась пирровой. Основные усилия они должны были направлять на ликвидацию существующих рамок и возрождение своих собственных государств, однако вскоре им пришлось убедиться в том, что работу по созданию основ современной государственности и национальной организации, которая велась во всей Европе в XVII–XVIII вв., для них никто не проделал заранее. У них не было ни своих столиц в современном значении этого слова, ни полностью сложившегося государственного аппарата, ни прочной экономической организации, ни общей политической культуры, ни умудренной опытом национальной элиты. Всем этим обладали империя Габсбургов и другие структурированные государственные образования, однако в их рамках могли зародиться только анемичные роялистские чувства или немощный локальный патриотизм. Таким образом, новым национальным движениям предстояло доказать этим лишенным внутреннего содержания, но располагающим властными структурами и политическими средствами образованиям жизнеспособность своих общностей. Для этого они должны были обратиться к «народным» факторам, залегающим в более глубоких пластах, чем поверхностное соотношение сил. Так, *narod* (peuple), который в Западной Европе был носителем динамики общественного подъема, в Центральной и Восточной Европе становится решающим фактором одновременно и в качестве носителя отличительных национальных черт (*Volk*), который в большей мере, чем разнородные по составу правящие слои, отвечает «истинным» критериям принадлежности к нации (язык,

народные обычаи и т. д.). Это и есть корень того не поддающегося точному переводу различия в эмоциональной окраске одинаковых по значению слов «популярный» и «народный». Так возник тот фактор, который окончательно расшатал и без того пришедший в движение территориальный статус этой части Европы, а именно: языковой национализм.

### *Языковой национализм*

Языковой национализм представляет собой специфическое для Центральной и Восточной Европы явление. Под воздействием националистических теорий, которые возникли прежде всего в Центральной и Восточной Европе, ныне в Западной Европе широкое распространение получило мнение, что нация возникает тогда, когда говорящие на одном языке люди объединяются и создают государство. Однако такого в мире еще никогда не бывало. Современная идея нации – это преимущественно политическое понятие; отправной момент здесь – те государственные рамки, которыми народ, побуждаемый силой демократизированных массовых национальных чувств, стремится овладеть. Но если в начале XIX в. эти тенденции в значительной мере соответствовали исторически сложившимся государственным рамкам и ориентировались лишь на ликвидацию стоявших за ними и не имевших глубоких корней государственных образований (империя Габсбургов, Османская империя и т. д.), то с появлением языкового национализма все нации этого региона начали оценивать свое положение и с позиции языкового соотношения сил: те нации, которые по другую сторону исторической границы имели родственников по языку или которые уже утратили свои историчес-



кие границы, выдвинули программу воссоединения по принципу языкового родства, а те, на исторической территории которых жило иноязычное население, выдвинули программу создания одноязычного государства. Суть стремлений состояла в одном: преодолеть нестабильность политического существования с помощью этнических факторов.

Но это не означает, что нации в этом регионе возникли под воздействием языковых факторов или что любой диалект может стать основой возникновения нации. Нации этого региона, как и нации других регионов мира, возникли под воздействием политических факторов. Большинство живущих здесь наций – поляки, венгры, чехи, греки, румыны, болгары, сербы, хорваты, литовцы – относятся к числу тех, которые на протяжении многих веков обладали своей государственной или полугосударственной организацией и своеобразным политическим сознанием. Даже те несколько наций (словаки, латыши, эстонцы), которые, как кажется на первый взгляд, образовались на чисто языковой основе, также возникли не путем «объединения» говорящих на одном языке, а стали нациями в результате исторических процессов и исторического опыта. Так, например, словацкое национальное сознание сложилось под воздействием целого ряда исторических факторов, главным из которых являлось политическое и культурное противостояние венгерскому языковому национализму, а продолжением стал выход из состава венгерского государства и присоединение к чехословацкому государству, затем образование самостоятельной Словакии и последовавшее за этим возрождение Чехословакии. Стоит отметить, что вхождение в состав то одного, то другого государственного сообщества сыграло определенную роль в воз-

никновении или возрождении некоторых малых наций в Западной Европе, например финской и норвежской. Ряд исторических явлений такого рода способен привести к формированию нации. Таким образом, часто выдвигаемый сторонниками возврата к историческим общностям в Центральной и Восточной Европе аргумент, что язык сам по себе не является образующим нацию фактором, а этим фактором может быть только история, справедлив. Но из этого следует совсем не тот вывод, который они делают, так как, с другой стороны, справедливо и то, что в специфических условиях Центральной и Восточной Европы общность языка стала историческим и политическим фактором, прежде всего фактором территориального размежевания уже существовавших национальных рамок, а в некоторых случаях – фактором формирования новых наций.

### *Зыбкость границ*

УСИЛЕНИЕ языкового национализма привело к крайней неустойчивости межнациональных границ в Центральной и Восточной Европе. Если в Западной и Северной Европе исторический статус-кво сохранил свое значение как фактор разграничения наций, то в Центральной и Восточной Европе границы между вновь образующимися нациями были либо полностью утрачены в ходе перипетий истории (например, на Балканах), а если и сохранились до новейшего времени (как, например, в случае Польши, Венгрии или Чехии), их значение как фактора, сплачивающего нацию, значительно уменьшилось. В этой ситуации наибольшая проблема заключалась даже не в чрезвы-

чайной зыбкости языковых границ и их несовпадении с линией географического и экономического раздела, а в том, что историческая память, сохранявшаяся у подавляющего большинства наций этого региона, распространялась на другую, как правило гораздо большую территорию, чем та, на которой жило население, говорящее на одном языке. И здесь, как и повсюду в мире, чувство приверженности нации связывало членов определенной общности не только между собой, но и соединяло эту общность с определенными территориальными образованиями, включавшими в себя те или иные местности, древние города, исторические памятники. Это чувство приобретало особую силу в том случае, если на этих территориях проживало население, оказавшееся в меньшинстве или попавшее в территориальную изоляцию, но говорящее на данном национальном языке. Не менее категоричным требованием народных движений, выступавших за слом исторических рамок, было стремление овладеть районами с крупными городами. Таким образом, очень скоро возникла ситуация, когда возрождавшиеся нации данного региона вступали в ожесточенные споры о границах с большинством соседних стран, что приводило к еще большей нестабильности их национального бытия и территориального статуса. Это и стало основным источником политической истерии, охватившей в то время Центральную и Восточную Европу.

### 3. КРАХ ТРЕХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ИМЕЕТ смысл особо рассмотреть обстоятельства, связанные с крахом трех исторических государств Восточной Европы: Польши, Венгрии и Чехии. Это стоит сделать потому, что, с одной стороны, их крах сыграл гораздо более важную роль в крушении всей прежней системы европейских государств, чем кажется на первый взгляд, а с другой стороны, потому, что характерная для этих стран неуравновешенность политического сознания весьма наглядно свидетельствует о причинах и сути проблем народов Центральной и Восточной Европы.

Было бы неправомерным считать распад Габсбургской империи одной из важнейших причин хаотического положения, возникшего в Восточной и Юго-Восточной Европе. Причиной этого хаоса было скорее само *существование* монархии. Не стоит слишком подробно останавливаться на ее распаде, так как этот случайный, гибридный, лишенный внутренних спланированных сил конгломерат государств не мог стать фактором стабильности в Восточной и Центральной Европе даже в том случае, если бы его развитие сложилось более удачно. Но были в этом регионе три исторических государства с гораздо более глубокими корнями – Польша, Венгрия и Чехия, которые при Габсбургах находились как бы в тени, а после распада монархии снова появились на свет. Они смогли показать, что, в отличие от государства Габсбургов, они – нации реально существующие, однако вернуть себе роль, которую они играли до образования монархии, эти три государства оказались не в состоянии. Именно внутренняя нестабильность этих трех государств послужила главной причиной крушения европейской системы государств: Венгрия стала той точкой, где начи-

ная с 1918 г. возник провал в созданной Францией линии политической обороны против Германии; Чехословакия — тем пунктом, где эта оборонительная система рухнула в 1938 г., еще до того момента, когда ею смогли воспользоваться, а Польша стала той «архимедовой точкой опоры», использовав которую, немецкий экспансионизм смог на короткое время подорвать солидарность противостоящих ему Западу и Востоку, в результате чего на мир обрушилась катастрофа Второй мировой войны.

Злоключения этих трех исторических государств берут свое начало в конце XVIII в., и причиной их в конечном итоге были те трудности, которые препятствовали образованию и стабилизации наций в этом регионе.

### *Проблема Польши*

ПРОБЛЕМА Польши заключалась в том, что историческое Польское королевство включало в себя чисто *польскую часть* с однородным польским населением, а также присоединенную к нему посредством личной унии [17] *литовскую часть*, правящий слой которой почти целиком полонизировался, тогда как население было частично *литовским*, но большей частью *русским*, православным. В Новое время Россия, вступившая в полосу подъема, становится все более притягательной для этих слоев населения. Германия, со своей стороны, выступает с экспансионистскими притязаниями на входившую в состав Польши западную Пруссию, которые как в этническом, так и в историческом плане были гораздо менее обоснованными, чем притязания России. В то время, когда воспользовавшись ситуацией анархии в Польше, Россия и Германия начинают проявлять свои притязания на польские территории, в качестве третьего претендента на

добычу выступает государство-гибрид Австрия, которая не могла иметь никаких серьезных оснований для притязаний на польскую территорию. После первого раздела Польши [18] в стране возникло мощное демократическое движение, и польские патриоты надеялись, что оно приведет к возрождению их страны. Действительно, это движение привело к серьезным социальным и политическим реформам и достигло своей высшей точки в Конституции 1791 г. [19], вызвавшей отклик во всей Европе. Между тем Французская революция сместила акценты в европейской политике. Таким образом, анархия в Польше, определенное влияние общеевропейского политического процесса, а также вмешательство Австрии привели к тому, что акция, начатая с целью отторжения части польских территорий, в итоге привела к полному разделу Польши.

### *Полный раздел Польши*

ПО ТРЕТЬЕМУ разделу Польши к России отошли все русско-литовские территории, а чисто польские земли поделили между собой Пруссия и Австрия. Создававшаяся ситуация диктовала Польше историческую задачу: *привлечь на свою сторону Россию* — которая, хотя и присоединила к себе часть территории Польши, не отторгла исконно польские земли, — чтобы, имея за спиной такого союзника, попытаться возродить свою национальную жизнь в противостоянии двум немецким государствам. Однако поляки, находясь под впечатлением раздела своей страны, воспринятого ими как жестокое насилие и вопиющая несправедливость, не сумели осознать разницы между тем, что в этом разделе было *исторической закономерностью*, а что голым насилием. Поэтому они ни на минуту не

расставались со своими грезами об исторической великой Польше и, в частности, поэтому встали на сторону Наполеона. Иллюзорность этой мечты стала очевидной в 1812 г., когда вступившего в пределы Великого княжества Литовского Наполеона не встретило национальное восстание поляков, которое ему было обещано его польскими сторонниками. Однако все эти события привели к тому, что у России возникли опасения, будто Польша, вернее, оставшаяся ее часть [20] по-прежнему представляет для нее угрозу. Результатом этого стал произошедший в 1815 г. четвертый раздел Польши [21], который, по сравнению с предыдущими, повлек за собой более тяжелые последствия, поскольку теперь к России отошла значительная, более того, подавляющая часть исконных польских земель, и все три великие державы, принимавшие участие в разделе, стали в равной мере заинтересованы в том, чтобы польское государство никогда не возродилось даже на *исконных польских территориях*. Так в Европе уже не оказалось великой державы, в интересах, а также в *возможностях* которой было бы возрождение Польши. Понадобилось целое столетие, пока крушение царской России и центральных держав вновь сделало возможным возрождение Польши.

### *Не усвоенный урок истории*

ИСТОРИЯ вновь подсказала Польше возможное решение: постараться развивать свою национальную жизнь, опираясь на исконно польские территории, и отказаться от тех обширных восточных районов, где хотя и оставались крупные владения польских помещиков, но не было значительных масс польского населения. С учетом именно этой ситуации возникла так называемая «линия

Керзона» [22]. Но Польша, воспользовавшись тяжелым положением Советской России, в 1920 г. не смогла удержаться от искушения перейти эту линию. По Рижскому мирному договору [23] Польша присоединила территории с русским и украинским меньшинствами численностью более 6 миллионов, что стало серьезным фактором, предопределившим отход Польши от демократии, ибо Польша не была уверена в лояльности населения этих территорий, а пережитые польской нацией в прошлом исторические катастрофы не позволяли рассчитывать на то, что с помощью великодушных демократических уступок ей удастся удержать эти территории.

По Рижскому мирному договору ей удалось в значительной мере восстановить свои исторические границы, и, упоенная этим, Польша упустила из виду, что эту акцию она предприняла в самый критический момент в жизни молодого советского государства, которое в результате этого стало расценивать отошедшие к Польше территории в качестве *символического плацдарма* для враждебных акций, угрожавших новой социалистической империи со стороны капиталистического мира. И когда двадцать лет спустя, в 1939 г. немецкое нападение вновь поставило под угрозу существование Польши, она в третий раз не выдержала тот же исторический экзамен, суть которого – установление отношений доверия с Россией.

После окончания Второй мировой войны Польша вновь стала ощущать, что «Европа перед ней в долгу». И поэтому, когда с советской стороны было выдвинуто требование провести границу по «линии Керзона», Польша хотя и согласилась с этим требованием, но не восприняла его как единственно возможное решение, с которым следовало смириться, учитывая уроки повторяющихся на протяжении 150 лет катастроф, а расценила его как *тяжкое оскорбление*, за которое ей полагается крупная компен-



сация. Это произошло, так как распорядившись судьбой Европы великие державы по различным причинам действительно чувствовали себя в долгу перед Польшей. И она получила компенсацию в виде Силезии и половины Померании, причем ей была предоставлена возможность полного выселения с этих территорий немецкого населения [24]. Как отзовется это решение в отдаленной перспективе, сегодня нам знать не дано: вполне возможно, что данный вопрос приведет Европу к такому тяжкому *кризису совести*, что однажды Польше придется осознать, что было бы лучше удовлетвориться меньшей компенсацией.

### *Проблема исторической Венгрии*

ИСХОДНАЯ проблема Венгрии подобна польской. Здесь тоже существовало историческое государство, однако население его не было полностью венгероязычным. На территории этого государства проживали несколько национальностей, которые подразделялись на две группы. Национальности *северных территорий* разделяли судьбу венгерского исторического государства на всем протяжении его существования, и это в значительной мере обосновывало вероятность дальнейшего их участия в сохранении и укреплении многоязычного, но обладающего единым историческим сознанием венгерского государства. Что касается национальностей *южной части* исторической Венгрии, то за долгий период турецкого господства венгерское государство во многом потеряло для них свое прежнее значение, так что защиты и освобождения они ожидали – и получили – уже не от венгерского государства, а от империи Габсбургов, в состав которой оно входило. И когда после изгнания турок эти национально-

сти по историческому праву вновь оказались в составе венгерского государства, возникшие в результате этого более или менее тесные связи стали для них уже чисто формальными. Поэтому когда на Балканах образовались государства родственных им по языку народов, то они начали испытывать к ним сильное тяготение.

Сторонники венгерского национально-демократического движения надеялись, что демократия и свобода одновременно принесут с собой и национальное единство в рамках исторической Венгрии. Однако эти надежды оказались иллюзией, и когда в 1848 г. венгерская нация в своем стремлении к независимости с огромным энтузиазмом поднялась на борьбу против Габсбургов, она натолкнулась на сопротивление иноязычных национальных меньшинств собственной страны, прежде всего хорватов, сербов и румын, стремления которых к отделению она признавать не желала. Таким образом, отстаивавшей свою свободу Венгрии противостояли не только реакционные европейские державы, но одновременно и ее собственные, не удовлетворенные своим положением национальные меньшинства, результатом чего стала катастрофа 1849 г.

### *Роковой опыт катастрофы 1849 года*

В ВЕНГЕРСКОМ политическом сознании отпечатались два урока этой катастрофы: первый – Европа оставила Венгрию на произвол судьбы в ее борьбе за независимость; второй – иноязычные национальные меньшинства намерены воспользоваться демократическими свободами для своего отделения. Первый вывод привел к подписанию австро-венгерского Соглашения 1867 г., суть которого заключалась в отказе Венгрии от полной независимости ра-

ди сохранения своей исторической территории. А второй послужил исходной точкой для процесса развития; который отдалил Венгрию от демократических идеалов: под влиянием катастрофы 1848–1849 гг. у венгров усилились опасения, что полная демократизация приведет к разделению территорий с национальными меньшинствами. История подсказывала приверженцам целостной Венгрии, что на севере нужно попытаться сохранить историческое государство, а в отношении юга принять, наконец, к сведению, что здесь им противостоят народы, уже давно ставшие им чужими. Но вместо этого венгры приступили к реализации довольно недалекновидной политики, пытаясь сохранить историческую Венгрию путем мелочного ограничения права национальных меньшинств на использования родного языка в административной сфере. В результате не только национальные меньшинства на юге страны, уже давно обладавшие самостоятельным национальным сознанием, но и жившие на северных территориях словаки и русины окончательно отвернулись от идеи исторической Венгрии.

### «Комплекс Трианона»

В ЭТИХ условиях Венгрию постигла катастрофа 1918 г., когда очень быстро выяснилось, что ликвидация исторической Венгрии неминуема. Однако эта ликвидация была проведена крайне непродуманно: от Венгрии были отделены *не только иноязычные территории*, но и весьма обширные территории с *коренным венгерским населением*. Результатом этого был, с одной стороны, ряд потрясших Венгрию внутривнутриполитических кризисов, что в конце концов привело к власти крайне правую реакцию, а с другой стороны, то, что венгерское политическое мышление

расценило раздел Венгрии как жестокое насилие, как лицемерный шаг стран-победительниц и оказалось неспособным ощутить *различие* межу отделением созревших для этого иноязычных территорий и немотивированным и несправедливым отторжением земель с венгерским населением. В результате оно так и не смогло освободиться от иллюзорной мечты о великой исторической Венгрии, и в душевном настрое венгров все более определяющим стало сознание того, что Европа совершила по отношению к ним *вопиющую несправедливость*. На этом основании после 1938 г. Венгрия сочла себя свободной от каких-либо обязательств по отношению к Европе, и когда ей представилась возможность изменить свой территориальный статус, не пожелала ограничиться лишь венгерскими территориями, а, насколько позволяли возможности, попыталась осуществить свою мечту о великой исторической Венгрии. Этот путь и вел напрямик к катастрофе 1944 г. [25], когда венграм пришлось уже окончательно расстаться с иллюзией о великой исторической Венгрии. Более того: ныне Венгрии придется принять к сведению такой, обещающий стать окончательным, мир, который не обеспечивает *даже ее этнических границ*. Сумеет ли она мобилизовать свои внутренние ресурсы, чтобы вынести это положение, – этот вопрос станет решающим на пути ее будущего демократического развития.

### *Историческая Чехия и Чехословакия*

ПРОБЛЕМЫ третьего исторического государства Восточной Европы – исторической Чехии – также порождены несовпадением языковых и исторических границ. К середине периода Средневековья на территории исторической Чехии, единой и компактной в географическом

отношении, две трети населения составляли чехи, одну треть – немцы, жившие преимущественно вдоль ее границ. Немецкое население обладало своим *немецкобогемским* сознанием, а чешское население – своим *чешскобогемским* сознанием, то есть и те, и другие в равной мере считали эту страну своей. Временами, как в эпоху Гуситских войн, противоречия между этими двумя народами крайне обострялись, в другие периоды, наоборот, смягчались. Немцы всегда ориентировались скорее на Германскую империю, а чехи проводили скорее восточноевропейскую политику, однако все это теряло свою остроту на фоне характерного для Средневековья столкновения бесчисленных мелких интересов. После прихода к власти Габсбургов немецкая ориентация Чехии усилилась, а в ходе Тридцатилетней войны государственная обособленность Чехии полностью утратила свою конкретность. Но при этом сохранялись рамки исторического чешского государства, а также связанное с ним самосознание – как у чехов, так и у немцев. На рубеже XVIII–XIX вв. подъем чешского и немецкого самосознания привел к возникновению массовых движений, между которыми возникло противоборство, но при этом и то, и другое оставались приверженными идее исторической Чехии. По мере обострения борьбы за использование родного языка обе стороны постепенно преодолели рамки этой идеи: чехи нашли себе надежную опору в солидарности славянских народов, а немцы – в идее великой Германии. В духе славянской идеи политические и культурные интересы чехов все сильнее обращались к живущим на севере исторической Венгрии словакам, которые испытывали все большее отчуждение от Венгрии и ориентировались на чехов. Во время Первой мировой войны создаются чехословацкие легионы [26], а в конце войны возникает самостоятельное чехословацкое государство [27].

Противоречия в формировании  
чехословацкого государства

В РЕЗУЛЬТАТЕ крушения Германии в Первой мировой войне Чехословакии удалось сохранить в целости территорию исторической Чехии со смешанным населением, а на востоке – присоединить к себе территории исторической Венгрии со словацким населением и – под предлогом выравнивания границ – значительную часть исконно венгерских земель. Принципиальная основа создания нового государства была противоречивой: чешские земли связывала с новым государством историческая и этническая преемственность, немецкие – историческая, но не этническая, словацкие – этническая, но не историческая близость, а венгерские территории вообще не были связаны с чехословацким государством ни историческими, ни этническими узами.

В этой ситуации сторонники идеи чехословацкой нации стремились заложить в основу существования чехословацкого государства две установки: первая – демократия, вторая – принцип незыблемости территориального урегулирования на основе Версальского договора 1919 г. Ориентация нового чехословацкого государства на демократическое развитие была более интенсивной по сравнению с его восточноевропейскими соседями не только потому, что чешское общество достигло гораздо более высокого уровня буржуазного развития, индустриализации страны, чем поляки и венгры, но и потому, что оно было более оптимистичным. В Польше серия исторических катастроф началась в XVIII в., в Венгрии – в XIX в., что уже тогда поколебало их оптимизм в отношении демократии. В отличие от них чехи пережили XIX в. в тени Габсбургской империи, и хотя это время прошло в обстановке ожесточенной политической

борьбы, чехи не утратили своего политического оптимизма, который помог им в создании демократического политического устройства в период 1918–1938 гг. и благодаря которому их страна, окруженная разного рода фашистскими и абсолютистскими режимами, стала настоящим оазисом демократии. Чехи имеют все основания утверждать, что судьбу немцев или венгров в чехословацком государстве никак нельзя назвать невыносимой.

Однако поскольку при образовании нового государства акцентировался этнический принцип – и не только в его названии, но и в его структуре, – то для немецкого населения исторических земель новая государственность становилась все более чуждой, не говоря уже о венграх, которые очутились в составе чехословацкого государства в результате своего рода «случайности». Положение их было вполне сносным, однако нелепым был сам факт их пребывания в составе страны чехов и словаков, обретших друг друга на основе славянского братства.

Второй идейный базис, на котором зиждились существование и легитимность чехословацкого государства, – незыблемость территориальных границ, установленных по Версальскому мирному договору. И поскольку чехи осознавали, что демократия не оградит их государство от влияния центробежных сил, они отстаивали эту идею с еще большим упорством, чем даже французы, превратив ее поистине в непреложную догму. Жесткость этой позиции также сыграла свою роль в том, что политическое развитие Европы двинулось по пути к катастрофе.

### Катастрофа 1938–1939 годов

В 1938 г., когда Гитлер оккупировал заселенные немцами территории Чехии, сразу же обнаружилось, что не только немецкое население Чехословакии, но и венгерское меньшинство, более того, значительная часть словаков не испытывают солидарности с чехословацким государством. Обиды этих групп населения были несерьезными и преувеличенными, но отчуждение тем не менее было налицо. Явные признаки отсутствия солидарности сыграли свою роль и в том, что западные державы согласились на раздел исторической Чехии на основе этнического принципа. Однако Мюнхенский договор означал не просто раздел страны, а ее полное подчинение гитлеровской Германии; через полгода после этих событий последовала оккупация всей Чехии. Таким образом, Чехословакию постигла та же судьба, что Польшу и Венгрию: имевший свою длительную предысторию исторический процесс разрешился в краткий исторический момент под воздействием грубейшего внешнего вмешательства. И это помешало чехам увидеть за грубым насилием то, что было лишь звеном в давно назревавшем процессе, шедшем в русле развития Восточной Европы. Чехи лишь с горечью ощущали – и с полным на то основанием, – что *Европа бросила их на произвол судьбы*, а национальные меньшинства нанесли им удар в спину и что по этой причине Европа *должна* сделать все для восстановления их свободного государства.

### Облик возрожденной Чехословакии

С ОКОНЧАНИЕМ Второй мировой войны действительно возникла возможность вернуть этот долг. Однако политический облик чехословацкого государства, возрожденно-



го после постигшей его катастрофы, теперь уже омрачала та же неизгладимая *память о катастрофах*, которая была свойственна польской и венгерской нациям. Чехословакия, как Польша и Венгрия, уже не надеется, что демократия поможет ей сплотить многоязычное государство в единое целое. Но если раньше антидемократические последствия разочарований такого рода проявлялись в том, что данная страна начинала проводить политику *мелочного притеснения* своих национальных меньшинств в использовании родного языка и их деэтнификации, то Чехословакия на этот раз превзошла все каноны такой политики, выдвинув программу выселения всех неславянских национальных меньшинств [28]. Если это и безумие, то в своем роде последовательное: чехи желают *демократии для себя*, желают обеспечить своей стране покой от национальных меньшинств, но при этом не хотят поступиться ни пядью своей территории, то есть желают иметь *все сразу*. Однако за этими притязаниями на все сразу стоит не сознание собственной силы, а страх, порожденный памятью о пережитой катастрофе. <...>

### *Общие черты в судьбах трех исторических государств*

ПОСЛЕ всего сказанного нетрудно установить общие черты в судьбах трех исторических наций Восточной Европы. Все они в период с конца XVIII в. оказались перед исторической задачей формирования нации, а точнее, *возрождения нации*. Все три – каждая в свое время: Польша в 1772–1794 гг., Венгрия в 1825–1848 гг., а Чехия в 1918–1939 гг. – с огромной энергией и энтузиазмом откликнулись на европейское демократическое и патриотическое движение, что вселило большие надежды в сердца

их современников в Западной Европе. Однако всем трем государствам пришлось убедиться в том, что они не способны внедрить *единое национальное сознание* на доставшихся им в наследство исторических территориях ввиду многоязычности их населения. Все три нации некоторое время питали надежду, что демократия и свобода станут той силой, которая будет способствовать сплочению в единое целое ориентирующегося в разных направлениях разноязычного населения. Повсюду эти надежды укреплял великий пример Франции, где грандиозное воздействие великой революции позволило столь успешно интегрировать иноязычные национальные меньшинства в рамках единого национального сознания. Но за Францией стояли две тысячи лет развития культуры, полтора тысячелетия существования политических тенденций, тысячелетие централизованной власти, пятьсот лет существования национального сознания и престиж Французской революции. Этому-то примеру и хотели следовать воспрянувшие от летаргического сна и вынужденные бороться за само существование восточноевропейские государства. Их надежды на спланированное воздействие демократии в силу исторических обстоятельств оказались тщетными, и в результате последовал полный раздел Польши, поражение венгерской освободительной борьбы в 1849 г. и катастрофа Чехословакии 1938–1939 гг. Эти катастрофы оказались роковыми, поскольку все три государства, вступившие в борьбу с силами европейской реакции, одновременно столкнулись и с недовольством своих национальных меньшинств. Все три нации ощущали, причем с полным основанием, что Европа постыдным образом бросила их на произвол судьбы. Процесс распада всех трех государств – пятикратный раздел Польши [29], катастрофа Венгрии 1849 г. и ее раздел в 1919 г., а также катастрофа Чехословакии в

1938–1939 гг. – сопровождался столь вызывающим, грубым насилием, что в силу психологических причин ни одна из этих стран не была в состоянии увидеть за насильственными действиями и определенную логику истории.

Более того, несправедливость казалась столь явной, что возникала иллюзия, будто и сам распад исторических рамок *в целом* произошел лишь в силу случайного стечения обстоятельств, воздействия факторов власти и принуждения. Поэтому эти страны продолжали считать, что во всем этом нет ничего закономерного и необратимого и что с устранением источника насилия и несправедливости не останется никаких препятствий для восстановления их исторических государств. Страдания поляков, венгров и чехов послужили реальной основой для возникновения образов «истекающей кровью Польши», «истекающей кровью Венгрии» и «истекающей кровью Чехии», каждый из которых переносился на все подвергнутое разделу историческое государство: перед мысленным взором этих народов возникала *вся историческая территория* их государств, а не только национальные общности коренных поляков, венгров или чехов. Подлинное благодеяние оказал бы трем этим нациям тот, кто ликвидировал рамки исторических государств, строго сообразуясь с этническим принципом и принципом самоопределения. Распад исторических государств и в этом случае вызвал бы длительную болезненную реакцию, но она не усугублялась бы страданиями притесняемых за границей соотечественников; отрезвляюще подействовал бы и тот факт, что со стороны оказавшихся в составе других государств национальностей не слышалось бы жалоб на судьбу и они не стремились бы вернуться в исторические рамки прежних государств. Тогда в обществе смогло бы сложиться такое настроение, которое позволило бы осознать неизбеж-

ность частичной потери исторических территорий, и рано или поздно эти страны смирились бы со своими новыми границами, подкрепленными реальным, объективным положением. Но поскольку все это произошло иначе, все три нации продолжали упорно настаивать, более того, как Чехия, и по сей день настаивают на возвращении своих исторических территорий. Все эти нации – каждая после собственной катастрофы – разочаровались в демократии как силе сплочения, и когда они оказались вновь перед выбором между приверженностью идеям демократии и своими территориальными притязаниями, они без колебаний выбрали второе, напроць забыв о том, что все они – каждая в свое время – были гордостью европейской демократии. В интересах сохранения территории исторического государства Польша и Венгрия пытались экспериментировать с различными доказавшими свою неэффективность методами подавления национальных меньшинств, их деэтнификации, а в наши дни Польша и Чехословакия встали на радикальный путь полного выселения нацменьшинств, даже не пытаясь при этом сохранить видимость демократии. Каждая из этих стран проявила гораздо меньше мудрости, свойственной демократическому сознанию, чем, например, Дания в 1919 г., когда даже исконные датские земли она желала вернуть в свой состав только на основании плебисцита. Тяжелые исторические потрясения повергли все эти три нации в такое душевное состояние, что они были способны лишь *предъявлять претензии* мировому сообществу, забывая при этом о своих обязанностях и ответственности. <...>

Европа, которая в критические для этих стран периоды действительно оставила эти страны на произвол судьбы, до определенной степени признавала свою вину перед ними, на что постоянно и ссылались все три

нации. Однако одна из этих стран, а именно Венгрия, предъявляла свои претензии на компенсацию крайне неудачным образом и в крайне неудачные моменты: в первый раз – в период реакции после 1849 г., когда не могло быть никаких надежд на удовлетворение ее претензий, во второй – в период между 1919 и 1938 гг., когда царила жесткая система статус-кво и когда ее притязания носили явно ревизионистский характер, а третий раз – между 1938 и 1941 гг., когда она выступила как союзник фашистской Германии [30]. В отличие от Венгрии, Польша и Чехословакия – и в 1918, и в 1945 г. – предъявляли свои счета в условиях, когда Европа чувствовала себя в долгу перед ними и была способна удовлетворить их претензии.

В этом пункте судьба трех наций несколько расходится: если Венгрия не может рассчитывать даже на восстановление своих этнических границ, то Чехословакии оказано международное содействие в выселении с ее исторической территории национальных меньшинств, а Польша в качестве компенсации за утраченные исторические земли получает другие территории, также «очищенные» от проживавших там национальных меньшинств. Таким образом, в Венгрии допустима вероятность тяжелого психического кризиса, который может поставить под угрозу и будущее демократии, а Польша и Чехословакия могут стать субъектами тяжелого европейского кризиса совести в связи с крупномасштабным насильственным выселением национальных меньшинств. Так что еще весьма далеко то время, когда все три нации, достигнув полной душевной умиротворенности, обретут свои, уже привычные для них и никем не оспариваемые рамки.

#### 4. ДЕФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

СЕГОДНЯ стало уже общепринятым мнение, что для Центральной и Восточной Европы, а точнее, для всего региона, расположенного к востоку от Рейна межу Францией и Россией, якобы всегда была характерна своего рода *изначальная отсталость* политической культуры. При этом ссылаются на отсталость и антидемократичность общественных отношений, на грубость политических методов, на ограниченность, мелочность и воинственность национализма; отмечается, что политическая власть здесь находится в руках крупных помещиков-аристократов, монопольного капитала и военных клик, от которых эти государства не способны избавиться собственными силами; ссылаются также на то, что регион этот является рассадником всякого рода туманных, невразумительных и ложных политических философий. Все эти ссылки как бы призваны показать, что народы этого региона уже по своему складу не способны к демократическому развитию западноевропейского типа.

Такой подход опирается на определенные реальные факты, но при этом приводит к глубоко ошибочному заключению. Этот подход годится лишь для того, чтобы быть основанием для уклонения от неприятных и сложных проблем, связанных с консолидацией этого региона, и выдвижения самых противоречивых инициатив, которые сходятся лишь в одном — в том, что все они крайне поверхностны и опасны.

*Изначальная отсталость или  
исторический тупик?*

НЕТ НИКАКИХ сомнений в том, что государства этого региона весьма далеки от завершенных и зрелых демократий Западной и Северной Европы. Не вызывает сомнений и то, что это положение в значительной степени обусловлено особенностями социальной структуры этих стран. Все те институты, которые в Западной Европе были подготовительной школой демократии, не играли сколь-нибудь значительной роли в преобразовании обществ Центральной и Восточной Европы. Институт *вассалитета* в его западном понимании, основанный на системе личных, договорных обязательств, распространялся только до Эльбы, а на другом ее берегу начиналось царство сурового и единообразного *крепостничества*. Буржуазная форма жизни и смягченные под воздействием христианства и идей гуманизма социальные инструменты и формы общения по мере их перемещения с запада на восток все меньше доходили до самых низших слоев. Соответственно, развитие городской буржуазии как революционной движущей силы Нового времени, а вслед за ней и промышленного пролетариата было в этих странах гораздо менее органичным, чем в Западной Европе, а сами эти слои – менее многочисленными и более изолированными. Однако наряду с этим здесь были в наличии и позитивные факторы. Прежде всего, в этом регионе имели место – хотя в меньшей степени, чем в Западной Европе – христианские, гуманистические, буржуазные, а также связанные с рабочим движением предпосылки современного общественного развития. На протяжении столетий народы Центральной и Восточной Европы отличались от Западной Европы лишь степенью общественного, политического и экономического

развития и не только территориально, но и по своему складу были наиболее близки к Западной Европе. В странах Восточной Европы имелись весьма серьезные предпосылки для развития свободного крестьянского хозяйства, а также для обеспечения политической свободы. В XIX столетии Европа связывала самые радужные надежды с тем мощным резонансом, который вызвала в Восточной Европе европейская идея свободы. Надежды эти – если не считать изменений в России – не оправдались, однако тот факт, что отставание этого региона от Западной Европы стало еще более значительным, чем раньше, нельзя объяснить лишь причинами общественного характера. Несомненно, уже полвека назад в Западной Европе были весьма проницательные наблюдатели, которые обнаружили признаки стагнации и нежизнеспособности политической культуры Италии, которые сумели разглядеть за подлинно европейским уровнем культурных и научных достижений Германии значительную отсталость ее социальной структуры, которые увидели также, что «свободолюбивые» малые нации Восточной Европы отнюдь не столь глубоко привержены идее свободы, как это могло показаться издали. Однако не нашлось ни одного наблюдателя, который исходя из национальной психологии, смог бы предугадать, что к середине XX в. общественное развитие не только России, но даже Турции пойдет по более прямому пути, чем, к примеру, развитие Польши или Венгрии. И это положение нельзя объяснить ничем иным, как стагнацией стран Восточной Европы, вызванной пережитыми ими историческими потрясениями.



*Реакционные интересы и национальное чувство*

НЕСОМНЕННО, крупная земельная аристократия, капиталистические монополии и военные клики обладали в этих государствах такой властью и влиянием, каких не потерпела бы ни одна страна, свободная по духу и здоровая по развитию. Но крайне поверхностным является мнение, будто мелочный, ограниченный, агрессивный, антидемократический национализм этого региона объясняется некоей заинтересованностью обладающей властью или политическим влиянием крупной земельной аристократии, монополистического капитала и военных клик в том, чтобы держать народы этих стран в рабском повиновении и отвлекать их внимание от социальных вопросов. Выраженное *в такой форме*, это мнение – нонсенс. Где-то на заднем плане эти интересы действительно присутствовали, и указанные силы были весьма довольны, когда находилось политическое движение, способное обеспечить для них покорность масс. Однако будь этот фактор решающим, в этом регионе имел бы место не агрессивный национализм, а рабская покорность и крайняя отсталость. *Национальное чувство*, даже ограниченное и мелочное, это серьезное и, подобно демократизму, *массовое чувство*, а люди и группы, связанные лишь отношениями интересов, не способны ни вызвать, ни сами пережить серьезное массовое чувство. Самое большее, на что они способны, – это попытаться использовать и усилить в выгодном для себя направлении то дезориентирующее и заводящее в тупик воздействие, которое оказывают различные исторические потрясения и страхи на политическое развитие государств.

### *Путаные философии и лживая пропаганда*

ВЕРНО также и то, что в этом регионе пышным цветом расцвели крайне путаные политические философии и самая грубая политическая ложь, которые в обществе со здоровым развитием не могли бы даже возникнуть, не говоря уже о том, чтобы в них поверили. Но наивно думать, что путаные философии или подстрекательство злонамеренной пропаганды могут служить причиной деформированного развития политической культуры. Серьезное массовое чувство может возникнуть только на основе сильных эмоций, а сами эмоции вызываются подлинными переживаниями. Полуистины путаной философии и лживая пропаганда могут оказать влияние на индивидуумы и сообщества только в случае, если пережитые ими подлинные потрясения и жуткие переживания делают их склонными к восприятию полуправды и лжи, которые помогают им утвердиться в самообмане, подпитывают их тщетные надежды, укрепляют ложные представления и дают выход определенным эмоциям. Для уравновешенных душ не страшна полуправда и пропагандистская ложь. Вопрос в том, что же привело народы Центральной и Восточной Европы в состояние душевной неуравновешенности?

### *Неопределенность национальных рамок*

ВСЕ указывает на то, что речь идет о какой-то форме *политической истерии*, при анализе же политических истерий прежде всего следует выявить те исторические потрясения, которые нарушили развитие и равновесие той или иной страны.

В Центральной и Восточной Европе эти потрясения связаны с мучительным, трудным процессом становления нации. Выше мы описали, как в результате раздробления Германии и Италии и образования Габсбургской и Османской империй в этом регионе произошел разрыв между *государственными* и *национальными* границами и как это привело к зарождению языкового национализма, к полной неразберихе при формировании национальных рамок. Это означает, что нациям этого региона не хватало того, что с такой очевидностью, ясностью и конкретностью присутствовало как в жизни, так и в общественном сознании западноевропейских наций: реальность собственных государственных и национальных рамок, наличие столицы, привычность экономического и политического взаимодействия, единство элиты общества и т. д. и т. п. В Западной и Северной Европе политический подъем и упадок страны, ее влияние как великой державы или потеря территорий, завоевание колоний или их утрата – все это оставалось тем или иным эпизодом истории, своего рода «приключением», прекрасным или грустным воспоминанием, но в конечном итоге все трудные периоды все же можно было пережить без глубоких потрясений, поскольку имелось нечто стабильное, чего нельзя было ни отнять, ни поставить под сомнение. В отличие от этого в Восточной Европе национальные рамки еще предстояло создать или восстановить, за них нужно было бороться и постоянно оберегать – и не только от насилия со стороны династических государств, но и от равнодушия части собственного населения, от непрочности национального сознания.

### Страх за существование общности

Эта ситуация и определяет наиболее характерную черту политического духовного склада стран Центральной и Восточной Европы: *страх за само существование общности*. На жизнь каждой из этих стран оказала негативное влияние чуждая им и лишенная корней государственная власть, в одних случаях европейская по форме, в других – источник невыносимого гнета, которая – какое бы имя эта власть ни носила: императорская, царская или султанская – лишала эти общности лучших сынов, беря себе в услужение самых талантливых из них и посылая в тюрьму или на виселицу самых неподкупных. Раздоры между народами этого региона из-за исторических и этнических границ породили между ними взаимную неприязнь, что сопровождалось взаимными обвинениями и оскорблениями, и когда им представлялась возможность, они пытались использовать по отношению друг к другу те методы воздействия, которым научились у императоров, царей и султанов. Все эти нации пережили психологический кризис, сопряженный с потерей святынь национальной истории или угрозой их отторжения, с сознанием того, что родной народ или часть его стонет под чужеземным гнетом. У каждой из этих наций были территории, которые они с полным основанием боялись потерять или с полным правом требовали возвратить, и в истории каждой из них были периоды, когда они стояли у самого порога частичного или полного уничтожения. Когда государственный муж какой-либо малой нации Восточной Европы говорит о «гибели нации», об «уничтожении нации», то человек Запада воспринимает это как риторический оборот; он может представить себе геноцид, порабощение или медленную ассимиляцию, но какое-то внезапное политическое «исчезновение» народа для него всего лишь

высокопарная аллегория, тогда как для восточноевропейских наций это *ощутимая реальность*. И для этого здесь не нужно физически уничтожать или выселять какую-либо нацию; для того чтобы нация почувствовала себя в опасности, достаточно выразить с должной силой и настойчивостью *сомнение в том, что она существует*.

### «Будители» национального сознания

СДЕЛАТЬ это можно было потому, что за этими нациями стояли колеблющиеся массы, которые следовало воодушевить национальной идеей или, как принято говорить в этих краях, пробудить в них национальное сознание.

Какой прок был бы от этого, скажем, во Франции или Англии? Ведь 90 процентов людей в этих странах точно так же неосознанно англичане или французы, как люди неосознанно бывают отцами или мужьями, буржуа или пролетариями, или просто людьми. Четкое сознание своей принадлежности и своего места в мире приходит к человеку только в критические моменты. Нет никакого смысла постоянно поддерживать в англичанах или французах обостренное национальное самосознание, ведь при необходимости оно пробудится само по себе, а если уж пробудится, то не возникнет никаких сомнений в том, *какое* это самосознание – английское или французское: ведь никакое другое самосознание там пробудиться не может! В Центральной и Восточной Европе, наоборот, спорным было все: сначала за душу человека боролись различные династические интересы, а затем – различные национальные интересы. В этот спор вступали, в зависимости от своих чувств, интересов или навязчивых идей, местный помещик, уездный предводитель, священник, учитель, судья и читающий газеты местный ремесленник; и

случалось, что все они мыслили по-разному. Венгерский или словацкий крестьянин порой ежедневно сталкивался с такими не поддающимися разгадке ребусами общественного бытия, которые французскому крестьянину приходилось решать в лучшем случае раз в сто лет. В Восточной Европе при сопоставлении народных масс, не обладавших определившимся самосознанием, с воодушевленными своими идеями патриотами иногда возникало ощущение, что столь настойчиво провозглашаемая национальная идея охватывает в этом регионе, в сущности, довольно узкий круг. И это было причиной того, что отрицание вульгарным марксизмом национальной идеи вызвало в Центральной и Восточной Европе совсем иной резонанс, чем в Западной Европе. На Западе, где национальные рамки представляли собой существующие уже длительное время реалии, этот марксистский тезис был лишь одним из возможных теоретических подходов, отчасти догматическим, но и ориентирующим. В Центральной и Восточной Европе, напротив, мысль о том, что национальная идея — это идеология, выражающая интересы узкой группы капиталистов, была воспринята как смертельная опасность, угрожающая самому национальному существованию, поскольку применительно к этому региону эта мысль могла обрести определенную реальность. Такого рода восприятие объяснялось не тем, что буржуазия этих стран на самом деле была носителем национальной идеи и, таким образом, субъектом, максимально в ней заинтересованным; нет, этим субъектом была не буржуазия, а в первую очередь так называемая национальная интеллигенция, для которой в этом регионе отнюдь не были характерны ни союз с буржуазией, ни даже связь с ней. Однако и в самом деле значительные народные массы в этих странах, для которых новые складывавшиеся национальные рамки не совпадали с ис-

торически сложившимися реалиями династического государства, поначалу в какой-то степени пассивно относились к национальной идее, и поэтому национальной интеллигенции пришлось приложить громадные усилия, чтобы преподать народу «национальный урок». Разумеется, в действительности такой урок могла дать только история, но положение вульгарного марксизма о том, что за национальной идеей стоят интересы узких групп, таило в себе смертельную опасность для «просветительских» устремлений национальной интеллигенции. Поэтому в значительной части этих стран марксистская социалистическая идея вызвала панический страх даже у тех слоев интеллигенции, которые не были связаны с капиталистическим строем никакими общими интересами.

### *Антидемократический национализм*

СТРАХ за существование национальной общности стал тем решающим фактором, который в этих странах поколебал позиции демократии и сузил возможности демократического развития.

Для того чтобы современное политическое развитие какой-либо европейской общности было гармоничным и шло по прямой линии, по существу, требуется только одно: чтобы *дело сообщества* и *дело свободы* были одним делом. То есть требуется, чтобы с наступлением революционного момента, когда человек благодаря грандиозному революционному потрясению освобождается от морального давления общественных сил, властвующих над ним «волей Божией», — чтобы в этот момент было ясно и ощутимо, что освобождение *отдельного человека* одновременно означает и освобождение *всей общности*, означает ее расширение, внешнее и внутренне обогащение.

Демократия и национализм – явления, имеющие общие корни и находящиеся в глубокой взаимосвязи, нарушение которой может привести к самым тяжелым последствиям. Так произошло в Центральной и Восточной Европе, где освобождение национальной общности не было связано с освобождением человека, напротив, эти нации пережили такие исторические катаклизмы, которые, как казалось, доказывали, что политический и общественный крах всемогущих в прошлом властей и радикальный переход к демократии сопряжены с громадным риском для национальной общности, а порой и с катастрофами. Эти потрясения породили самого чудовищного монстра современного европейского политического развития – *антидемократический национализм*. Мы, к сожалению, настолько привыкли к этому, что даже не замечаем, какая это вопиющая бессмыслица: поощрять и развивать характерные для свободного человека добродетели, спонтанный энтузиазм, сознательное самопожертвование и проникнутую чувством ответственности активность в интересах такого сообщества, которое не обеспечивает элементарных условий для развития свободного человека.

### *Фальсификация демократии*

В СОСТОЯНИИ панического страха, когда в расширении свободы усматривается угроза общенациональному делу, невозможно воспользоваться достижениями демократии. *Быть демократом – это прежде всего не испытывать страха* – страха перед инакомыслящими, перед говорящими на других языках, принадлежащими к другим расам, перед революциями и заговорами, коварными замыслами врага, враждебной пропагандой, пренебрежением, неприятием



и вообще перед теми воображаемыми опасностями, которые наш *страх* может превратить в реальные. Страны Центральной и Восточной Европы испытывали страх потому, что они не были сформировавшимися, зрелыми демократиями, а поскольку они испытывали страх, они и не могли таковыми стать. Безгранично свободное и лишенное страха политическое развитие этих наций в самых разных аспектах вступало бы в столкновение с комплексами страха: могло бы парализовать какие-то военные приготовления, или затруднить продолжение диктуемой страхом агрессивной внешней политики, или нарушить устойчивость какой-либо ложной политической конструкции, несостоятельность которой мешали разоблачить национальные страхи, или предоставило бы слишком широкие возможности национальным меньшинствам, чуждым, равнодушным или враждебным по отношению к нации в целом, подрывающим ее единство, и т. д.

Так, под влиянием постоянного страха и опасности правилом стало то, к чему подлинные демократии прибегают только в час подлинной опасности: ограничение демократических свобод, цензура, поиски «вражеских агентов» и «предателей», стремление в ущерб свободе любой ценой обеспечить порядок или его видимость, добиться национального единства. Появились самые разнообразные методы и формы фальсификации и разложения демократии – от самых незаметных и часто неосознанных до самых грубых: хитроумное использование всеобщего избирательного права во вред демократическому развитию; система коалиций и компромиссов, строящихся на ложных и спекулятивных принципах; избирательные законы, позволяющие ограничивать или фальсифицировать здоровое волеизъявление граждан; злоупотребления в ходе выборов; путчи и временные диктатуры.

### Ложный реалист

В ХОДЕ этого развития в политической жизни Центральной и Восточной Европы появился характерный тип политика – *ложный реалист*. Такому политику, который в одном случае снисходил в политическую сферу с аристократического олимпа, в другом – возносился до нее на демократических крыльях народного представительства, наряду с бесспорным талантом свойственна определенная доля хитрости и напористости, что делает его в высшей степени пригодным для фальсификации демократии, поддержания и защиты осуществляемого в демократических *формах* антидемократического правления или какого-либо политически оформленного насилия. Благодаря этому такие политики добивались авторитета как «великие реалисты» и с успехом оттирали на задний план политиков западноевропейского типа, клеймя их как «доктринеров» и «идеалистов». Великом примером для таких политиков был Бисмарк, а их характерными представителями – Иштван и Кальман Тиса [31], Брэтиану-отец и Брэтиану-сын [32], Никола Пашич [33], Иштван Бетлен [34], Элефтериос Венизелос [35] и т. д. Все это непрямым, но тем не менее логичным путем вело к новому усилению в этих странах власти главы государства, которая под влиянием демократии и здесь уже начала было ослабевать. Ведь сила центральной власти состоит в том, что она способна поддерживать равновесие между двумя основополагающими факторами, и если один из них, народное представительство, систематически коррумпируется, то тем самым укрепляется второй. Более того, именно власть главы государства стала инстанцией, от которой верноподданные ждали защиты от произвола правительства. И это вело к расколу демократических сил и возвращению к тому, предшествующему демокра-

тии, состоянию, когда общество видело свое избавление от всех бед и несчастий не в законах, не в эффективном контроле над правительством и не в политической разумности граждан, а в милости и доброй воле главы государства, его личной власти и мудрых решениях.

### *Проблемы управления обществом*

Трудности процесса формирования нации явились причиной того, что в сфере управления обществом в Центральной и Восточной Европе стали играть роль или вернули себе прежнюю роль такие факторы, которые в значительной степени способствовали отклонению от здорового, демократического курса развития. На Западе, как известно, элита, активизирующая процессы демократического и национального развития, состояла в первую очередь из юристов, людей, занимающих ключевые позиции в сфере административного управления, экономической сфере, публицистов, представителей свободных профессий, профсоюзных лидеров и т. д. В Центральной же и Восточной Европе произошел сдвиг в двух направлениях: с одной стороны, в резком противоречии с духом демократии вновь решающую роль стали играть монарх, дворянин и военный, а с другой – совершенно особое значение приобрела так называемая национальная интеллигенция.

### *Монарх, дворянин, военный*

МОНАРХ, дворянин, военный стали играть особую роль в силу того, что процесс формирования наций в Центральной и Восточной Европе был сопряжен не только с внутренними политическими движениями, но и с терри-

ториальной перестройкой, т. е. с изменениями, затрагивающими систему европейских государств. Таким образом, та династия, та аристократия и та армия, которые взяли на себя определенную роль в достижении национального единства и национальной независимости, тем самым до *некоторой степени* и на *некоторое время* смогли избежать судьбы, ожидавшей монархию, аристократию и милитаристский дух, то есть постепенного или внезапного упадка, и сумели обеспечить себе некоторое привилегированное положение (*noli me tangere\**) в той борьбе, которую демократия всегда ведет против различных видов авторитаризма. Исходя из *национальной* идеи, общественное мнение прекратило свою критику некоторых династий (например, Гогенцоллернов, Карагеоргиевичей [36], Савойской династии [37]), аристократии некоторых стран (например, прусской, польской, трансильванской), а также всех национальных армий. Это привело к тому, что из двух элементов национального чувства здесь стал превалировать *военно-аристократический* элемент, то есть властный, агрессивный, оттеснивший на задний план элемент гражданский, — цивилизованный, гуманный, миролюбивый.

### *Роль национальной интеллигенции*

ОБЩЕСТВЕННЫЙ престиж восточноевропейской национальной интеллигенции по сравнению с западноевропейской был гораздо ниже, а ее прошлое, традиции и политическая культура гораздо скромнее, но в то же время ее роль и ответственность с точки зрения национального бытия были гораздо более весомыми. Особое значе-

\* Не тронь меня (*лат.*).

ние в восточноевропейских странах приобрела деятельность представителей различных гуманитарных профессий – писателей, лингвистов, историков, священников, учителей, этнографов, занимавшихся изучением, культивированием всех тех своеобразных, характерных моментов, которые отличали национальную общность. Поэтому здесь культура приобрела чрезвычайно большую роль, однако это означало не столько расцвет культуры, сколько ее *политизацию*. Поскольку эти государства не обладали исторической преемственностью в ее западноевропейском понимании, то на национальную интеллигенцию легла задача выявления и сохранения свойственного этим новым или возрождающимся нациям языкового, этнического своеобразия, а также доказательства того, что эти «новые» этносы, несмотря на неполноценность их национальной жизни, обладают – что было на самом деле – более глубокими корнями и являются более жизнеспособными, чем существующие династические государства. В ходе этого, как мы уже отмечали, и сложилась идеология языкового национализма. Все это само по себе еще не представляло опасности для демократического развития, более того, восточноевропейская интеллигенция поначалу отличалась гораздо большим демократизмом, чем богатые буржуа и юристы, игравшие аналогичную роль в западноевропейских обществах.

Этот процесс развития роковым образом отклонился от прямого пути потому, что именно в восточноевропейском регионе возникли те путаные политические теории и философии, которые впоследствии целиком и полностью деформировали политическую жизнь этих проникнутых страхом обществ. Таким образом, все это отнюдь не означало, что здесь и на самом деле сохранялся мир династических, аристократических и военно-рыцарских

традиций в их общепринятом понимании. Династические, аристократические и военные круги лишь сохранили власть и возможность оказывать давление на общество, но в своем политическом мышлении они полностью адаптировали ценности, цели, страхи и чаяния национальной интеллигенции. Из своих собственных ценностей они добавили к этому лишь некоторые монархические, аристократические и военные черты, в той мере, в какой в них нуждалось испытывающее страхи общественное сознание, — единство, дисциплину, порядок, антиреволюционность и уважение к авторитетам.

### *Деформация политического характера*

ЗА ДЕФОРМАЦИЕЙ общественной структуры последовала деформация политического характера, и в обществе возник такой психологический настрой, который присущ состоянию истерии и в котором отсутствует здоровое равновесие между *реальным, возможным и желательным*. У всех восточноевропейских народов можно отметить те психологические симптомы, которые характерны для состояния дисгармонии между мечтами и реальностью: повышенное стремление к документированному обоснованию своего бытия и внутренняя неуверенность, национальное тщеславие и неожиданное раболепие, постоянное декларирование своих достижений, моральные претензии и моральная безответственность. Большинство этих народов живет памятью о былой славе или мечтами о будущей мощи, но в то же время сокрушенно именуется себя «малыми нациями», что совершенно непонятно, например, для голландцев или датчан. А если та или иная их мечта — каков бы ни был ее объект: территория, власть или

престиж – на какое-то время сбывается, то никто не смеет указать им на половинчатость, шаткость этих успехов, не буючи при этом громогласно обвинен в измене родине; еще меньшую терпимость проявляют они, когда кто-либо пытается развеять их несбывшиеся, но все еще лелеемые мечты.

### *Национальный материализм*

ПРИ ТАКОМ еушевном состоянии пропадает способность к восприятию политических ценностей. *Оттеснение ценностей на задний план* свойственно тем примитивным душевным состояниям, в которых доминирующей является борьба за существование, а полная неопределенность и безысходность существования ведет к окончательной потере ориентации в сфере ценностей. Вот почему так опасна вульгарная мудрость философии экзистенциализма, согласно которой ощущение опасности всегда плодотворно, поскольку лишь сознание возможной гибели способно пробудить в человеке и человеческой общности понимание истинного смысла жизни и активизировать его созидательные, творческие силы («*Stirb und werde!*», «*Vivere pericolosamente!*» [38]). Все это справедливо для сформировавшегося, уравновешенного характера, а у незрелой общности или личности, стоящей на уровне развития подростка, неопределенность существования ведет к неопределенности ценностей.

Так, в рассматриваемых нами странах сложился странный национальный материализм, являющий собой крайне деформированный вариант марксистского социального материализма. Подобно тому, как охваченный лихорадкой классовый борьбой пролетариат долгое

время почти не воспринимал утонченных ценностей класса собственников, которые те смогли выработать именно благодаря покою, обеспечиваемому владением собственностью, так и живущие в лихорадке собственного формирования нации не заметили, что величие достижений западных наций состоит именно в том, что они спокойно живут своей национальной жизнью, не стремясь постоянно представлять свои успехи в качестве *достижений нации*. Однако если система ценностей пролетариата по мере повышения его политического веса, расширения политических возможностей и осуществления надежд во всех отношениях подверглась углублению и обогащению, то национальная философия большинства народов Центральной и Восточной Европы под воздействием целого ряда исторических катастроф и тупиков еще более сузилась и впала в тяжкую *коллективную истерию*. Именно поэтому воздействие национального материализма на ценности оказалось столь губительным. Все проявления национальной жизни самым жестоким образом были подчинены принципу национальной целесообразности, и все успехи, как мнимые, так и реальные – от Нобелевской премии до олимпийских рекордов, утрачивали свой спонтанный, самоценный характер, превращаясь в средство *национальной самодокументации*. Все, что вершилось «именем нации», «в интересах нации» (даже фальсификации и убийства), было свято и не подвергалось сомнению. А того факта, что все это ведет к истощению моральных резервов нации, предпочитали не замечать – как это и пристало настоящим материалистам. Одним из самых великих деяний Т. Масарика было то, что он – правда, за несколько десятилетий до своего избрания президентом Чехословакии, – имел смелость развеять ложные представления, связанные с почитаемым как памятник



национальной литературы историческим документом, содержание которого весьма часто служило поводом для национального самовосхваления [39]. Но, к сожалению, в других восточноевропейских странах его примеру последовали немногие.

### *Сумбурная публицистика и «национальная» наука*

ТАК ВО ВСЕХ малых странах Восточной Европы, как, кстати, в Германии и Италии, расцвела крайне сумбурная, оперирующая ложными категориями политическая публицистика, в которой все принятые в европейском политическом мышлении понятия использовались как средства самодокументации и самооправдания. В результате ясные, простые мысли и более или менее логичные обобщения превратились в метафизические проявления Абсолютного Добра или Абсолютного Зла, в мистические откровения, в магические заклинания, основной целью которых было выдать желаемое за действительное и затуманить суть тех фактов и явлений, которые та или иная общность не желала признавать. Деятели «национальной» науки приступили к «научному» обоснованию исторического, а за отсутствием такового – доисторического права той или иной нации на существование, ее миссии, оправдывающей самостоятельное, суверенное национальное бытие, к разработке самой основополагающей идеи национальной истории, «научных» аргументов в территориальных спорах и даже – *horribile dictu\** – той внешнеполитической концепции, которой нация должна следовать согласно «научным» аргументам «научно» разработанной теории исторического развития.

\* Страшно сказать (*лат.*).

Такого рода наука, лишенная самооценности и используемая лишь в качестве средства аргументации, помимо того, что она в значительной степени фальсифицировала научные достижения этих стран, способствовала созданию крайне ложных отношений национальных элит с действительностью: она приучила их исходить *не из реальной действительности*, а из предъявляемых окружающему миру *требований*, не из объективных результатов развития, а из желаний, а также мыслить, не принимая во внимание простые связи причин и следствий.

Если элиты этих стран сталкивались с тем фактом, что одна из наций не могла ужиться с другой внутри одного государственного образования, то в ход шли геополитические аргументы, якобы детерминирующие совместное существование, более того, косвенно подтверждающие главенство того или иного народа в рамках этого сосуществования. Если им задавали вопрос, почему они хотят господствовать над тем или иным народом, который этого не желает, и почему они ставят себя выше того, кого они вовсе не выше, то ответом на это были ссылки на археологические находки, народные песни, мотивы народного творчества, лексические заимствования, створчатые алтари, влияние книг и разного рода институтов, что должно было доказать, будто без их поддержки данный народ и поныне прозябал бы в невежестве. Если же им приходилось давать объяснения относительно внутренних беспорядков, диктаторских методов, подавления того или иного национального меньшинства, то тут же демонстрировались раны, полученные в борьбе с воинством Аттилы, с турками или в борьбе за дело европейской свободы и демократии. Если же кто-то упрекал их в безрассудной, высокомерной внешней политике, то они ссылались на уходящий в глубину веков, не подвластный времени метафизический «смысл» собственной истории, который

с фатальной неизбежностью определяет тот или иной политический шаг. Не следует думать, что подобные ссылки оставались, так сказать, лишь экстравагантными выходками: в более утонченной форме они проникали и в научно обоснованные, всесторонне аргументированные современные концепции, безнадежно искажая их смысл.

Совместное воздействие всех этих факторов проявилось в том, что общественное и политическое развитие этих стран остановилось на полпути или же, продвигаясь вперед, шло не по прямой линии и было лишено той внутренней логики, какими характеризовалось развитие, с одной стороны, Западной и Северной Европы, а с другой стороны – России.

## 5. УБОЖЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ

ОТСУТСТВИЕ определенности в территориальном статусе и деформация политической культуры Центральной и Восточной Европы наиболее негативным образом сказались на взаимоотношениях наций этого региона. Стороннему наблюдателю местная политическая жизнь представляется полной мелких, запутанных *территориальных* конфликтов, когда каждая из живущих здесь наций постоянно ссорится буквально со всеми своими соседями.

### *«Языковая война»*

СРЕДИ этих отталкивающих явлений на первом месте стоит непостижимая для западноевропейского наблюдателя и кажущаяся ему бессмысленной «языковая война». Языковые споры знакомы и Западной Европе. Но следует четко осознавать, как велика разница между спорами об использовании того или иного языка на тех или иных тер-

риториях стран Западной и Северной Европы и «языковой войной» в Центральной и Восточной Европе. Фламандско-валлонский или финско-шведский споры о языке имеют коренное отличие от чешско-немецкой, венгеро-румынской или польско-украинской «языковых войн». В западно- и североевропейских языковых спорах сталкиваются такие противники, для которых демократия – *реальное и чрезвычайно важное* завоевание, а спор о языке – это не вопрос жизни или смерти. Споры о языке в Западной и Северной Европе ведутся, как правило, даже не между двумя народами, а между двумя флангами национальной интеллигенции, и агитация направлена на то, чтобы вернуть оторвавшийся от своего родного языка слой, – скажем, говорящих по-шведски финнов, говорящих по-французски фламандцев или бретонцев, говорящих по-английски ирландцев и т. д. – в его исконное языковое русло. Сам же шведский *народ*, живущий в Финляндии, или валлонский *народ*, живущий в Бельгии, – даже если они и с симпатией следят за борьбой, ведущийся вокруг их языка, – стоят, собственно, вне этой борьбы, и тем более им не придет в голову содействовать подавлению другого языка, стремящегося к самоутверждению. Мирозрению большинства западно- и североевропейских народов чужды не только преследование за использование того или иного языка, но и пропаганда, активизирующая процесс обновления какого-либо языка, находящегося в процессе вырождения (ирландского, гэльского, валлийского, бретонского, баскского, фризского, саамского и т. д.), когда тот или иной народ начинает переходить со своего древнего языка на новый язык, пользование которым обеспечивает ему более широкие перспективы.

Однако в отличие от Западной и Северной Европы «языковые войны» в Центральной и Восточной Европе ведут такие народы, которые уже в нескольких поколениях

ях живут в состоянии нестабильности своего государственного и национального существования и проистекающего из этого страха. Эти народы хотят, чтобы будущее их государственной жизни опиралось на сплочение людей, говорящий на одном языке; таким образом, они считают, что от исхода «языковой войны» зависит, быть или не быть существующим государственным рамкам или тем рамкам, на которые они претендуют. Поэтому от показателей языковой статистики они ожидают решения судьбы своих границ или реализации своих притязаний на их изменение. В этой психологической атмосфере бессмысленно убеждать людей в том, что в этом регионе невозможно, да и не стоит существенно менять пропорции в использовании языка, что за привлечение на свою сторону единиц придется заплатить потерей тысяч, что подавлять кого бы то ни было – значит наживать себе смертельных врагов, и т. д. В этой ситуации смелое, трезвое общественное мнение и демократическая политика могут предпринять лишь одно: обеспечить для национальных меньшинств максимальные возможности внутри имеющихся рамок и удовлетворить самые дерзкие требования меньшинств, даже идя при этом на риск их возможного отделения, то есть реализовать ту политику, которую Англия вела в отношении своих доминионов. Но для этого нужно не бояться того, что отделение территорий с иноязычным населением приведет к гибели всей нации. Когда же существует убеждение, что исход «языковой войны» – это вопрос существования нации, то это становится уже подлинной войной, в ходе которой ради победы не гнушаются всеми теми жесткими, крайними средствами, которые хорошо знакомы многим нациям как чрезвычайные меры настоящей войны.

### Притеснения национальных меньшинств и их обиды

С ЭТОГО момента начинается притеснение национальных меньшинств и возникают их обиды. Совершенно бесперспективен спор о том, что началось раньше – угнетение со стороны большинства или антигосударственная агитация со стороны меньшинства. Страх за существование воздействует на участников спора таким образом, что вне этих дебатов остаются те, кто сохраняет здравый ум; и здесь возникает положение, когда агитация за разучивание народных песен детьми нацменьшинств на языке большинства приобретает характер изощренной, насильственной экспансии, а противоположная агитация, призывающая не учить песни на чужом языке, а распевать свои, рассматривается как опасная антигосударственная пропаганда. Ущемленное меньшинство неистоично в описании своих обид и применяемых к нему методов подавления, а нация, составляющая большинство, столь же неистоична в живописании бед, вызываемых зловердной, «подрывной» деятельностью агитаторов, обучавшихся в чужеземных университетах и на курсах пропагандистов и вносящих смятение в душу доброго и миролюбивого национального меньшинства. Гротескность этой ситуации состоит в том, что вся эта фразеология и все эти мудрствования и иллюзии сразу же меняются на противоположные, если в результате изменения территориального статуса большинство становится меньшинством, или наоборот.

Можно до слез растрогаться, слушая изливания венгров о доброте и кротости словацких крестьян или рассуждения чехов о благородстве, солидности и гражданских добродетелях венгерских крестьян; приходится только удивляться, почему же так невыносима жизнь в Восточной Европе, где столько добронамеренных правительств и

столько благородных и добрых крестьян, и откуда берется все это огромное количество злобных панславистских агитаторов и не меньшее число не менее зловредных агитаторов-ревизионистов, которые постоянно подстрекают эти народы против их законных правительств. Однако, безусловно, трудно применить понятия «законное правительство» и «агитатор» в их западноевропейском значении там, где *вчерашние агитаторы* становятся *сегодняшним законным правительством*, а завтра все меняется в обратном направлении. В этом крайне запутанном клубке взаимных обвинений самое горькое, что действительность начинает все больше приближаться к картине, вырисовывающейся из этих обвинений. Дело в том, что коллективные фантомы имеют трагическое свойство *превращаться в реальность в той степени, в какой в них верят*. В мире благоразумных правительств и славных, трудолюбивых народов сначала появляются пророки, предсказывающие грозящие нации или народу опасности, и разворачиваются воодушевленные национальной идеей культурные движения, которым обеспечивается всяческая поддержка со стороны властей; затем возникает подозрительность по отношению к культурным движениям меньшинств, а в поддержку культурных движений национального большинства выделяются жандармские подразделения; все это вызывает со стороны меньшинств враждебные настроения по отношению к государству, на что власти, в свою очередь, отвечают административными санкциями; затем возникают направленные против государства движения, на что власти отвечают тюрьмами и жандармскими штыками; настает очередь заговоров, в ответ на что начинается систематическое подавление меньшинств; завершается же все это убийствами, бунтом и войной, направленной на уничтожение.

*Невыносимость жизни национальных меньшинств*

НО ДАЖЕ ТАМ, где дело еще не зашло так далеко, жизнь национальных меньшинств постепенно становится невыносимой. Государственная власть – если только она открыто не стоит на расистских позициях – в своих демагогических откровениях постоянно подчеркивает благорасположение по отношению к своим иноязычным гражданам, но стоит кому-либо из них хотя бы в малейшей степени проявить свою приверженность родному языку и своему народу, как он сразу же становится подозрительным. Это ставит его в противоречивое и отчужденное положение, даже если речь идет о представителе исторического национального меньшинства, а тем более, если данное меньшинство было лишь недавно присоединено к стране. Это отчуждение возникает независимо от того, какие методы – цивилизованные или варварские – применяет государственная власть. До 1939 г. методы Чехословакии были наиболее цивилизованными среди применявшихся другими государствами Центральной и Восточной Европы, и все же Чехословакия точно так же не ощущала поддержки своих национальных меньшинств, как и остальные страны. Ведь если, например, при разного рода закупках для чехословацкой армии было введено секретное предписание отдавать предпочтение фирмам, принадлежащим представителям коренного населения страны, в ущерб фирмам, которыми владели представители национальных меньшинств. – что было логичным для государства, которое считало своей подлинной опорой население, говорящее на государственном языке, – то не менее логично, что для тех торговцев и других представителей меньшинств, кого это непосредственно касалось, разглагольствования о равенстве граждан превращались в пустые фразы, даже если их при этом никто и пальцем



не трогал. В подобных ситуациях, а тем более в случаях, когда национальные меньшинства испытывали более ощутимые притеснения, их жизнь *переставала быть полноценной человеческой жизнью*, а превращалась в жизнь людей, оттесняемых на задний план, когда средством компенсации становилась более или менее реальная надежда на объединение со своими соотечественниками. Подобное бытие, зиждущееся на надежде, которой не суждено в скором времени осуществиться, превращалось в постоянные метания между тщетными мечтами и отчаянием и в длительной перспективе становилось *невыносимым*.

### *Территориоцентристский подход*

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ существования и территориальные споры порождают столь характерный для Центральной и Восточной Европы территориальный, или, можно сказать, *территориоцентристский*, подход к вопросам о силе, мощи и процветании нации. Этот подход обрекает на политическое и культурное бесплодие в первую очередь так называемые «ирредентистские нации», то есть нации, выдвигающие территориальные требования, но он затрагивает также и «нации-обладатели», выступающие за сохранение статус-кво. Там, где самым тревожным и волнующим для нации вопросом является вопрос о том, *какие территории она боится потерять или на какие территории она претендует*, со временем процветание нации начинает связываться прежде всего с ее территориальным статусом: люди воскрешают в себе национальное чувство, национальные чаяния, *постоянно воссоздавая перед собой существующую или желаемую карту своей страны*. Это крайне антидемократичный подход. Сам по себе он не означает ни угнетения, ни господства, но в

целом как *подход он несовместим с демократией*. Ведь демократия – это победа *человека-творца* над концепцией *человека-завоевателя*, и наиболее важным ее уроком является то, что нация, которая стремится достичь успехов в своем развитии, полагаясь на свои собственные внутренние силы, во много раз мощнее, чем та, которая пытается – порой с максимальными усилиями – обеспечить свое процветание за счет других народов. Это не значит, что демократии чужды справедливые территориальные требования; очевидно, что требование того, чтобы население той или иной территории в политическом смысле относилось к той стране, с которой его связывают его воля и чаяния, безусловно с демократической точки зрения. Но бесспорно и то, что если по какой-либо причине территориальный спор становится *главным делом* в жизни нации, это может помешать демократическому развитию *еще не ставшего демократическим* общества и даже в демократическом обществе может вызвать определенный регресс демократического духа.

### *Притязания на лидерство*

ЗА ОСОБО упорными притязаниями некоторых центрально- и восточноевропейских наций на «исключительность» по отношению к другим народам – прежде всего к тем, чьи территории они хотели бы присоединить, – как правило, скрываются необоснованные территориальные претензии. Сюда же относятся и теории отдельных наций об их «ведущей» роли в том или ином регионе, об их «миссии», несущей христианство, культуру, демократию и обеспечивающей их защиту. Эти теории не во всем тождественны немецкой концепции «господствующего народа» (*Herrenvolk*), которая в принципе

обосновывает превосходство немецкой нации над *всеми остальными*. В отличие от этого притязания на лидерство среди восточноевропейских наций распространяются лишь на определенную территорию, которой они владеют или которой хотели бы овладеть, а единственная цель их – нейтрализовать стремления национального меньшинства и иноязычного населения к отделению и самостоятельности. Таким образом, в этом регионе притязания на лидерство – это лишь вынужденная, вымученная в силу необходимости формула: представители претендующей на лидерство нации на самом деле болезненно воспринимают то, что территория, которой они владеют или которую желают заполучить, не одноязычна; если бы она не была таковой, они с облегчением отказались бы от своих притязаний на лидерство или «распространение демократии» и предпочли бы, не выдвигая никаких претензий, спокойно жить на территории, с которой их связывают национальные чувства.

*Историческое право и статус-кво:  
венгерская и чехословацкая аргументация*

Из ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО настроения народов Центральной и Восточной Европы, под воздействием которого они подходят ко всем политическим вопросам не с позиции реальной оценки действительности и объективных возможностей, а с точки зрения «обиженных наций», требующих удовлетворения своих претензий, проистекает своеобразное, скорее похожее на тяжбу отношение к территориальным вопросам, когда опирающиеся на *историческое право* или на *сохранение статус-кво* притязания становятся невозможно отделить от справедливых требований, основанных на демократии, на праве на

самоопределение. В своих требованиях они исходят из того, что территориальный статус, имевший место в определенном исторический момент (естественно, *благоприятный* для них), является *действительным* и поныне. Они не претендуют на *чужое*, а только на *свое*, и доверчивый наблюдатель впадает в недоумение только тогда, когда выясняется, что под этим предлогом они требуют себе все. Обоснование этих притязаний ведется двумя разными методами, которые – имея в виду двух главных их представителей – можно назвать *венгерским* и *чехословацким*.

*Венгерский метод* обоснования претензий опирается на историческое прошлое, апеллируя к тысячелетнему обладанию теми или иными территориями. Все выдающиеся события этого тысячелетия или же которые могут быть представлены в качестве таковых призваны оправдать исторические притязания венгров. Прежде всего, утверждается, что если бы венгры не защитили Европу от турок, то их численность в собственной стране не сократилась бы в столь значительной степени, как это имело место, и поэтому Европа проявляет по отношению к венграм черную неблагодарность, разделяя историческое венгерское государство под предлогом сложившегося в результате этих событий многоязычия. Это обоснование временами совершенно теряется в лабиринтах исторических экскурсов, и перед оппонентом чередой проходят средневековые святые и короли в подтверждение права на существование исторической Венгрии.

*Чехословацкая аргументация* в корне иная и радикально современная: она почти не ссылается на тысячелетнее чешское прошлое, разве что на его демократические и гуманистические традиции, зато возникновение в 1918–1919 гг. международных организаций по обеспечению мира она рассматривает как важный исходный момент (*Stichtag*) с точки зрения территориальных притязаний;

поскольку в 1938 г. миротворческая система фактически распалась из-за выдвижения многочисленных и самых разнообразных территориальных претензий, то, по мнению Чехословакии, отбить у агрессивных стран охоту к проведению угрожающих миру акций можно лишь при условии неукоснительного восстановления статус-кво, который существовал в момент распада этой системы. Остальные государства Восточной Европы используют обе эти аргументации в различной последовательности и комбинации, добавляя к ним в качестве третьего аргумента *элементарные этнические требования*.

Как бы ни отличались по своему звучанию венгерские и чехословацкие аргументы, по сути они совершенно одинаковы. И та, и другая сторона считает, что защищает свои *права* перед фактом грубого насилия, в то время как на деле это лишь бесплодная борьба *притязаний* против *фактов*. Венгерская аргументация глубоко нереалистична по той причине, что она пытается протестовать против наиболее существенного факта, определившего формирование центрально- и восточноевропейских наций, – против *краха рамок исторических государств*. А чехословацкая версия глубоко нереалистична потому, что она желает *восстановить именно те элементы мирного устройства 1918 г.*, из-за которых оно однажды было нарушено. В обеих этих аргументациях есть нечто от заклинания духов: венгры заклинают дух Святого Иштвана, а чехи – дух Женевы; и те, и другие ожидают от своих духов чудес, на которые те неспособны. И если этим нациям и удастся достичь некоторых своих целей, используя при этом временную *поддержку великих держав*, то они предпочитают не акцентировать этот последний, не столь лестный для них момент, но каждая из них празднует победу как «триумф справедливости», принося жертвы благодарности на алтарь своего духа-спасителя.

*Внешняя политика:**политика территориальных притязаний*

ПРОДУКТОМ политического сознания, формирующегося под воздействием страха за существование, было и то, что *внешняя политика* стран Центральной и Восточной Европы в период между двумя мировыми войнами в конечном счете определялась не принципами, не естественным складом народа и даже не объективными интересами, а исключительно той *позицией*, которую эти страны занимали в *территориальных спорах*. В 1938 г. территориальные притязания заставили Польшу двигаться в одном направлении с Германией, несмотря на то, что ее интересы диктовали прямо противоположное; территориальные устремления заставили Италию в 1940 г. вступить в войну; территориальные проблемы были причиной того, что Румыния в 1941 г. оказалась среди стран фашистской коалиции; территориальные притязания привели к тому, что Венгрия и Болгария, несмотря на их твердое решение вторично не выступать на стороне неправых сил, в решающий момент все же вступили в войну на стороне Германии. Особенно показателен случай Болгарии. Действительно, трудно было бы утверждать, что Болгарию заставил встать на сторону Германии ее империализм, а сербов привел в стан Малой Антанты их демократизм: внешнеполитическая позиция этих двух балканских крестьянских государств с аналогичной структурой и общественным укладом также определялась территориальными конфликтами. Этим и объясняется тот факт, что Болгария, проявлявшая из всех «ревизионистских» стран гораздо меньше «шума» и беспокойства в связи со своими территориальными потерями и к тому же пользовавшаяся традиционной поддержкой России, в решающий момент все же устремилась в том направлении, где она надеялась удовлетворить свои

территориальные притязания. В этом регионе не оказалось ни одной нации, способной к проведению такой внешней политики, которая бы не руководствовалась территориальными притязаниями; ни одна из этих стран сама по себе не была ни демократической, ни фашистской: она встала на ту или иную сторону лишь ради сохранения или расширения своей территории, что ей было обещано, соответственно, демократией или фашизмом.

*Дух политической безответственности.  
Нации кроткие и нации строптивые*

Одно из самых печальных явлений, связанных с деформацией политической культуры Центральной и Восточной Европы, – это возникновение духа *политической безответственности*, которую страны этого региона проявляли в своей европейской политике, определявшейся территориальными спорами. Одна из самых характерных черт души, измученной страхом и неопределенностью, деформированной под влиянием великих исторических потрясений и обид, состоит в том, что она хочет жить, *не опираясь на свои силы и возможности, а предъявляя счет* жизни, истории, окружающему миру. При таком душевном состоянии она все менее ощущает свои обязанности и ответственность перед обществом, и все моральные установки становятся для нее лишь средством оправдания своих требований. В результате чрезмерной морализации международных отношений в Европе, имевшей место в основном после 1918 г., народы Центральной и Восточной Европы обрели целый арсенал «оправдательных» лозунгов для ведения своих споров: та сторона, которая находилась в положении «*обладателя*», выступала прежде всего за мир, а та, что *предъявляла претензии*, стоя-

ла за *справедливость*. На самом деле это было просто фальшивой фразеологией, потому что эти категории применялись не в соответствии с их истинным смыслом, а исключительно как аргументы, на которые можно сослаться во взаимных территориальных спорах.

Отсутствие политической зрелости еще никогда не проявлялось так остро, как именно в этом; для простоты обозначим эти позиции так: нации кроткие и нации строптивые, «нации-паиньки» и «нации-задиры». Неискренность их стремлений к миру и справедливости сразу же становилась явной, как только речь заходила о *справедливом мире* или о *справедливости для обеих сторон*. В этом случае страны, стремившиеся сохранить статус-кво, заявляли, что *ревизия – это война*, что на деле означало: *мы готовы к войне, если вы хотите силой заставить нас отказаться от того, чем мы несправедливо владеем*. А девиз «ревизионистов» – *сначала справедливость, а потом мир* – на деле означал: *мы готовы свергнуть мир в войну, если не получим того, что требуем*. Перефразировав Библию, здесь можно было бы задать вопрос: если вы так считаете, то чем же вы лучше других, и к чему эти ссылки на мир и справедливость? [40] И на самом деле, не так ли ведут себя агрессивные страны и предъявляющие несправедливые требования нации?

Ничто так не повредило престижу Лиги наций в Европе, как бесконечные, бесплодные дискуссии, которые хотя и имели видимость обсуждения принципиальных вопросов, на самом деле были следствием болезненной нестабильности территориального статуса народов Центральной и Восточной Европы, их постоянных взаимных претензий. Для этих народов женевская идеология стала просто-таки политической секирой в их спорах. Так, они становились все равнодушнее к насущным интересам Европейского сообщества в целом и проявля-



ли все большую безответственность в связи с его основополагающими моральными нормами. Всем известно, с какой глубочайшей безответственностью национал-социализм и фашизм толкнули Европу на путь катастрофы. Но необходимо принять во внимание и то, что в период между 1918 и 1933 гг. немало важных попыток урегулирования германо-французского конфликта было сведено на нет из-за вето со стороны Малой Антанты, что означало и подрыв региональной идеи, с которой связывались столь большие надежды. Или же то, что в 1938 г. в связи с чехословацкой трагедией Польша, которой угрожала такая же опасность, а также Венгрия не продемонстрировали даже жеста солидарности, который был бы естественен между малыми нациями в этой ситуации.

Если в целом взглянуть на принципы и реальные проявления внешней политики, проводимой в Европе с 1918 г. государствами, расположенными между Рейном и Россией, то трудно удержаться от весьма сурового осуждения этих государств. Но две причины все же заставляют нас отказаться от этого. Первая та, что эти страны действительно пережили тяжелые потрясения. Вторая же заключается в том, что если заклеить их и «поставить крест» на их дальнейшей судьбе, то от этого никто не окажется в выигрыше, поскольку такой подход еще больше осложнит положение в Европе и в мире. Поэтому все же было бы разумнее задаться вопросом: нет ли пути, ведущего к консолидации этого региона, и нельзя ли вернуть политическое развитие этих стран на тот прямой путь, с которого они в свое время сошли?

## 6. РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ И КОНСОЛИДАЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ВЫШЕ мы описали немало примеров, свидетельствующих об убожестве политического мышления малых восточноевропейских наций, которое вызывает в западноевропейском наблюдателе столь большое недоверие и раздражение: это и бесконечные территориальные споры, и узость, агрессивность их националистского мышления, и склонность к отходу от достойных политических методов, и недостаток демократического духа, и предрасположенность к нереальной политике, далее то, что они хотят жить, не столько опираясь на свои достижения, сколько предъявляя исторические права и претензии, что они ненавидят друг друга, что постоянно стремятся добиться преимуществ за счет своих соседей и друзей по несчастью, что они крайне безответственны в глобальных европейских вопросах, что их политические решения обусловлены не идеями, обладающими глубокими корнями, или долгосрочными, серьезными политическими концепциями и даже не четко осознанными собственными интересами, а прежде всего их спорами с соседями, и главным образом, территориальными спорами. Исходя из этого, многие приходят к выводу, что весь этот регион со всем его бахвальством, обвинениями, жалобами, ссорами и тяжбами из-за границ нужно предоставить своей судьбе, ибо некое изначально присущее ему варварство все равно не позволит ему консолидироваться.

Итак, мы довольно в ярких красках обрисовали процесс варваризации этого региона. И все же нужно отметить, что подход, исходящий при решении проблем этого региона из того, что их все равно невозможно решить, является следствием не столько конкретного знания положения, сколько желания уйти от неприятных вопро-

сов и угрызений совести. Этот регион не может консолидироваться не потому, что он изначально варварский; он стал варварским потому, что в результате целого ряда злополучных исторических событий сошел с пути европейской консолидации и не смог вновь на него вернуться. К сожалению, ему и в этом не особенно помогали, а порой даже препятствовали.

### *Возможность консолидации*

О ЧЕМ ЖЕ, в конечном итоге, идет речь в Центральной и Восточной Европе? Дело в том, что в этом регионе распались рамки исторических государств и исторических наций, и границы между всеми живущими здесь нациями стали спорными. Не знаю, на чем основано утверждение, что возникший в результате этого хаос невозможно устранить: ведь разве кто-либо пытался в какой-либо мере консолидировать этот регион? Сама возможность консолидации возникла здесь лишь в 1912 г. и в 1918 г., то есть тогда, когда распались два наднациональных образования, Османская империя и империя Габсбургов, которые стояли на пути завершения процесса формирования наций в этом регионе. Если бы в 1918 г. миротворцы проявили чуть большую осмотрительность и заботу, то к концу 1919 г. они смогли бы заложить твердые основы консолидации этого региона. Как известно, сделать этого не удалось. С тех пор на этот регион обрушились невероятные беды, страдания и варварство, однако всего лишь около тридцати лет *существует* то, чему следует консолидироваться. И это совсем не длительный срок. Разве Западная Европа за тридцать лет обрела свои нынешние, окончательные разграничивающие ее рамки? Разуме-

ется, нет. А если положение таково, то не стоит предъявлять со злым умыслом высокие требования к народам этого региона, которые и сами не отрицают, что в некоторой мере отошли от прямолинейного, не сопряженного с глубокими потрясениями и обладающего большими перспективами пути европейского демократического развития. И тем более нельзя отказываться от возможности консолидации этого региона, ведь после тридцатилетнего жуткого хаоса ныне уже ясно вырисовывается путь консолидации, и после взаимной ненависти, оккупаций, гражданских и истребительных войн четко проступают границы межу стабилизирующимися национальными рамками. Здесь необходимо одно: чтобы опрометчивые и насильственные решения не повернули весь этот грязный поток назад. Консолидации, разумеется, можно и помешать, ведь этим регионом она овладевает не с силой стихии, сметающей все и вся на своем пути, а как деликатное, осмотровое и легко сокрушимое человеческое усилие, направленное против сил страха, глупости и ненависти. Акцент здесь ставится на том, что в этом регионе *возможна* консолидация.

Эту возможность выше мы обосновали тем, что границы между нациями этого региона начинают окончательно определяться. Все это так, заметит кто-то, но где гарантии того, что в условиях лишнего какого-либо постоянства региона эта новая формирующаяся ситуация опять не разрушится через несколько десятилетий и не уступит место абсолютно новым национальным образованиям?

Уже сам этот вопрос свидетельствует о полном незнании восточноевропейского политического развития.

*Завершенность процесса формирования наций  
в Восточной Европе*

В ВОСТОЧНОЙ, как и в Западной Европе, число наций за последнее тысячелетие мало изменилось. В Восточной Европе, скажем, шестьсот лет назад, в 1300–1350 гг. существовали польская, венгерская, чешская, сербская, хорватская, литовская, румынская, болгарская и греческая нации. Со временем, в период 1400–1800 гг. две импровизированные военно-политические формации – Османская империя и империя Габсбургов – попытались создать здесь властные образования, независимые от живущих здесь народов. Хотя им и удалось на какое-то время подмять под себя эти нации и приостановить их политическое развитие, тем не менее они не смогли ни искоренить ни одной из них, ни путем их объединения создать какое-либо новое национальное образование. С рождением национальных движений Нового времени оба эти предприятия провалились, и живущие здесь более древние нации, хотя и, так сказать, в потрепанном состоянии, но все же «выплыли на поверхность». Сегодня, оглядевшись вокруг, мы увидим в этом регионе в основном те же самые нации, что и шестьсот лет назад. Некоторые изменения состоят в том, что хорватская и сербская нации объединились, и сложившаяся таким образом югославская общность привлекла к себе несколько славянских народов, неопределенных в национальном отношении, прежде всего, словенцев. Румынская нация стала более единой, чем раньше, а греческая нация выпала из русла политического развития Восточно-Римской империи. Возникновение новых национальных образований или нечто подобное этому имело место всего в четырех случаях. На прежней территории Северной Венгрии национальное сознание пробудилось в словаках, и вместо венгерской нации они присоеди-

нились к чешской: ныне во всем этом процессе остается открытым лишь вопрос о том, насколько резка граница, сохраняющаяся между чешской и словацкой национальными рамками. Кроме этого, на различных буферных территориях сформировались эстонская, латвийская и албанская нации, исторические предпосылки чего также восходят к средним векам, однако возможность создания государства открылась перед ними лишь в начале XX в. И в завершение, в ходе новейшей истории литовская, латвийская и эстонская нации вошли в состав наднационального государственного образования – в состав Советского Союза. Дальнейший процесс образования наций в Восточной Европе не имеет никаких реальных шансов. Все это, однако, довольно скромные перемены, и не в большей мере, в какой изменилось установившееся число наций в Западной Европе, где с 1300 г. в качестве новых образовались швейцарская, португальская, бельгийская и голландская нации, англичане и шотландцы объединились и стали британцами и т. д. Более значительная перемена в Восточной Европе состоит в том, что ныне нации разделены между собой не по исторически сложившимся границам, а по границам этническим или же, упрощая ситуацию, можно сказать, что в Восточной Европе нации складываются из совокупности людей, говорящих на одном языке. Это, разумеется, не означает, что на этих территориях не могут жить языковые меньшинства и не могут существовать языковые островки; дело в том, что стабилизацию разграничения наций в этом регионе следует искать не по линии исторических границ, как в Западной Европе, а по линии языковых границ. Все попытки, направленные на то, чтобы по западному образцу и на основе исторического единства наполнить единым национальным сознанием живущие здесь многонациональные народы, – и прежде всего это польский, венгерский и чешский эксперименты, – с

треском провалились, и сегодня это приблизительно так и расценивается. Интересно, что в настоящее время с надеждой на успех проводится один-единственный эксперимент подобного рода, который сверх языковых границ обладает и притягательной силой для национальных рамок, однако все это происходит не на исторической основе, а всецело на основе объединяющей силы демократической освободительной борьбы, и это *югославский* эксперимент. Ядро нации и здесь создается языковым единством, однако та роль, которую завоевала себе югославская нация в деле освобождения Европы, сегодня сверх языковых рамок обеспечивает для нее и притягательную силу. Естественно, баланс этого успеха может быть подведен лишь в исторической перспективе, однако наряду с этим при сопоставлении этого успеха с неудачами трех исторических государств мы должны согласиться с Ортегой, который, сравнивая период расцвета английской империи и период упадка испанской империи, отмечает, что нации объединяет не только общее прошлое, но в той же мере и общее будущее, то есть такая перспектива, которая придает престиж, оптимизм и воодушевление совместным планам и начинаниям общности.

### *Исторический статус-кво и этнические границы*

Исходя из вышеуказанных констатаций, нам нужно найти путь консолидации этого региона, а именно, с одной стороны, принципы, с другой – те практические методы, с помощью которых может начаться этот процесс и вновь нормализоваться положение, при котором государство и нация опять станут понятиями с аналогичным смыслом. Все те, кто начнут заниматься консолидацией этого региона, в скором времени почувствуют себя на грани поме-

шательства, поскольку попадут в водоворот утверждаемых с различных сторон принципов и аргументов. Однако все это лишь оптический обман. Если мы осознаем тот исторический процесс, который был решающим в этом регионе, то нам должно быть ясно, что в Центральной и Восточной Европе любая проблема с границами, которая в полном смысле слова является проблемой, возникает из противостояния двух точек зрения: *первая исходит из какой-либо исторической ситуации, статус-кво, исторической чувствительности или потребности, вторая – из этнической, языковой принадлежности*. И проблема повсюду состоит в том, что там, где языковой национализм делает спорным данное сложившееся положение, государственные границы требуется переместить на языковые границы, но при этом нужно принять во внимание и то сопротивление, которое означают исторические связи, исторические чувства и сложившееся положение. Таким образом, сведя вопрос к его сути, мы сможем вместе с тем исключить все те зловерные и общественно опасные предрассудки, которыми обычно затуманивают существующие в этом регионе вопросы о границах.

*Несостоятельность экономических, транспортных, стратегических и иных аргументов*

СОГЛАСНО первому и наиболее распространенному предрассудку, в этом регионе нельзя установить справедливые границы, поскольку имеется такое множество имеющих под собой определенную основу противоположных точек зрения, что какая-либо из них обязательно окажется ущемленной. На самом же деле существует один-единственный аргумент: удовлетворительной может быть та граница, которая сообразуется с национальной принадлеж-



ностью, а в Европе это означает какой-либо исторический статус-кво или языковые границы. Все остальные т. н. аргументы, исходящие из географического расположения, экономики, стратегии, интересов «выравнивания территории», транспортных сообщений и Бог знает, еще из чего, которые в самом невероятном сочетании принято приводить в связи с вопросами о границах, на деле полностью несостоятельны, и их широкое использование может стать источником величайших бед. К этим аргументам, кажущимся на первый взгляд «практическими», «рациональными», «объективными», надо подходить с большой осторожностью. Абсурдный характер новых границ в экономическом, транспортном и иных отношениях всегда охотно иллюстрируются тем, что граница подчас проходит посередине крестьянских домов и дворов, и население отдельных деревень может попасть на рынок близлежащего города, только имея при себе разрешение на переход границы. Излюбленным приемом венгерских ирредентистов было привезти на границу какого-нибудь наивного иностранца и показать ему крестьянский дом, через кухню которого проходит граница, при виде чего иностранец в недоумении заявлял, что такое положение никак не приемлемо, и на следующий же день это заявление трактовалось как великая победа идеи венгерского исторического государства. Однако не стоит забывать, что такие ситуации имеют место там, где граница фиксирует не издавна сложившееся положение, к которому приспособилась жизнь, а последствия нового положения. В Центральной и Восточной Европе довольно часты случаи, когда большинство населения города, расположенного на границе какого-либо языкового региона, говорит на языке этого региона, а население окрестностей города частично или в большинстве говорит на другом языке. В таких ситуациях начина-

ется отчаянное соперничество между двумя вариантами: или отделить город от его языковых сородичей в угоду его окрестностей, или эти окрестности отделить от их языковых сородичей в угоду горооу. Как бы странно это ни звучало, в таких случаях мы должны сказать, что с учетом долгосрочной политической перспективы самое умное дело – принять третий вариант: придерживаться *языковых границ* и на этой основе, если потребуется, отделить *друг от друга* город и его окрестности. Но и первые два варианта все же гораздо лучше, чем то, когда в результате *согласования* этнических, экономических или иных аспектов приходят к решениям типа «ни рыба, ни мясо», как, например, в случае «вольного города Данцига». Ведь задача состоит в *разграничении* наций, следовательно, любое решение, которое сразу же или в течение определенного времени не присоединяет данную территорию к той или иной стране, способно лишь привлечь внимание к возможности начать спор. Примирение, которое возникнет в результате удовлетворительного разграничения национальных рамок, впоследствии может быть соответствующим образом регламентировано и в отношении перехода границы крестьянами, направляющимися на городской рынок. То, что это так, подтверждают два наглядных примера. В Западной Европе это пример Женевы, которую со всех сторон окружают франкоязычные территории, и сам Бог создал ее для того, чтобы стать столицей Савойи [41]. История присоединила Женеву все же не к Франции, а к Швейцарии, что вызывает массу транспортных и экономических проблем, более того, в связи с этим возникла и международная правовая коллизия, однако все это не вызывает никаких политических проблем между французской и швейцарской нациями. В Восточной Европе подобный пример имеет место в случае г. Шопрона, который на основе результатов плебисцита был вновь

присоединен к Венгрии [42], в то время как все прилегающие к нему немецкоязычные территории, так называемый Бургенланд, отошли от Венгрии к Австрии. Венгры смирились с отторжением немецких деревень, поскольку нашли успокоение в том, что знаменитый памятниками венгерской истории город остался в границах их страны. В результате этого – хотя Шопрон во всех экономических и рациональных аспектах является «естественной» столицей Бургенланда – австрийско-венгерская граница стала одной из немногих границ 1918–1919 гг., на которой установились психологическое примирение и уравновешенность. То, что в этом или подобных случаях две нации примирятся друг с другом или начнут ожесточенный спор, обусловлено не тем, что население некоей деревни X. может попасть на рынок некоего достославного города Y. только имея разрешение на переход границы, а тем, чтобы в столицах и школах одной страны у политиков, учителей истории и школьников не было причин сокрушаться по поводу потери национального памятника, стоящего на главной площади достославного города Y., говорящего на языке своей нации, и чтобы в столице другой страны у таких же людей не было оснований отчаиваться из-за того, что в отторгнутых деревнях детей в школах заставляют петь чужие им народные песни.

Все это ни в малейшей степени не насмешка: эти чувства столь же достойны уважения, как и те, что связывают французов с шартрским собором или овернийскими [43] народными песнями, и одной из главных целей наших рассуждений является показ того, насколько эти моменты становятся решающими факторами в раздорах этого региона. Мы ни в коем случае не ставим под вопрос справедливость тезиса, высказанного многими выдающимися, высокообразованными авторами, согласно которому все раздоры по сути вызваны помещиками, милитариста-

ми и капиталистическими монополиями, и этот верный тезис мы хотели бы дополнить лишь тем подтвержденным на опыте фактом, что в Центральной и Восточной Европе эти махинации удаются тогда, когда их поддерживают учителя истории и собиратели народных песен: без них капиталистические монополии и их приспешники бессильны. Лучший пример тому – империя Габсбургов, которая была Эльдorado для помещиков, Землей Обетованной для капиталистических монополий и раем для женщины, и все же развалилась, потому что учителя истории и этнографы не поддержали ее. «Разумность», «практичность» часто утверждаемых экономических, транспортных и др. аргументов – одна лишь видимость. В сегодняшних проекциях эти страны, что и говорить, малы для того, чтобы самим по себе создать устойчивые географические, экономические, стратегические или транспортные единства. При нынешних масштабах мировой войны каково может быть военно-стратегическое значение того факта, что граница между двумя малыми восточноевропейскими странами будет перенесена, например, с Малых холмов на Большую гору? Вероятность того, что этот факт когда-либо будет иметь стратегическое значение, составит, скажем, десять процентов, а того, что это значение будет благотворным с точки зрения будущего человечества – самое большее пять процентов. Вероятность же того, что из обид меньшинства, отторгнутого от своей нации по причине установления стратегической границы, возникнет взрывоопасная почва для раздоров – стопроцентна. Из-за того, чтобы какая-либо страна не была вынуждена экспортировать лес или нефть, ей вряд ли стоит отказываться от мира с соседями. И это касается любой границы, которая из практических и рациональных соображений присоединяет к какой-либо стране территории с инонациональным населением.

Граница – это прежде всего средство стабилизации, и если стабилизация случайно возникает не на основе рациональных факторов, то это не трагедия даже в том случае, если сама граница в экономическом или географическом отношении представляется абсурдной.

*Предубеждение в связи со смешанностью  
населения Восточной Европы*

ДРУГИМ предубеждением, более того, чаще всего намеренным искажением является утверждение, что в этой части Европы из-за смешанности населения нельзя установить справедливые границы. В действительности же нет и речи о том, что везде, где существует этническое смешение, возникают проблемы. Языковые островки, особенно если они возникли в результате переселений, сами по себе не означают проблемы: проблема появляется там, где за языковым островком кроется историческое владение или историческая потребность. Иными словами, смешанность населения становится проблемой только там, где в споре о территории с населением такого характера сталкиваются или переплетаются два основных аспекта – исторический (статус-кво) и этнический, и смешанность затрудняет переход от исторической границы к языковой или же дезориентирует в лабиринте различных исторических и языковых запросов. Но таких ситуаций во всей Центральной и Восточной Европе всего лишь две-три. Таким был случай данцигского коридора, таков в настоящее время прежде всего вопрос о Трансильвании и таков греко-болгарский спор [44] о северном побережье Эгейского моря. В отличие от этого на наиболее смешанной территории Центральной и Восточной Европы, в Банате сербы и румыны сравни-

тельно легко определились в отношении своего окончательного разграничения, и смешанность здесь не вызвала проблем; на другой довольно смешанной территории, в Бессарабии спор о границе был лишь в незначительной степени обусловлен наличием смешанности, возникшей в результате разного рода переселений.

### *Федерация – не панацея от всех бед*

НЕ МЕНЕЕ опасным является предрассудок относительно того, что в этом регионе не имеет смысла особо осмотрительно определять линии границ хотя бы потому, что решением здесь должно стать не улаживание споров о них, а создание некой наднациональной федерации, в рамках которой границы между отдельными нациями потеряют свое значение. Представление это опасно, поскольку в этом регионе уже существовала наднациональная федерация в форме империи Габсбургов, которая развалилась, оставив этот регион на произвол судьбы, как раз потому, что не смогла должным образом разграничить объединившиеся в ее составе нации. Федерация – это своего рода бракосочетание: нельзя вступать в брак с нерешенными проблемами, поскольку суть его в новых перспективах, которым сопутствует и масса новых проблем, а не в том, чтобы с его помощью устранить от решения тех или иных невыясненных вопросов. Любая будущая федерация станет функционировать если только вначале в отношении границ установится та минимальная стабильность, которая является предварительным психологическим условием объединения. Нации тогда и только тогда объединяются в федерацию, когда у каждой из них имеется немало того, за что они опасаются, и потому они ощущают необходимость безопасности,

обеспечиваемой федерацией. В этой связи использование примера Советского Союза не настолько однозначно, как это кажется на первый взгляд. Безусловно, стоит учиться у Советского Союза терпению и организационным решениям в отношении национальностей, однако это не означает, что проблема Центральной и Восточной Европы по своей сути сходна с ситуацией, существующей в СССР. В Центральной и Восточной Европе друг другу противостоят исторически сложившиеся нации, границы между которыми стали лабильными в новейшие времена, однако как нации они обладают исторической экзистенцией, корни которой уходят в далекое прошлое, но при схожести их судеб и характеров в их жизни не имели места *объединяющие* исторические воздействия и ситуации. В Советском Союзе все происходило совершенно по-иному. Здесь как данность существовала исторически сложившаяся империя, Российская империя, которая до 1917 г. хотя и не сплавила в единое целое свои национальные меньшинства, но все же имела уходящие в глубь истории традиции объединения государства. Эту исторически уже существовавшую империю сплотил в монолитную нацию целый ряд огромных по масштабу и значению исторических событий – социалистическая революция, затем отечественная война. После этих событий данная единая нация без тревог и забот предоставила объединившимся в ней нациям и национальностям полную языковую и политическую автономию и обеспечила им даже право на отделение, как и Британская империя своим доминионам [45]. В действительности же, как и Британская империя, она серьезно не опасалась этого отделения. В Центральной и Восточной Европе, если и будет иметь место в буреющем какое-либо объединяющее и сплачивающее воздействие или же сходное с ним по ценности длительное развитие, этот процесс, несмот-

ря на сравнительно малую территорию региона, окажется бы в противостоянии с гораздо более жесткими историческими реалиями, чем – за одним-двумя исключениями – различные национальные меньшинства и племена бывшей царской империи.

*Политические и моральные лозунги  
как аргументы в спорах о границах*

Наряду с разного рода дезориентирующими принципиальными и теоретическими трактовками еще больший вред наносят связанные со спорами о границах политические лозунги.

Вредоносным предрассудком является подход приверженца статус-кво, который считает, что идеальных границ быть не может, следовательно, нужно стабилизировать то, что дано, и что вместо вопроса о границах следует заниматься скорее поиском путей к душевному примирению; не менее вредоносен и подход ревизиониста, согласно которому жизнь – это вечное движение и изменение, и границы нельзя зафиксировать на вечные времена. Европа полностью созрела для того, чтобы ее территориальные разграничения если и не навечно, то, во всяком случае, на длительное время стабилизировались, и это одновременно является условием единства Европы и ее дальнейшего мира. То есть в этом отношении мы должны быть приверженцами статус-кво. Однако стабилизировать, причем достаточно быстро, возможно лишь разумно установленные и психологически приемлемые границы, к которым легко привыкнуть, а в Европе такими границами могут быть лишь те, которые совпадают с границами национальных единств. При наличии неудовлетворительных границ безнадежно рассу-



дать о душевном примирении, однако хорошие границы следует защитить от динамики «вечного движения».

Не менее вредное явление – перенесение споров о границах в русло морализирования. Если мы признаем, что путь консолидации в этом регионе состоит лишь в том, что государственные границы следует преобразовать в соответствии со сдвинувшимися национальными границами, то мы должны сознавать, что речь здесь идет прежде всего не о *моральном* удовлетворении, а о фиксации определенных объективных данностей. Следовательно, в связи с локальными спорами о границах необходимо как можно скорее исключить тот морализирующий подход, который постоянно муссируется перед лицом международных форумов живущими в этом регионе народами. Моральный арсенал политически обанкротившихся, проигравших войну народов находит свое выражение в декларировании *справедливости*, в связи с чем они апеллируют к благородному, традиционному чувству справедливости той или иной великой державы, ее великодушию, всегда проявляемому к униженным и оскорбленным, и хотят того, чтобы при заключении мирных договоров ни в какой форме не проявлял себя властный аспект. Более кредитоспособные в политическом отношении страны, страны-победители или во всяком случае считающие себя таковыми ссылаются на свои *заслуги* и предъявляют счета в форме территориальных требований. Однако так называемая справедливость, как и так называемые заслуги, на деле служат секирой, которой они размахивают с тем недобрым умыслом, чтобы во взаимных спорах, которые по сути являются исключительно спорами о границах, добиться более выгодных позиций. Задача же консолидации абсолютно независима как от любой возвышенной справедливости, так и от самих по себе заслуг. Речь здесь идет об объективной задаче, о признании объективных

общественных и политических фактов и подведении итогов. Бесспорно, что при решении вопроса о границах справедливость, моральные принципы и заслуги имеют свое значение, однако лишь в той мере, в какой эти принципы и заслуги способствуют созданию условий стабилизации. Более конкретно: существует *минимальная мера* справедливости, без которой нельзя рассчитывать на стабилизацию и душевное примирение, то есть этот момент ни при каких условиях нельзя сбрасывать со счетов. Но существуют и заслуги, учитываемые в конкретной исторической и политической ситуации, которые *в определенной мере* признаются обеими сторонами в качестве исходного момента при урегулировании положения. Именно в такой мере эти факторы могут быть приняты во внимание.

### *Право народов на самоопределение*

В ЭТОМ же духе мы должны подходить и к праву народов на самоопределение. Вопрос состоит не в том, какими доводами мы руководствуемся в трактовке этого права и какими моральными аргументами обосновываем его, а в том, способно ли оно содействовать установлению порядка в Центральной и Восточной Европе.

Уже на первый взгляд становится ясным, что этот принцип имеет большое значение для решения проблем Центральной и Восточной Европы. Как мы уже отмечали, за территориальным хаосом в Центральной и Восточной Европе кроется то обстоятельство, что нации этого региона превратились в совокупность людей, говорящих на одном языке. Следовательно, тот, кто хочет должным образом разграничить эти нации, должен вместо исторических рамок придерживаться языковых. То есть смысл права на самоопределение в этом регионе состоит или же должен со-

стоять в том, чтобы с его применением могла разрешиться та своеобразная центрально- и восточноевропейская ситуация, когда масса людей в историческом плане относится к общностям, не соответствующим их национальной принадлежности. Право народов на самоопределение было бы хорошо использовать для того, чтобы с его помощью люди могли заявить о своей национальной принадлежности. К сожалению, в 1919 г. миротворцы не были способны к последовательному применению признанного ими основного принципа и закреплению новой, действующей на века национальной карты Центральной и Восточной Европы. В этом в определенной мере сыграло роль их политическое бессилие, а также то обстоятельство, что большую часть типичной для Центральной и Восточной Европы проблемы перехода от исторических границ к границам языковым Западная Европа просто-напросто не поняла. С другой стороны, она осознавала роль права наций на самоопределение, но смысл его трактовался ею не в связи со спорами о границах, а в связи с отделением целых наций или обретением ими независимости, как, например, образование Соединенных Штатов, отделение Бельгии от Нидерландов и т. д. Исходя из этого, Западная Европа с радостью и признанием наблюдала за тем, как отдельные нации Восточной Европы, не имевшие ранее своего государства или же потерявшие свою государственную самостоятельность, как Польша, Чехословакия, Югославия, превращались в самостоятельные государства. Однако когда в этом регионе начались споры о границах, которым не было видно конца, и все вокруг начали требовать проведения плебисцитов о принадлежности различных смежных территорий, западноевропейские миротворцы растерялись. Ведь они утверждали право наций на самоопределение с той целью, чтобы на этой основе произошло освобождение целых наций, а не с целью того, чтобы любое село или город,

если им заблагорассудится, начали требовать плебисцита, чтобы перейти из состава одной нации в состав другой. По западноевропейским воззрениям, основой которым служило исторически стабильное формирование государственных рамок, непрерывные плебисциты и сопутствующие им тревожения отнюдь не представлялись желательным методом с точки зрения установления мира. И это был тот пункт, где принцип самоопределения наций не был однозначно скоординирован с той конкретной потребностью, для удовлетворения которой его следовало использовать в Центральной и Восточной Европе. К тому же миротворцы 1919 г. не смогли последовательно и по всем линиям провести в жизнь право на самоопределение, от чего они с радостью и отказались. Такого рода нарушение принципов сыграло свою роль в формировании немецкой политики национальных обид и, следовательно, в возникновении гитлеризма. Однако для гитлеризма ссылки на право самоопределения были лишь пустым предлогом, использовавшимся в интересах маниакальной властной политики, что позднее завершилось дискредитацией самой идеи самоопределения. Сегодня даже не стоит и упоминать о ней, поскольку сразу же найдется ответ: хватит с нас разговоров о самоопределении наций, мы слишком много слышали об этом в речах Гитлера.

### *Смысл плебисцитов*

СТОИТ сразу же отметить, что право наций на самоопределение означает не *Мюнхен*, а *плебисцит*. Бесспорно, однако, что в настоящее время и к этой теме проявляется значительное недоверие. Факт, что если под правом наций на самоопределение мы понимаем превращение плебисцита в некий постоянный и по желанию вводимый в

действие международный правовой институт, то тогда в нем действительно нет никакой необходимости. Любая консолидация начинается при создании такого положения, когда по определенным основным вопросам не возникает споров. В международном плане таковым является прежде всего вопрос о границах. То есть совсем не желательно, чтобы когда-либо и где-либо он мог стать предметом спора. Что касается уже ведущихся или вновь возникающих споров, то необходимость в этом существует далеко не всегда: в Центральной и Восточной Европе на основании статистики или ряда сводных статистических данных обычно без особых сложностей можно определить этнические, языковые границы. Просто-таки вредно проводить плебисцит на таких, например, территориях, где малочисленная группа крупных землевладельцев, говорящих на ином языке, может повлиять на голосование большей частью отсталого населения, хотя исходя из опыта центрально- и восточноевропейского исторического развития, можно не сомневаться, что процесс образования наций и здесь основывается на языковой принадлежности. С этой точки зрения сомнительна ценность силезского и восточнопрусского плебисцитов [46], засвидетельствовавших на территориях, несомненно польскоязычных, но испытывающих давление со стороны немецких землевладельцев и капиталистов, наличие большой массы пронемецки настроенного населения, в то время как таковым по языку и психологии была, по всей вероятности, лишь его незначительная часть, большинство же населения было польскоязычным, но с еще не сформировавшимся самосознанием. Подлинная сфера плебисцита — это проведение голосования не на больших территориях с однородным по составу населением, а прежде всего в городах, расположенных на границах языковых территорий и ставших спорными. Это

особо важно потому, что в процессе перехода от исторической границы к границе языковой наиболее серьезной и трудно разрешимой психологической проблемой является усмирение исторического чувства привязанности к отдельным территориям, которое в большинстве случаев распространяется на те или иные города, их население, исторические памятники и свидетельства прошлого. В таких случаях с психологической точки зрения особо важно, чтобы население данного города посредством плебисцита само вынесло решение, поскольку независимо от того, будут ли его результаты противоречить или соответствовать историческим связям, в любом случае это будет содействовать душевному успокоению и примирению.

Таким образом, если мы намерены использовать плебисцит в целях стабилизации Европы, то нам нужно особо обратить внимание на два момента: во-первых, не следует проводить плебисцит там, где языковые границы однозначны, а по возможности лишь в отдельных критических точках таких границ. Во-вторых, нам не следует забывать, что плебисцит имеет смысл лишь тогда, если он служит средством стабилизации, а не средством нарушения спокойствия; иными словами, мы не должны использовать плебисцит в целях возбуждения спора о стабильных границах, и наряду с этим нам необходимо создать такое положение, чтобы ни при каких обстоятельствах плебисцит не проводился заново на одних и тех же территориях. В социологическом плане мы можем признать, что результаты вторично проведенного плебисцита могут не соответствовать предыдущим, однако в плане международного права нам следует придерживаться той аксиомы, что однажды проведенный плебисцит является основополагающим и повторение его не допускается. Если мы сделаем в этом уступку, плебисцит перестанет быть средством консолидации и тем самым потеряет всю свою ценность.

*Обмен населением и депортация*

ПРИЗНАНИЕ того, что языковые границы в Центральной и Восточной Европе превратились в средства разграничения наций, повлекло за собой новое и страшное по своим воздействиям решение: обмен населением и депортацию. Этот метод был впервые применен в греко-турецком конфликте, и хотя реализация его проходила в сумбурной и негуманной форме, результаты оказались неожиданно позитивными и склонявшими к подражанию: продолжавшаяся до тех пор веками и по всем приметам обещавшая длиться до бесконечности турецко-греческая вражда всего лишь за десятилетие полностью прекратилась. В ходе Второй мировой войны Гитлер также использовал возможность обмена населением, но таким образом, что с целью расширения немецкой политической границы переселял немецкоязычное население далеких от Германии территорий, депортируя при этом их коренное население, на линию немецкой языковой границы. Он вернул немцев и с таких территорий, где они как меньшинство не вызывали ни малейшей проблемы. Однако, поселяя их на границе немецкой языковой территории и при этом вытесняя или уничтожая местное население, он тем самым сеял зерна глубочайшей вражды. Проводившееся таким методом переселение вместо того, чтобы стать источником стабилизации, превратилось в источник нестабильности.

Если бы использование гитлеровского изобретения Объединенными нациями превратилось в постоянную практику, то последствия этого для дальнейшего развития Европы стали бы роковыми. Это означало бы исчезновение той последней точки опоры, что вообще возможна в Европе как таковая при стабилизации границ, а именно: постоянство населения. Нации уже больше не надея-

лись бы, что когда-нибудь получат определенные территории, а выжидали бы таких благоприятных для них исторических ситуаций, когда становилось возможным выселение иноязычного населения с территории какого угодно размера. Не следует полностью исключать возможность обмена населением, но если мы не хотим превратить Европу в проезжую дорогу с толпами бездомных, то как раз время подвести те итоги в форме конкретных принципов относительно метода обмена населением, которые проистекают, с одной стороны, из турецко-греческого обмена населением, с другой стороны, из подобных случаев, имевших место с того времени. Исходный момент здесь состоит в том, что обмен населением оправдан в том случае, когда на определенных территориях следование этнической границе физически невозможно, а из-за обострения противоречий исторически сложившуюся ситуацию или статус-кво нельзя сохранять. Здесь следовало бы однозначно констатировать, что обмен населением может проходить только на основе взаимности, на основе решения со стороны национальных общностей и при их контроле и что если этот процесс однажды уже прошел при оговоренных условиях, то повернуть его вспять нельзя. Если эти положения не будут твердо и однозначно констатированы, то обмен населением, как обоюдоострое оружие, повернется против тех, кто взял его в руки, и тогда из средства европейской консолидации оно превратится в исходный пункт самой оголтелой анархии.

Однако возникает резонный вопрос, не пустая ли теория и утопия формулировать принципы межународной консолидации, когда заключение мира и определение границ «в силу вещей» происходит в полном соответствии с интересами держав и соотношением сил? Этот вопрос приближает нас к самой критической точке международной жизни, а именно к технике заключения *подлинного мира*.



## 7. ТЕХНИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОДЛИННОГО МИРА

ВЕЛИКИЙ итальянский историк Гульельмо Ферреро наиболее метко обобщил ту необычайно трудную и противоречивую задачу, которая составляет подлинное внутреннее содержание любого заключения мира. «Любой мирный договор содержит в себе какое-либо принуждение для побежденных. Но наряду с этим элементарное требование совести гласит, что обязанность может рождаться только при свободном изъявлении согласия... Подлинное заключение мира, таким образом... становится возможным только при решении противоречия, состоящего в том, что акт, принудительный по своей природе, должен дополняться достаточными свободами, а требуемые жертвы – достаточными преимуществами, чтобы сам договор мог стать принятием моральных обязательств и чтобы в интересах побежденных было скорее соблюдать его, чем пытаться нарушить» [47]. Это необходимо для того, чтобы побежденным имело смысл своим содействием придать дополнительную силу законности той, пока еще всецело подчиненной властным аспектам ситуации, которая сложилась в результате их поражения в войне. Не надо думать, что для тех, кто победил в войне, не проблема принудить побежденных к подписанию мирного договора. Мы настолько привыкли к мирным договорам-диктатам, что не замечаем того странного атавизма, что в условиях возможности диктата все еще настаиваем на формах договорного заключения мира, а также не видим того факта, что и сам диктующий свои условия победитель вынужден отказаться от очень многого в интересах того, чтобы навязать побежденному свой мир в договорной форме. Речь здесь и вправду идет об атавистических элементах: об атавизме XVIII в., располагавшего более

развитой, по сравнению с нынешней, внешнеполитической и дипломатической культурой.

### *Закат науки заключения прочного мира с XVIII века*

ПОСЛЕ Ферреро и других мыслителей все более распространенным стало убеждение, что общепринятое во второй половине XVII в. и в XVIII в. ведение войны – методичное, щадящее людские и материальные ресурсы, основанное на собственных фуражных и продовольственных запасах армии, вовлекающее в боевые действия только профессиональных военных и максимально ограничивающее территорию этих действий – являет собой высшую и непревзойденную с тех пор степень гуманизации войны. Характерный пример – заокеанские англо-французские войны [48], которые почти непрерывно велись в середине XVIII в., при этом между Лондоном и Парижем оставалась возможность передвижения, а также сохранялись общественные и научные связи. Можно негодовать по поводу такого миропорядка, в котором солдаты, утопая в грязи и слякоти, проливают кровь, сражаются насмерть на полях войны, а элегантные дамы и господа, представители культурной элиты воюющих стран продолжают общаться и поддерживать светские отношения. Однако от этого может прийти в негодование лишь мир, организованный таким образом, что из его жизни полностью исключена война. Если же это невозможно, то мы не можем отрицать, что регулярное, ограниченное конкретным военным плацдармом ведение войны, носящее характер поединка, все же лучше, чем атомная война. Поединок – это глупый, грубый, средневековый метод, однако по сравнению с кулачным правом он представляет все же более высокий

уровень развития цивилизации.

Такому гуманизированному ведению войны, имеющему характер поединка и обусловленному определенными правилами игры, соответствовала возникшая в международном праве и политической атмосфере XVIII в. система заключения мира, *исключающего эмоции* и основывающегося на договоренности, взаимных территориальных уступках и компенсациях. Все это было встроено в исторически сложившуюся однородную политическую культуру европейской монархии и европейской аристократии.

И в этот порядок жизни, где войны были лишены эмоций, а заключение мира – мщения, ворвался наполеоновский метод ведения войн – насильственный, ставящий все на карту, черпающий запасы исключительно на театре военных действий и нацеленный на уничтожение, а также на террористский диктат при заключении мира. Двадцать лет армии Наполеона бороздили Европу во всех направлениях, и лишь через двадцать лет легитимные монархии оказались в состоянии устранить возникший в результате этого хаос. Когда после этой известной предыстории в 1812 г. в Париже и в 1815 г. на Венском конгрессе нужно было заключать мир, в воздухе уже частично ощущался этот особый настрой, который позже, в 1919 г. имел столь губительные последствия и который может стать столь же роковым и в 1946-м: слишком много эмоций и слишком много негодования скопилось у людей к пораженному хищнику, чтобы не поддаться искушению заставить побежденную нацию заплатить по счету, предъявленному в духе этого оправданного негодования, невзирая на то, возможно ли это физически и не станет ли в результате этого иллюзорным заключение мира. Наряду с этим как продолжение хаоса наполеоновского режима родились самые свирепые империалистические

планы, особенно среди толпящихся за спинами победителей различных второстепенных и третьестепенных держав. Таким образом, имевшиеся в XVIII в. условия заключения мира, исключавшего эмоциональный подход, были уже невозможны: слишком много насилия; слишком много мародерства и слишком много диктата наложили свою печать на триумфальное шествие Наполеона, чтобы мысль о возвращении долга не стала столь очевидной. В этой ситуации, как это показал Ферреро в своей блестящей работе «Reconstruction», Талейран был тем, кто понял, что опираться на разлагающуюся общую политическую культуру аристократии уже недостаточно, и что весь процесс заключения мира должен базироваться на более глубоких *принципиальных* основах. «Для того, чтобы обставить какое-либо дело, которое должно быть долговременным и принятым без возражений, нужно действовать на принципиальной основе. Если у нас есть *принципы*, мы сильны и не встретим сопротивления или же при его наличии вскоре сможем с ним совладать», — цитирует Ферреро Талейрана [49]. Эту основу Талейран находит в принципе *легитимности*, который ему удастся провести через венский конгресс в качестве директивного и практически реализуемого.

Современное общественное мнение склонно видеть в принципе легитимности лишь происки реакции, поскольку связывает это понятие со Священным союзом. Однако это оптический обман. Легитимность была изобретением дипломата и либерала Талейрана, а Священный союз — творением фантаста царя Александра [50] и инструментом реакционера Меттерниха. Принцип легитимности в период своего зарождения ни в коей мере не обладал ролью еушителя либеральных идей, а был тем средством, с помощью которого можно было стабилизировать погружившиеся в анархию страны Европы и навести порядок в

ее полностью запутанном территориальном статусе. Когда по хоеу всех наших рассуждений мы не раз отмечали, что удовлетворительной границей для Западной Европы является граница историческая, то мы говорили по сути о том, что для урегулирования территориального статуса Западной Европы ей необходим не более чем принцип Талейрана, а именно, историческая легитимность.

Благодаря этой принципиальной основе после Парижского мира и Венского конгресса в международной политической атмосфере Европы за короткое время вновь восстановился порядок, и осужденная и побежденная Франция также вскоре вернулась на свое естественное место в европейском ансамбле. В аспекте внутренней политики идея свободы на некоторое время была отеснена на задний план, но начиная с 1830 г. она начала пробуждаться со все большей силой и достигла стабильных результатов, невидимым фоном которых была возникающая в 1815 г. устойчивость международной системы. Эта система пережила ряд кризисов периода 1848–1871 гг., и в одних ее пунктах возникли позитивные изменения, в других – негативные, однако в основе своей она сохранилась до 1914 г. и в конечном итоге обеспечила для Европы столетие, в ходе которого нормальным состоянием большей частью был мир, а война была исключением.

К 1914 г. аристократическая Европа, которая смогла заключить мирные договоры 1814–1915 гг., пришла в упадок, погрузилась в хаос Первой мировой войны и в 1918 г. потерпела полный крах. Тотальная народная война вызвала мощный всплеск массовых эмоций, и, таким образом, мирные переговоры проходили под знаком получения сатисфакции и осуждения преступников. Вредоносное влияние этого еще в большей мере, чем в 1814 г., была бы способна уравновесить лишь твердая, общая принципиальная основа заключения мира. Особенно в Централь-

ной и Восточной Европе имелись такие территории, где после едва ли не одновременного крушения империи Габсбургов, Османской империи, а также царской России и Германии Югенцоллернов в территориальных вопросах следовало навести порядок таким образом, чтобы он как можно скорее привел к стабилизации и предотвратил повторение войны. Принцип, который соответствовал потребностям того периода в отношении стабилизации, был очевиден: это было право народов на самоопределение, которое мы с уверенностью можем назвать *демократической* формой легитимности. С этой идеей в своем багаже президент Вильсон прибыл в Европу заключать мир. Программа практической реализации, согласно которой Австро-Венгрию следовало разделить и на основе языковых границ создать национальные государства, была также правильной. Многие исследовали то обстоятельство, и выше мы также указывали на него, почему это прибытие из-за океана в удивительно удачно начавшемся и так же на удивление неудачно продолжившемся переломном моменте новой мировой эпохи закончилось столь позорным крахом. Для нас достаточно и того факта, что 1919 г. отличался от 1815 г. тем, что и здесь миротворцы провозгласили определенный принцип, но реализовать его им было не под силу. Они не пошли навстречу четко проявившимся стремлениям к объединению, не ликвидировали созревшие для этого исторические единства, а с другой стороны, при ликвидации не приняли во внимание чувства исторической привязанности к отдельным территориям; наряду с этим в максимальной степени были учтены так называемые географические, стратегические, транспортные аспекты, потребности округления территории и др., точнее, было позволено, чтобы заинтересованные стороны обратились к этим якобы принципиальным аспектам с целью добиться выполнения зачатых в страхе неразумных

пожеланий, как, например, смещения межгосударственных границ с языковой границы и продвижения их вперед до некой «естественной» оборонительной линии и т. д. Причиной самых ожесточенных и самых бесполезных пограничных споров служат такого рода меры, когда какая-либо территория и ее население присоединяются к стране, с которой у нее заведомо нет ни исторических, ни этнических связей, и нельзя ни ожидать, ни предполагать лояльности этого населения по отношению к его новому государству. До 1914 г. в Европе сложилось лишь несколько таких ситуаций: с лотарингскими французами в Германии [51] и с поляками в России и Пруссии. После 1918 г. число таких ситуаций вместо того, чтобы сократиться, увеличилось, и именно *поэтому* урегулирование 1918 г. было плохим, а вовсе не потому, что были плохи его основные принципы. Все это привело к невероятному идеологическому хаосу и страшному разочарованию. В этом хаосе наряду с прочим народился и чудовищный правнук циничного наполеоновского нигилизма – маниакальный нигилизм Гитлера.

Сегодня у нас за плечами Вторая мировая война, и мы пережили такие формы ведения войны, по сравнению с которыми все прежние формы тотальной войны представляются лишь незаконченными экспериментами. Проявления людской жестокости превосходят самую разнузданную фантазию пропаганды ужасов, и возникшие на этой почве эмоции грозят смести все, что стремится к устойчивости и здравомыслию. Таково положение в момент рождения очередного договора о мире: победители и побежденные сели за стол переговоров, чтобы завершить войну. Форма, в которой это происходит, это форма основанного на согласии мирного договора, хранящая память XVIII в. Но что мы можем сделать после объявшего мир ада в интересах того, что-

бы этот мирный договор в какой-то степени воссоздал дух мирных соглашений XVIII в., направленных на примирение, создание равновесия и лояльное выполнение их установок?

*Опасность беспринципности  
и принципы выхода из нынешнего состояния хаоса*

В КАКОЙ-ТО мере воспрепятствовать губительному для мира воздействию пробудившихся и пробужденных эмоций в связи со Второй мировой войной могло бы единство взглядов относительно принципов и их реализации: беспринципность, проявляющаяся время от времени оппортунистическая властная политика еще никогда не угрожали такими опасностями, как в настоящее время. Если в 1918 г., когда существовала принципиальная основа, к катастрофе привело то обстоятельство, что эти принципы в своих конкретных последствиях не были проеуманы до конца и последовательно реализованы, то что мы можем ожидать от нынешней мирной конференции, которая смертельно боится однозначного и обязательного принятия или какой-либо принципиальной основы? Бесполезно наличие общих установок относительно конечных, гуманных и демократических целей, если нет практически применимой принципиальной основы для разрешения основных вопросов заключения мира, улаживания споров о границах. Это центральный вопрос любого мира, поскольку это как раз то, что остается в мирном соглашении неизменным и что должно быть таким, чтобы его позднее нельзя было оспаривать.

В этом пункте возникают два вопроса. Первый касается наличия принципов, которые стоит применить в нынешней ситуации. Второй вопрос связан с общими пред-



ставлениями о способах практического применения этих принципов вопреки интересам и соотношению сил великих держав.

Относительно первого вопроса мы надеемся, что в предыдущих главах смогли довольно однозначно определить те принципиальные подходы, которые должны быть приняты во внимание в данной ситуации; наряду с этим указывалось и на то, что речь здесь идет не о каких-то новых, доктринерских принципах, а о признании уже существующих, ясных и очевидных в отношении своего практического применения. Основной принцип – это демократическая форма принципа легитимности, право наций на самоопределение. В Западной Европе он практически совпадает с исторической легитимностью, с исторически сложившимися границами, которые и там не стоит в наше время тревожить подходом на этнической основе. Однако если мы хотим установить такие границы, которые с демократических позиций можно считать «легитимными» в Центральной и Восточной Европе нам нужно придерживаться такого разграничительного принципа, который действительно отделяет друг от друга живущие в этом регионе нации, а именно языкового, этнического принципа. Как мы видим, речь идет не о прокламировании и не о новых принципах, а о системе исторически сформировавшихся и органически проистекающих друг из друга принципов: такой взаимозависимой системой являются дополняющие друг друга и проистекающие одна из другой принципиальные установки 1815, 1919 и 1946 гг.

Что касается практической реализации, принципиального соглашения требуют вопросы плебисцита и обмена населением. Выше мы уже указывали, что *в отношении обоих вопросов важнейшим моментом является*

обеспечение такого положения, чтобы использование этих факторов служило разрешению проблем, а не их возникновению. В соответствии с этим в отношении плебисцита важно подчеркнуть главным образом следующие моменты: 1) необходимость в плебисците существует лишь там, где этническое положение неоднозначно; 2) плебисцит должен проводиться только там, где население обладает достаточным политическим сознанием; и 3) нельзя допустить, чтобы по вопросу, решенному плебисцитом, проводился новый плебисцит с надеждой на иные результаты. В связи с обменом населением, как мы уже отмечали, важно констатировать следующее: 1) обмен населением должен иметь место только в том случае, если иное решение невозможно; 2) обмен должен быть взаимным, а не превращаться в одностороннюю и непропорциональную по масштабам депортацию; 3) обмен населением должен происходить только на основе постановления и контроля со стороны Объединенных наций; и 4)... если этот обмен будет однажды проведен, то возвращение к исходному положению и повторение обмена не должны иметь места.

### *Принципиальные установки и властные факторы*

БОЛЕЕ сложным представляется второй вопрос, а именно что нам делать с нашими великолепными принципами в условиях наличия властных сил, или же, как это принято считать, как можно предполагать, что при заключении мира могут превалировать не властные установки, а принципиальные позиции? Ответ здесь самый простой: *никак*. Ни в наше время, ни в 1919-м, ни в 1815-м проблема состояла не в том, чтобы

не преобладали властные установки. Мир, разумеется, можно заключать только при преобладании тех властных факторов, которые играют главную роль при несении тягот войны и заключении мира. И в 1815 г. властные факторы не преобладали, они просто были вынуждены проявляться *в рамках, лимитированных принципиальными установками*. Если какая-либо власть каким-либо своим требованием противостояла принципиальным установкам, она получала удовлетворение в ином направлении, то есть там, где эти установки не стояли на ее пути. Было бы большой ошибкой считать, что уважение к принципам может усложнить процесс заключения мира: оно скорее облегчает его. Не потому, что устремления властных факторов якобы легко согласовать с принципиальными установками. Но все-таки это легче, чем заключать мир без каких-либо принципиальных установок, поскольку это выше человеческих сил, более того, можно сказать, что это в общем-то невозможно. Дело в том, что при отсутствии принципов заключающие мир стороны вскоре окажутся на грани помешательства, потому что *каждое* требование и *каждое* контртребование становятся возможными «Почему бы и нет?» — это станет основным лозунгом при заключении мира. В сфере требований, затем контртребований и, наконец, что самое ужасное, в сфере решений возникнут самые безрассудные, самые неестественные, чудовищные конфигурации — как насилие над реалиями, трезвым разумом и международной моралью. И все же на них будут настаивать, поскольку в атмосфере, пропитанной все более нереальными страхами, любое замечание столь мучительно пробивает себе дорогу, что кажется более разумным придерживаться этих конфигураций даже при том, что они полностью абсурдны. Крепкий костяк принци-

пиальных установок обеспечивает защиту прежде всего от таких чудовищных «решений».

*Роковая роль Центральной  
и Восточной Европы и ее основное значение*

КАКИМ будет в конечном итоге создающийся на наших глазах договор о мире, пока нам знать не дано. В том, что много хорошего он не обещает, мы уже знаем. Если в этих условиях мы зададимся вопросом, есть ли надежда на то, что не сразу, а хотя бы со временем начнется какая-либо консолидация, то нам прежде всего нужно констатировать, что в Европе, особенно в Центральной и Восточной, осуществление процесса консолидации нельзя представить иначе, как посредством выяснения на принципиальной основе территориальных вопросов. Любая установка, затуманивающая эту истину, — пустая фраза, не вникающая в проблемы этого региона и их причины, или же намеренное вуалирование. Это не означает, что на почве территориальных вопросов мы позволяем расцвести фразеологии обид и жалоб, беспрерывно утверждаемой ирредентистскими и ревизионистскими средствами, поскольку это навлечет на этот несчастный регион еще большие беды. Нужно воспрепятствовать центрально- и восточноевропейским народам в том, чтобы они своими территориальными спорами постоянно тревожили Европу. Европе крайне необходима стабильность, следовательно, при помощи органов правопорядка нужно остановить ирредентистскую агитацию усеченных в территории государств точно так же, как с помощью органов правопорядка следует предотвратить давление на национальные меньшинства со стороны государств, получивших данные тер-

ритории. Однако нам следует знать, что в конечном итоге стабилизировать можно только *приемлемые* границы, к которым *можно привыкнуть*. Таким образом, если по любому вопросу, по которому уже в настоящее время будет достигнута какая-либо договоренность, — здесь имеется в виду не полностью политическое соглашение, а чисто принципиальный подход, — то это необходимо с максимальными усилиями реализовать в рамках подготавливаемого ныне мирного соглашения, поскольку спорные территориальные вопросы несут в себе источник страшной угрозы. Относительно же таких, включенных в мирное соглашение решений о границах, которые на деле неудовлетворительны, неоправданны и неспособны стать привычными, необходимо, чтобы в общественном мнении решающих судьбу мира *великих держав* имелся хотя бы в определенной мере сознательный учет и исследование того, какие границы удовлетворительны, какие менее удовлетворительны и какие полностью неудовлетворительны, а также намечены возможные решения этой проблемы. Ибо политическая история мира в будущем, как и до сих пор, будет складываться из перемежающихся стабильных и менее стабильных периодов, и, будем надеяться, эти политические перемены не явятся войнами. Еще раз повторю, что всеми средствами необходимо воспрепятствовать живущим в этом регионе нациям в том, чтобы они стремились к созданию лабильных ситуаций. Однако если такие лабильные ситуации возникнут, то мировому сообществу следует сделать все для окончательной консолидации в Центральной и Восточной Европе как наиболее критическом регионе.

В ходе рассуждений мы часто касались и самых общих политических истин, однако конкретные иссле-

дования намеренно ограничили проблемами Центральной и Восточной Европы. При этом мы считаем, что рассматривали главные и наиболее важные вопросы мировой консолидации. На первый взгляд это утверждение может показаться странным, ведь мы привыкли к мышлению в ложных мировых проекциях и считаем, что наряду с большими спорными вопросами Ближнего и Дальнего Востока, а также Западного полушария территориально не столь обширная Центральная и Восточная Европа представляет собой всего лишь *один* комплекс проблем среди *многих*. На самом же деле это самое большое заблуждение, в которое мы можем впасть. Вопросы Центральной и Восточной Европы отличаются от всех мелких и крупных вопросов Ближнего и Дальнего Востока, а также Западного полушария в той, так сказать, незначительной малости, что в жизни всего одного поколения вызвали две мировые войны, и если будет развязана третья мировая война (упаси нас от нее Господь!) то она вряд ли будет иметь отношение к вопросам Ирана, Маньчжурии, Дарданелл или Испании, а станет следствием того, что и первые две мировые войны: анархии в Германии и на лежащих от нее на восток территориях малых наций. Нет более смехотворного и бесполезного занятия, как стремиться искоренить в себе агрессивные настроения и одновременно с этим разжигать в себе анархизм, чувства неопределенности и недовольства. Из-за этого региона может разразиться такая мировая война, когда агрессия будет предпринята не с этой территории, а *за* эти территории. Центральная и Восточная Европа, точнее, территории малых наций, лежащих на восток от Германии, хотя сами по себе и не столь масштабные, будут нести в себе самую большую угрозу

для мира до тех пор, пока остаются регионом оголтелой анархии, крайней неопределенности и глубочайшего неудовлетворения.

1946

Конспект.  
Октябрь 1956 года





## I. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ВЫЯСНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ

СЕГОДНЯ, после пяти дней славной революции взявшего за оружие венгерского народа и последней кровавой попытки чующей свой конец тирании восстановить власть, теоретические истины об обществе и государстве, которые еще вчера в безнадежных, пустых спорах нечего было и пытаться донести до одержимых идеологическим всезнайством оппонентов, можно высказать как почти само собой разумеющиеся, не прибегая при этом к пространному аргументированию.

Вот некоторые из этих истин:

1. *Совершенно недостаточно осудить только сталинизм как таковой.* Мы не продвинемся ни на шаг, если ограничимся осуждением идейных установок Сталина, мыслящего весьма узко и несамостоятельно, и если по-прежнему будем сохранять веру в непогрешимость Ленина и Маркса, приняв их учение за основу на новом пути развития. Хотя Ленин, безусловно, пришел бы в ужас от содеянного Сталиным, а Маркс — от содеянного Лениным, тем не менее ленинизм и созданная Лениным привилегированная, макиавеллистическая организация насилия в лице партии — это логическое следствие того самоцельного культа классовой борьбы и революционного насилия, который является сутью марксизма. Сталинизм, установ-

ленное Сталиным тотальное угнетение и создание довершившей моральное разложение партии террористической организации – это логическое следствие тотального господства партии, установленного Лениным. Поэтому вопрос следует ставить в отношении идеологии марксизма-ленинизма в целом.

2. *Философия марксизма-ленинизма*, несмотря на то, что постоянно утверждается ее антиидеализм и реализм, на деле представляет собой один из худших видов философского идеализма, который учитывает действительность лишь постольку, поскольку она вписывается в его схемы. Ее исходным моментом является заимствованный из гегельянства, наиболее разработанной системы немецкого идеализма, диалектический метод, который Маркс, вопреки известной формуле, не поставил с головы на ноги, а, наоборот, перевернул с ног на голову. Ведь, по Гегелю, диалектика действует в мире еуха, мышления, для которого действительно справедливо утверждение о том, что из всякого тезиса закономерно вытекает или существует вместе с ним и его антитезис. Маркс перенес это утверждение в реальный мир, где существует по меньшей мере столько же постепенных и плавных переходов, сколько острых противостояний, и в котором ничто никогда не переходит в свою противоположность, даже столь часто приводимые в пример количественные изменения, якобы переходящие в качественные. Ведь понятие «противоположность» – это типичный продукт человеческого ума и настроения, перенесение которого в мир природы – пустая метафора, ориентирующая в ложном направлении. На самом деле вся диалектическая модель потребовалась лишь для того, чтобы обеспечить философские *параллели* для идеологии решительной, беспощадной и неизбежной смертельной борьбы (параллели, по сути дела, пустые и недостоверные).

В этом плане характерно, сколь большую роль в марксистском толковании действительности играют метафоры, призванные вместо осмысления и изучения действительности лишь иллюстрировать какое-либо утверждение о ней с помощью сравнения. Такого рода метафорой является теория базиса и надстройки, а также образ цепи, рвущейся в своем самом слабом звене.

3. *Исторический материализм*, эта марксистско-ленинская теория развития общества, в соответствии с которой способ производства рассматривается в качестве детерминанты исторического развития, является одним из главных факторов полного сужения марксистско-ленинского мировоззрения. Конечно, никто не отрицает, что человеку прежде всего нужно добывать пропитание и поддерживать свое существование, чтобы иметь возможность заниматься другой, более возвышенной человеческой деятельностью. Но если пойти дальше этого трюизма, которому исторический материализм дает, естественно, более глубокое научное толкование, то мы увидим, что ничто не говорит в пользу утверждения о том, что способ производства в большей степени определяет развитие, чем какая-либо другая техника, например военная техника или техника организации общества, не говоря уже о таких психологических или социально-психологических мотивах, как стремление к власти, славе, свободе, или о таких более сложных факторах, как религия, правовая система или конституционная организация, которые на протяжении истории в самых различных вариантах становятся то тут, то там решающими факторами. Зачем же Марксу, мыслителю с ясным умом, понадобилась эта ограниченная, насаждающая узколобость концепция истории? Здесь я могу назвать две причины.

Одна из них состоит в том, что как раз во времена Маркса экономический фактор примерно на одно столе-

тие приобрел в Европе такое решающее значение, какого он не имел ни до, ни после этого периода. Предпосылкой этого было образование либерального государства, своим появлением ниспровергшего суть монархии и оттеснившего регулирующую власть государства в такую узкую сферу, какой ни до, ни после не ограничивалось ни одно из государств; и в образовавшемся вакууме стало казаться, что экономический фактор является столь исключительным и всесильным, будто он во времени предшествовал, а в своих взаимосвязях оказал большее влияние, чем установление господства капиталистического способа производства.

Вторая причина психологическая: материалистический подход к истории оказался чрезвычайно благоприятным для того, чтобы с его помощью от души поиздеваться над напыщенной и морализирующей исторической концепцией, декларирующей уважение к историческому государству и классам, и Маркс был не тот человек, чтобы упустить такой случай. Несостоятельность подхода к истории исторического материализма сегодня уже столь общее место, что достаточно указать на следующее: с тех пор, как нам стало известно, что последние десятилетия в Советском Союзе были сплошным адом не потому, что производительные силы страны породили сталинизм, а потому, что Сталин страдал манией преследования и любил, когда ему курили фимиам, сам непогрешимый московский центр позволил нам принять к сведению, что человеческий фактор является одним из решающих факторов истории.

4. К оценке той социально-политической цели, которую марксизм-ленинизм плохо ли, хорошо ли попытался обосновать с помощью своей философии и социальной концепции, следует подходить совершенно независимо от факта ограниченности философской, социальной и исторической

*концепции марксизма-ленинизма.* Провозглашенная марксизмом-ленинизмом конечная цель политической и общественной борьбы – это свобода, освобождение человека от подчиненности природе, от рабского труда, от общественного гнета. Правомерность этой цели, равно как и реальная возможность продвижения по пути к ее достижению, не подлежат сомнению. Под вопрос, как мы видим, поставлена, с одной стороны, система идей, сформулированная марксизмом-ленинизмом в связи с этой целью, а с другой стороны, разработанная им на основе этих идей система средств, которые не приближали к поставленной цели, а удаляли от нее, – культ насилия, постоянство диктатуры и вообще полное господство тактических аспектов, не сопряженных с какими-либо моральными ограничениями. Политические средства сталинизма по своей сути не отличались от фашистских, но у фашизма бесчеловечными были не только средства, но и цели – полное уничтожение суверенности личности, подчинение личности мнимым или реальным интересам какой-либо общности. И именно различная ценность этих целей послужила причиной того, что в среде воспитанной на идеалах марксизма-ленинизма молодежи возникло идейное брожение, которое невозможно представить внутри фашизма, – брожение, вызванное огромным противоречием между провозглашенными целями и средствами, в основе своей фальсифицирующими методы их достижения. То есть прежде всего неверно утверждение, согласно которому цель оправдывает средства. Ошибочна любая программа действий, которая в достижении своих целей не останавливается перед «решительными мерами», «любыми средствами», «любой ценой»; аморальные средства бесчестят и благие цели.

5. *Насилие*, а также любые формы его проявления: государственное принуждение, личная борьба не на жизнь а на смерть, революция, война – все это проистекает из

зигнующейся на страхе человека ненависти и властолюбии и ни в каком отношении не может стать самоцелью и самоценностью, а по природе своей является злом. В корне пагубны те идеологии, которые рассматривают любую форму принуждения, применение насилия, личную сокрушительную борьбу, классовую борьбу или войны между народами в качестве самоцели, самоценности, смысла истории, единственного возможного пути исторического развития и которые на этой основе прославляют насилие, жгучую ненависть к врагам и сметающее все на своем пути стремление к власти и ликвидации противника. Любое насилие, сокрушительная борьба, революция, война – даже если они и разряжают какую-либо ситуацию, – всегда являются худшим решением среди возможных, и ценность его, таким образом, всегда относительна. Бесспорно, что лучше вступить в борьбу, чем оставаться в недостойном человека положении, однако любую вынужденную смертельную борьбу нужно воспринимать не с неуместным изъявлением восторга, а с глубоким смирением, осознавая, что это было необходимо, поскольку лучшего решения ни нам, ни другим не удалось найти. Весь путь развития человечества подводит к превзошедшей все прежние ожидания возможности постепенной ликвидации различных форм насилия. Прославление борьбы как таковой – даже при утверждении, что это есть «последний и решительный бой», – ретроградство и антигуманность.

6. Не может быть самоцелью и *революция*, которая, становясь перманентной, теряет свой смысл. Единственный смысл революции, начатой за дело свободы, состоит в том, чтобы за неимением лучшего решения однократным актом насилия свергнуть изжившую себя структуру власти, доверие к которой в массах настолько подорвано, что после прекращения революционного насилия она уже не

сможет воспрянуть. Если же революция в головокружении от своих сиюминутных успехов начинает прибегать к насилию, насаждая угодные ей идеи, которые еще не доступны сознанию масс и утверждение которых возможно лишь при постоянном применении насилия, то она тем самым лишается смысла, ведя не к расширению, а к ограничению свободы и постфактум оправдывает свергнутую ею власть, в худшем же случае вызывает ее реставрацию. Достойной славы революцией может быть лишь та, которая не впадает в эту ошибку. Исходя из этого, можно сказать, что Французская революция была революцией чрезвычайного значения, однако вскоре после своего славного начала она свернула со своего пути, повергнув в ужас и саму себя, и своих противников, что было бессмысленно и в конечном итоге привело к ее бесславному концу и контрреволюционной диктатуре. Большевистские революции, изначально апеллирующие к диктатуре и доводящие ее до кульминации, — это революции, утратившие свои цели, дискредитирующие дело свободы. В данный момент нам, венграм, — если мы сумеем устоять перед опьянением насилием, — представляется возможность привести к победе первую в XX в. позитивную, доблестную революцию.

7. *Классовая борьба*, в соответствии с вышеизложенным, не может быть конечным смыслом и моральным критерием истории, это лишь один из многих компонентов исторического процесса. Тезис о том, что история общества — это история классовой борьбы, есть не что иное, как пустая сентенция, стоящая не больше, чем противоположный тезис, согласно которому история общества есть история компромиссов. Можно привести несметное число примеров в подтверждение и первого, и второго утверждения, отчего ни одно из них не станет истиной. Классовая борьба — это не внутренний смысл, а лишь од-



но из внешних проявлений великого процесса истории; она означает лишь то, что в ходе истории какой-либо класс время от времени острее ощущает невыносимость своего положения и по сравнению с другими может сделать больше для того, чтобы ускорить возможные изменения. Антигуманность капитализма более всего отражается на положении промышленных рабочих, и наиболее основательно поколебать устои капитализма может именно борьба пролетариата, но это отнюдь не означает, что все, что служит классовым интересам пролетариата, ориентирует в сторону более совершенного общества. Точно так же можно сказать, что антигуманность марксизма-ленинизма более всего отражается на положении крестьянства.

8. Программа *диктатуры пролетариата* — один из самых зловещих моментов наследия Маркса. Мысль о том, что в критической ситуации может возникнуть необходимость в диктатуре, — по примеру древнеримской конституции: на определенное время и с определенным крутом задач — старая, тривиальная политическая истина, и наиболее развитые демократии в критические моменты всегда предоставляли соответствующим людям необходимую для этого полноту власти. Однако в современном словоупотреблении «диктатура» понимается не в этом смысле, а означает тиранию с ее пагубной романтической сентенцией о ниспосланном свыше вожде. У Маркса программа пролетарской диктатуры еще несет в себе в какой-то мере характер «временной тирании», однако с того момента, как победившая революция ставит перед собой цели, которые сознание масс еще не в состоянии воспринять, пролетарская диктатура с неизбежностью становится постоянной. Вся фразеология, по которой пролетарская диктатура является диктатурой лишь по отношению к врагам народа, а по отношению к народу это

высшая форма демократии, – пустые слова, потому что тирания едина и неделима, и средства тирании, коль скоро они возникли, неминуемо подвергают террору всю массу населения.

Тирания в форме партийной диктатуры – если только она не опирается на какую-либо авторитетную и пользующуюся всеобщим признанием «аристократию» – не может существовать без политико-полицейского террора, а коль созданная в этих целях организация существует, то для ее верхушки станет непреодолимым искушением повернуть эту организацию не только против врагов режима, но и против соперников внутри собственной партии; если же такой организации не существует, то и сама партийная диктатура, монополия партийной власти подвергается сомнению.

9. Тезис о *руководящей роли единственной партии* ввел Ленин, и это не менее зловещее наследие, чем марксова диктатура пролетариата. В принципе партия, подобно «временной диктатуре», выполняет роль «временной аристократии», однако любая «аристократия», которая не пользуется доверием масс, поневоле становится олигархией. Хотя большевистская партия и имела некоторый авторитет в тех странах, где ей удалось своими силами завоевать власть, она не могла стать подлинно деятельной «аристократией», потому что находилась во внутреннем противоречии с социалистическими идеями свободы и равенства. Аргумент, что там, где исчезают классы, закономерно существование одной партии, – пустая схема, поскольку абсолютно не верно, что каждая партия должна или может соответствовать лишь тому или иному классу. Положение о том, что после победы социализма исчезнут различия в политических взглядах, – различия, которые в стране с подлинно демократической конституцией неизбежно ведут к возникновению

партий, – беспочвенный утопизм и мессианизм, пустая схема, не считающаяся с прискорбным фактом существования олигархии. Политическая свобода не существует без возможности выражения различных, порой противоположных мнений, которые, в свою очередь, не могут найти свое выражение при отсутствии соответствующих организаций, то есть партий.

## II. [ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ]

6. ГОСУДАРСТВО – это не только аппарат принуждения, а современное европейское государство является таковым лишь в самой незначительной мере. После полутора тысяч лет греко-римской прелюдии в развитии государственности и благодаря последующим полутора-тысячелетним усилиям христианства по организации общества развитие конституционной государственности Нового времени в течение трех веков превратило государство главным образом в нравственный субъект, находящийся в настоящее время в той стадии, когда концентрация власти постепенно исчезает и государство преобразуется в организацию конкретных профессиональных услуг. Сорокалетней практике марксизма-ленинизма-сталинизма удалось повернуть вспять этот трехтысячелетний процесс культурного развития и вновь превратить государство в дикаря, не признающего ни гуманности, ни взаимных обязательств, ни данного слова. Самая насущная задача состоит в том, чтобы ликвидировать все проявления этого государства-дикаря. Пора отказаться от этой нелепости, когда буржуазными пережитками объявляются исторически сложившиеся гарантирующие свободу институты, которые являются результатами длительного исторического раз-

вития и лучше которых пока еще никто не придумал – конституционность, народное представительство, свободные выборы, судебный контроль над администрацией, разделение властей, свобода слова и печати.

7. *Свобода* – это не относительное понятие и не свобода той или иной группы в ущерб какой-либо другой, а абсолютная ценность. Свобода одного человека или одной группы не уменьшает, а увеличивает и гарантирует свободу других; та свобода, которая зиждется на рабстве других, – это не свобода, а просто перевес власти, и именно за счет этого и творятся именем свободы беззакония; такой псевдосвободой является реализуемая в ущерб крепостным дворянская свобода, осуществляющаяся за счет рабочих безграничная экономическая свобода, и тем же является так называемый суверенитет тирании, громогласно протестующей против вмешательства в ее внутренние дела. Все более полное осуществление свободы и ее закрепление в соответствующих институтах – это важнейшее внутреннее содержание и наивысший результат развития европейского общества и государства. Единственным изобретенным поныне эффективным противовесом примата власти отдельных лиц или групп, односторонней концентрации власти является так называемое разделение властей и сложившиеся на основе этого принципа правовые институты Нового времени.

8. *Частная собственность*, как и все, чем может распоряжаться человек, может быть формой свободы, а может быть и средством угнетения и эксплуатации. Если частная собственность означает власть над другим человеком, контроль и возможность безоговорочного распоряжения им, то это одна из форм угнетения и эксплуатации. Если рабовладение – одна из худших форм угнетения, то иные формы частной собственности как средства угнетения гораздо менее весомы и менее опасны, чем угнете-

ние на основе неограниченной политической власти и тирании.

*Капитализм* – это не основной и не единственный враг современного общественного развития; таковым он является лишь в той степени, в какой открывает возможность для тирании, угнетения и эксплуатации. Однако наиболее опасным является не экономическое, а политическое угнетение, потому что с экономическим гнетом можно бороться оружием политической свободы, в то время как политическая тирания включает в себя и экономическую, поскольку, с одной стороны, в качестве непосредственно политической она может неограниченно грабить население, а с другой стороны, она неизбежно насаждает в стране такую бюрократию, которая становится экономическим ярмом, отягощающим сильнее любой частнособственнической эксплуатации. То есть революцию, которая в интересах ликвидации частнособственнической эксплуатации вводит неограниченную политическую тиранию, можно уподобить тому дураку из известной сказки, который топором убивает комара на лбу спящего человека. Капитализм в том смысле, в каком он означает систему свободного предпринимательства, является одним из эффективных двигателей технического прогресса, и сегодня, вот уже, Бог знает, на каком десятилетии многократно провозглашенного загнивания и краха, он оказывается более жизнеспособным, чем любая из тираний, обещавших спасти мир. Основной порок капитализма – это не система свободного предпринимательства, а несправедливые отношения собственности (что в немалой степени, в частности в отношении крупных земельных владений, восходит к докапиталистическому периоду), то есть то, что возможностью свободного предпринимательства изначально располагает только небольшая часть общества. Основная задача антикапиталисти-

ческой революции состоит не в уничтожении системы свободного предпринимательства, а в ликвидации несправедливых отношений собственности. Западные страны достигли такой степени политической консолидации и развития экономики, что способны постоянно оттягивать ликвидацию несправедливых отношений собственности или превратить это в очень медленный, поэтапный процесс. Что касается влияния западных стран на колониальные и полуколониальные страны, то оно имеет чрезвычайно вредные последствия, так как стабилизирует существующие там отношения собственности, способствуя увеличению богатства, с одной стороны, и усилению нищеты, с другой. Поэтому свободное развитие колониальных и полуколониальных стран не может начаться без широкой экспроприации крупных земельных владений и крупного капитала. Большевизм провел такую экспроприацию. Цена, которую мы заплатили за это, была непомерно велика, но коль скоро это произошло, мы должны воспринимать это как важное завоевание и защищать его; вернее, что касается промышленных предприятий, то экспроприированные крупные предприятия должны быть изъяты из бюрократической государственной собственности и переданы в собственность рабочих коллективов. В то же время на равных для всех условиях следует обеспечить и возможность включения в систему свободного предпринимательства как единственно эффективного средства для достижения подлинного роста материального благосостояния населения и быстрого обогащения всего общества.

Возможность свободного предпринимательства и передачу крупных предприятий в собственность трудовых коллективов (что при догматическом противопоставлении капитализма социализму считается взаимоисключающим) нетрудно согласовать посредством двух институ-

тов: один из них – система кооперативов, которые могут начать действовать как свободные предпринимательства, а другой – свободное индивидуальное предпринимательство. По мере укрепления свободного предпринимательства, его бюрократизации, превращения из личного производства в коллективное предприятие, рабочие будут постепенно «вращаться» в собственность, причем таким образом, что в течение определенного срока – 30 или 50 лет – работники предприятия сначала осваивают производственную демократию, затем будут участвовать в прибылях предприятия и, наконец, полностью войдут в коллективное владение собственностью. Параллельно этому собственник-основатель предприятия превратится сначала в управляющего предприятием, а затем, по прошествии определенного срока, его потомки станут уже раньше. Под покровом капитализма развитие этих форм, по сути, идет в том же направлении, и было бы величайшей нелепостью игнорировать эти западные формы развития только потому, что они не сопряжены с крушащей все и вся революционностью, свержением политической власти и вознамерившейся спасти мир тиранией. Создавая эти формы и испытывая их на практике, прошедшие через полуколониальное экономическое состояние восточноевропейские страны (среди них в первую очередь Польша, Чехословакия и Венгрия, на протяжении тысячелетия принадлежащие к сфере западной культуры) могли бы дать колониальным странам – которые, как указывалось выше, испытывают во многих отношениях пагубное непосредственное влияние Запада – всемирно-исторический пример свободного развития.

9. *Социализм* и коммунизм, то есть обобществление производительных сил, представляют собой, таким образом, не неизбежную форму идеального общества будущего, а лишь одну, но не единственную форму эконо-

мического освобождения человека, которая, будучи навязываемой в качестве единственной, легко и быстро может перейти в тиранию. Вера и убежденность в том, что в конечном счете любое свободное развитие ведет к кооперативным, коллективным, социалистическим формам, в свободно развивающемся обществе может послужить духовной основой для серьезного, заслуживающего внимания движения или партии, но это найдет свое подтверждение лишь в конце длительного исторического процесса общественного развития, а до тех пор любое социалистическое завоевание или реформа имеют смысл и правомерность ровно в той степени, в какой они здесь и сейчас незамедлительно и эффективно увеличивают свободу. Еще менее лозунги социализма пригодны для того, чтобы служить мерилom ценности продукта духовной сферы или правильности моральных действий: в свете осуществляющегося тысячелетиями постепенного, но неуклонного продвижения в направлении свободы мерилom в духовной сфере может быть не что иное, как степень общественного признания творческих достижений личности, в нравственной же сфере – личная ответственность, подверженная общественному контролю. Любой продукт творчества и любая мораль изначально индивидуальны, поскольку их носителем, создателем является личность, и наряду с этим изначально коллективны в том отношении, что их хранителем и определяющим их ценность субъектом может быть только коллектив. Так было до возникновения социализма, так будет и тогда, когда социализм перестанет быть проблемой или программой. Таким образом, рассуждать об особом социалистическом искусстве, литературе, об особом социалистическом творчестве и об особой социалистической морали есть не что иное, как варварство и бессмыслица.



\* \* \*

СУТЬ культуры – идет ли речь о технике человеческого труда, о духовном творчестве или о технике политического сосуществования человеческих обществ – никогда не состоит в осуществлении некоей идеологической программы, а всегда зиждется на тщательном рассмотрении какого-либо отрезка действительности, на освященной традицией восприятии прежних достижений, на смиренном принятии и углубленном изучении обратного влияния действительности, на технике проб и ошибок. Огромной ценностью прежде всего европейской культуры является то, что она уже столетия назад сформировала сознательные группы людей для выполнения технико-профессиональной, творческой, организационной, воспитательной работы, которые ревниво хранят приемы, внутренние законы своего искусства и свою профессиональную независимость от какого бы то ни было вмешательства и приказов свыше. У этого глубоко реалистичного, акцептирующего действительность профессионального самосознания, которым в равной мере обладают ощущающий свою привязанность к земле крестьянин, умелый ремесленник, современный квалифицированный рабочий, независимый судья, увлеченный педагог, члены университетского самоуправления, художник-творец или изобретатель, есть два смертельных врага: административное рвение и воинствующий в утверждении своих идей догматизм. Сочетание этих двух явлений способно породить чудовищные исторические монстры. Мысль о том, что производительный труд, творение духа, судопроизводство, общее и высшее образование – все это не что иное, как «острое оружие» в той или иной борьбе интересов, полностью отвергает технику и традиции организованной передачи знаний и по существу ведет к отрицанию основной системы человеческой культуры.

\* \* \*

ОБОСТРЕНИЕ противоречия между буржуазией и пролетариатом является одной из самых характерных черт капиталистического развития. Марксизм-ленинизм считает это развитие чрезвычайно важным и позитивным явлением, и хотя при этом он подчеркивает полнейшую антигуманность всего процесса, тем не менее не перестает повторять, насколько это развитие важно и прогрессивно: ведь в ходе его создается единый обездоленный класс пролетариата, который затем будет способен свергнуть капитализм.

\* \* \*

В ХОДЕ ИСТОРИИ общества существовало немало форм эксплуатации, однако, за исключением рабовладельческого строя, редко имело место столь резкое отграничение обладания средствами производства от пользования ими, прибыли от труда. На всем протяжении истории те, кто производил средства производства и пользовался ими, вместе с тем в большей или меньшей степени и владели ими, и это по своей природе и есть нормальный и человеческий порядок вещей.

\* \* \*

ОДНАКО из этого следует, что марксизм-ленинизм с яростным гневом обрушивается на все попытки смягчить то антигуманное положение, ту конечную ситуацию, которая должна наступить в момент крайнего обострения *перед* конечной расплатой. Под знаком этого обострения ненормальное положение наемного рабочего-пролетария, неимущего батрака марксизм-ленинизм рассматривает как естественное в условиях капитализма, а слои, соединяющие владение собственностью с фактическим трудом, — крестьян, мелких ремесленни-

ков, мелких торговцев, кооператоров – считает некими гибридными, половинчатыми образованиями, стоящими на более низкой ступени развития. Следствием такого перевернутого с ног на голову подхода было то, что одной из основных задач после пролетарской революции стала подгонка всего общества и главным образом самого крупного «гибрида» – крестьянства, одновременно являющегося и собственником и эксплуатируемым, под схему антигуманного положения наемных рабочих-пролетариев. И здесь следует констатировать, что насколько положение пролетариата является сферой выявления антигуманности капитализма, а сам пролетариат – объектом утверждения его в качестве решающей силы в борьбе против капитализма, настолько же пролетариат не является фактором создания достойного человека образа жизни, служащего примером для всего общества.

\* \* \*

КРЕСТЬЯНСТВО – это решающий фактор для колониальных стран, где царит полная неразбериха в экономических условиях его бытия. Но в то же время положение крестьянства более всего свидетельствует о крахе большевистской крестьянской программы. Это означает, что в первую очередь для крестьянства следует разработать те формы свободных от эксплуатации общественных и правовых организаций, которые основаны не на сплошной коллективизации, но и не исключительно на свободной экономической конкуренции.

\* \* \*

КРЕСТЬЯНСТВО – как собственник и одновременно эксплуатируемый слой, то есть с точки зрения марксизма-ленинизма «гибридное», «смешанное» общественное обра-

зование – является главным «камнем преткновения» марксистско-ленинской теории и программы развития общества. В своей борьбе с крестьянством большевизм проявил больше жестокости и пролил больше крови, чем в гражданской войне и борьбе с контрреволюцией, и все это было проделано только для того, чтобы вогнать эту породу людей, само существование которых было помехой и доказательством нереальности, несостоятельности большевистской идеологии, в прокрустово ложе своей схемы. Крупнейшим тактическим успехом Ленина была программа, суть которой состояла в том, чтобы вначале привлечь крестьянство с помощью земельной реформы, а затем размежевать его в соответствии с классовой теорией марксизма-ленинизма, вершиной чего стала осуществленная позже Сталиным программа коллективизации.

\* \* \*

ИМЕННО поэтому отношение марксизма-ленинизма-сталинизма к революционным, радикальным крестьянским движениям является наиболее типичным и наряду с этим самым трагичным моментом его идеологии и тактики. Несчастные горячие головы, наивные идеалисты и утописты, не имевшие разработанной тактики или не сумевшие подчинить тактике свои цели, – все эти народники, эсеры, «народные писатели», постоянно стремившиеся к гуманным целям, – вместо того чтобы действовать в соответствии со схемой, предписывающей не считаться с желанием крестьянства, поддерживали коллективизацию там, где крестьянство склонялось к этому, и приветствовали свободное хозяйство там, где крестьянство этого не хотело. Большевизм всегда одерживал свои наиболее крупные тактические победы, когда ему удавалось подхватить под

свои паруса ветер их программ, а когда это укрепляло большевиков в их власти, они сбрасывали своих попутчиков с корабля, загоняли их в трюм или топили – выставляли их на посмешище или проституировали их, заставляя служить своим целям.

*27–29 октября 1956 г.*

**О смысле европейского  
развития**



ПОЛИТИКА по сей день остается сферой человеческой жизни, которая оказывает наиболее упорное сопротивление попыткам превратить ее в науку. Вернее, давние, простейшие научные методы применимы и к политике, то есть и в этой области можно сделать начальные шаги в направлении науки. Можно накапливать опыт, систематизировать, группировать полученные на его основе сведения, а затем интуитивным путем находить упорядочивающие принципы и разрабатывать общие концепции. Однако политика не обладает той необходимой предпосылкой, которая после этих начальных шагов делает полученные знания наукой, а именно: она лишена возможности точной экспериментальной проверки. То есть возможности проведения четко формулирующего проблему и повторяемого в аналогичных условиях эксперимента, окончательно подтверждающего или опровергающего выдвинутые интуитивным путем предположения. Эксперименты в политике происходят в форме революций, войн, массовых движений, реформ, создания различных государственных структур, конституций, и в точности повторить их, воспроизвести аналогичным способом, по сути дела, невозможно; именно в этом пункте до сих пор и терпели крах любые попытки превратить



политику в науку. Те схемы, которые претендуют быть научными схемами политики, – это всего лишь выведенные на основе определенного опыта банальные констатации, приверженцы которых подтверждают их на произвольно взятых из истории примерах, а их оппоненты, напротив, опровергают произвольно взятыми противоположными примерами. И сегодня правомерность всех этих схем определяется не чем иным, как заложенной в совокупности примеров силой убеждения, а это свидетельствует о том, что политическим концепциям, построенным в соответствии с вышеуказанными схемами, еще далеко до науки в ее современном понимании.

Подобными схемами являются, к примеру, утверждения, что мировая история – это история классово-борьбы, или осуществление божественного плана спасения человечества, или процесс накопления материальных благ и т. д. Любую из этих схем невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, а примеры можно приводить до бесконечности, равно как и доказывать противоположное, например то, что мировая история – это цепь классовых компромиссов (и этому имеется немало примеров). Вопрос, таким образом, остается открытым, и решается он только тогда, когда на основе какой-либо общей схемы определяется ориентация политического развития. И после того, как теоретик политики сформулировал эту всеобъемлющую концепцию, его следующий шаг – не доказательство ее правомерности в ходе бесчисленных схоластических дискуссий, а защита этой концепции с максимальной убедительностью, неотразимой силой внушения, способной мобилизовать большую или меньшую часть человечества на проведение политического эксперимента. Теоретик политики в этом случае находится в таком же положении, что и физик, которого осенила гениальная идея, однако у него нет средств для

ее экспериментального подтверждения, обходящегося весьма недешево, и поэтому ему необходимо убедить располагающих деньгами людей оказать ему материальную помощь. Творцу политической теории, в свою очередь, требуется убедить целые нации или группы людей строить свою жизнь в соответствии с его идеями. По мере реализации разработанная им концепция, безусловно, приблизится к своему подтверждению, но и при этом она все же не достигнет той степени точности доказательства, которая характерна для естественных или даже для общественных наук. Таким образом, нет ничего более опасного для политики – как для политической теории, так и для практики, – чем когда подобная схема, подобная концепция попросту провозглашают себя научными и рождают в своих приверженцах иллюзорную и опасную уверенность, которой нет места в политике.

∴ Тот, кто пребывает в такой ложной уверенности, заведомо ставит себя в ложное положение. Не только практик, но и теоретик политики должен непременно учитывать интуитивные, суггестивные, творческие элементы, внутренне присущие политической позиции, политическому действию. Это, разумеется, не означает, что для реализации политической установки, для политического действия необходим крайний накал страстей и эмоций. Политика со всеми присущими ей творческими, суггестивными, интуитивными элементами может, да и должна быть чрезвычайно сбалансированной; она может быть весьма разумной, весьма продуманной, весьма рациональной, и в то же время она должна учитывать, что в экспериментах, которые она предлагает человечеству, на карту ставится жизнь множества людей, и по этой причине эти эксперименты никогда не достигнут той степени научной точности, которая присуща естественным наукам. А поскольку объектом экспериментов является жизнь масс, то

и относиться к этим экспериментам следует с повышенной ответственностью. И этой повышенной ответственности ничто так не противоречит, как инфантильная, самодовольная уверенность в том, что существует некий обладатель (или обладатели) достоверной, научной политической программы, который (или которые) могут без особых размышлений, колебаний и чувства ответственности воплотить ее на благо человечества и которые имеют для этого какой-то свой «особый ключик».

В качестве отступления отметим, что все сказанное выше о политике, по сути дела, применимо еще к одному, столь же спорному и столь же труднообъяснимому явлению человеческой жизни, – к религии. Здесь также в конечном счете речь идет о том, что некто, обобщив и упорядочив определенный опыт человечества, формулирует некую концепцию, причем формулирует ее с такой неотразимой силой внушения, что ему удастся убедить людей испытать эту концепцию, это учение на практике, провозгласив, что суть человеческого бытия в деятельной любви (по учению Иисуса Христа) или в подавлении желаний, в отрешенности от окружающего (по учению Будды). (Разумеется, все это весьма упрощенные схемы.) Однако если для проведения политического эксперимента достаточно и одного города, то для подобного, так сказать, религиозного эксперимента требуются уже целые культуры, целые столетия их существования, чтобы выяснить, какова же будет судьба человечества, если оно попытается разрешить кардинальный вопрос собственного бытия на основе той или иной концепции. Сказанное мной о политике и религии не означает, что для естественных наук существует какая-то одна схема человеческого познания, а для некоторых специальных областей – другая. Человеческое познание в различных сферах в сущности проходит через один и тот же процесс: накопление опыта, сис-

тематизация полученных на его основе данных, интуитивное построение формулы или формулировка некоей обобщенной концепции и, наконец, ее подтверждение или опровержение на основе эксперимента. Однако протяженность эксперимента в политике, и тем более в религии, равна столетиям; он предполагает наличие больших групп людей и сопряжен с риском, с человеческими страданиями, поэтому к нему нельзя приступать с циничной самоуверенностью, легкомыслием и самодовольством.

То, что мне хотелось бы высказать далее, в сущности, тоже является своего рода концепцией, идеей общественного развития человечества, определением его возможностей, разумных, благоприятных в своем направлении целей, причем я вполне сознаю, что эти мои представления не могут претендовать на полную определенность и научную точность.

Любая идея, касающаяся человеческой общности, политического начала, в той или иной степени исходит из констатации какой-либо проблемы, например, того, что человечество, большие и меньшие его сообщества далеки от здорового, уравновешенного, обеспечивающего нормальное развитие и вселяющего надежды состояния и что это положение следует изменить.

Концепция, таким образом, – это определение благоприятного направления развития, причем почти всегда или довольно часто за ней стоит характерная внутренняя убежденность, что человечеству в целом или какому-либо его сообществу однажды уже довелось находиться в более или менее упорядоченном, достойном человека состоянии, которое по той или иной причине вышло из равновесия, и это нарушенное равновесие надлежит снова установить. В более широком аспекте это, например, идея Руссо о равенстве как естественном состоянии [1] или же марксистская трактовка первобытной общины;

все это, по сути, не что иное, как перенесенный в мирскую плоскость триединый процесс – пребывание в райской невинности, грехопадение и искушение греха. Вопрос в том, правомерно ли брать за основу нечто подобное? Несомненно, что факт существования абсолютной «райской невинности» – даже не в религиозном, а в чисто социальном смысле – абсолютно мирного человеческого сосуществования недоказуем в качестве имманентного признака какого-либо состояния в прошлом. Этнографам удалось открыть сравнительно мирные народы примитивной культуры, но состояния полной умиротворенности, гармонии ни у одного из этих народов не обнаружилось. Надо сказать, что эта схема, то есть идея, что в самом человечестве, в коллективной жизни человечества, в отношении человечества ко всему миру что-то пошатнулось, что равновесие нарушилось – и не только в новейшее время, когда это ощущается особенно остро, но уже давно – и что это положение можно исправить, не только предопределяя при этом будущее, но и в какой-то степени извлекая уроки из прошлого, – эта идея обладает такой притягательной силой, что ей нелегко противостоять. Попытаюсь рассмотреть сущность этого былого состояния предполагаемого равновесия, а также сущность его нарушения.

Я исхожу из того экзистенциалистского положения, что человек – это единственное живое существо, осознавшее, что оно смертно. Этому осознанию человеческая душа, по всей вероятности, обязана своими многочисленными нарушениями равновесия и в то же время множеством замечательных возможностей. Здесь я, таким образом, делаю громадный шаг назад к тому изначальному, древнейшему моменту, когда человек понял, что жизнь его не бесконечна, что он смертен, и таким образом осознал свое собственное существование в той ме-

ре, в какой, насколько нам известно, к этому не было способно ни одно другое живое существо. Иными словами, человек вкусил плод древа познания.

Осознание человеком того, что он смертен, предопределило возникновение душевной травмы совершенно особого рода, и стоит заметить, что именно это коренится в основе самых важных, самых решающих мотиваций как политики, так и религии; это не что иное, как чувство страха. Страх испытывает любое живое существо, когда оно сталкивается с конкретными опасностями; страх — это механизм, помогающий выстоять перед опасностями, но тот, кто постоянно размышляет над тем, что он смертен, в конце концов начинает бояться своих собственных мыслей. Сам человек рождает в себе страх, который становится в его жизни самостоятельным фактором. Под влиянием этого страха человек осознает те опасности, какими угрожает ему внешний мир: опасные для жизни ситуации, силы стихии, несчастные случаи, катастрофы; в то же время человек, живущий в сообществе, довольно скоро приобретает весьма существенный опыт, доказывающий, что источником самых интенсивных импульсов страха является другой человек — не случайно, что, ощущая в силах природы угрозу, человек одушевляет их. Таким образом, в ходе естественного и социального развития и, как мне видится, довольно скоро главными, а затем и самыми главными опасностями для жизни человека становятся те, которые угрожают ему со стороны другого человека. И здесь человек рассуждает так: вопреки угрожающей мне смертельной опасности, терзающему меня чувству страха я хочу ощущать себя сильным, могущественным, и достичь этого я могу прежде всего путем подчинения окружающих своей воле; но в то же время я осознаю, что исходящее от других людей принуждение способно многократно усилить

страх во мне самом, что во мне рождает потребность освободиться от этого принуждения, от вызываемого окружающими страха, то есть стать свободным. В связи с этим я уже сейчас выскажу главную мысль всех моих последующих рассуждений, а именно: весьма важно осознать, что стремление достичь власти и спастись от страха путем насилия над другим человеком – ложный путь. То есть мы вступаем на ложный путь, когда в своем стремлении избавиться от страха прибегаем к усилению власти, к принуждению, к силовому натиску. От страха можно освободиться только тогда, когда человек не будет испытывать гнетущего насилия со стороны других людей и сам не будет подвергать их насилию.

Однако реалии исторического и геополитического бытия свидетельствуют о том, что человечеству в подавляющем большинстве случаев не удавалось вырваться из этого замкнутого круга страха, насилия и подчиненности насилию. Развитие каждого в определенной мере структурированного общества начиналось с создания концентрирующей власть тираний, основные усилия которых были направлены на то, чтобы в большей или меньшей степени сакрализировать, возвеличить, «освятить» эти тирании, концентрирующие власть, что в отдельных случаях не обязательно проявлялось в форме религии в буквальном смысле слова, а могло означать и религиозную в своей основе идеологию; суть в том, что подобные воззрения всегда декларировали власть как нечто ниспосланное свыше и, апеллируя к святости власти, пытались гуманизировать ее и побудить властителей к умеренности, а подданных – к смирению, стремясь таким образом достичь определенной упорядоченности целого. Решающим моментом здесь является осознание того, что таким путем вырваться из этого круговорота страха невозможно, поскольку созданная подобным образом concentra-

ция власти неизбежно вновь и вновь приводит к индивидуальной и массовой истерии, разгулу тирании, смене династий и цепи насильственных мер; мысль о том, что выход из этого круга все же существует, не слишком характерна для истории человечества.

Мысль о том, что свобода и власть разума, лишённого страха, могут быть достигнуты и институированы, возникла еще в древних великих культурах – в греко-римской и китайской. В этих культурах появились такие политические идеологии и такая политическая практика, которые нарушили – как это отмечено в одной из работ Ферреро – ход истории человечества как однообразной смены тираний и стали своего рода экспериментами, в ходе которых была предпринята попытка стабильной, подкреплённой соответствующими институтами гуманизации и морализации, власти, создания контроля над ней посредством введения отдельных элементов свобод и намечена конечная цель – полная ликвидация власти. Своеобразие греческого эксперимента состояло в том, что греки были первыми, кто пришел к мысли о возможности создания конституции, что конституции – это плод человеческого разума, причем греки не просто пришли к этой мысли, но и в своих городах-государствах на практике испытали различные формы конституций, подчинив этим экспериментам свою общественную жизнь, а в конечном счете даже собственную свободу, дав тем самым Аристотелю основу для создания беспримерной систематизации различных возможных типов конституций [2], а также для формулирования той важнейшей мысли, что при упорядоченной конституции люди живут не под властью людей, а под властью законов. Однако этот эксперимент остался незавершенным; результат его мог бы свидетельствовать, что основанные на широчайшей свободе демократические конституции не слишком прочны.



Завершением греческого эксперимента был, по существу, римский эксперимент, который также содержал немало попыток испытания самых различных конституционных возможностей, однако суть здесь состояла как раз в обратном: Рим явил собой пример столь прочной легитимности, равной которой не знал древний мир. Римская легитимность имела место примерно с VI в. до н. э. до III в. н. э., и ее основным институтом был сенат [3], объединивший в себе монархические, демократические и аристократические элементы. Древний мир не знал не только ни одного иного конституционного государства, но и ни одной монархии или династии, существование которых было бы столь длительным. В III столетии римский эксперимент обрывается в той точке, когда казалось, что институт обожествленного монарха, характерный для ближневосточных сакральных монархий [4], сведет на нет греко-римский опыт свободы и конституционности, не оставив от него ничего, кроме полного хаоса, в котором пребывала не имевшая достаточно прочной сакральной основы и бессильная противостоять массовым движениям Римская империя. Это и есть момент, когда возникает христианство, положившее начало процессам Нового времени.

Другой, китайский, эксперимент имел совершенно иную исходную точку. В Китае сложилась подлинно сакральная империя, и идеологией этого государственного устройства стало конфуцианство [5], то есть такая, охватывающая в первую очередь государственное устройство этическая система, которая превратила все государство – от отца семейства до градоначальника и даже до самого императора – в иерархическую систему обязанностей и исполнения обязанностей; придавая особый вес этим обязанностям и распространив их на все общество, эта система смогла создать в достаточной степени нравст-

венное, рациональное и гуманизированное государственное управление. Здесь стоит отметить – без установления причины и следствия – любопытную взаимозависимость между двумя явлениями: уровнем рациональности политического устройства, с одной стороны, и степенью мистического начала в религиозных воззрениях, с другой. Как греко-римский, так и китайский эксперименты протекали в мире, где наряду с мистическим и сакральным началом существовало рациональное, основанное на чувстве долга нравственное восприятие сакрального царствования и эксперимента с новыми конституционными формами, как это имело место в греко-римском мире. Пожалуй, можно сказать, что чем сильнее в том или ином обществе тирания, тем в большей мере общество склонно создавать туманные, не поддающиеся какому-либо рациональному подходу и осмыслению религиозные системы, и, напротив: чем рациональнее, свободнее государственное устройство общества, тем сильнее у него потребность в том, чтобы и религия была разумной, обозримой, поддающейся рациональному осмыслению областью человеческой жизни.

То, о чем я буду говорить далее, должно послужить дополнением к изложенным выше рассуждениям о том, что человек, осознав, что он смертен, подвержен опасностям и страху, очень быстро пришел и к осознанию того, что по существу у него больше всего причин бояться не внешних сил, которые скорее всего ведут к смерти, а – вследствие поражающего его душу страха – других людей, человеческого мира. Осознание своей смертности вселило в него такой страх, победить который он может, лишь прибегая к различным эрзацам, которые не побеждают смерть, но тем не менее дают иллюзию победы над смертью. Подобным эрзацем прежде всего является власть над жизнью и смертью других людей и ведущаяся

ради этого борьба не на жизнь, а на смерть с другими людьми. Каждая победа в этой борьбе с другими людьми представляется в то же время победой над смертью, хотя она лишь ускоряет то единоборство со смертью, в котором состоит одно из страшных содержаний человеческой жизни.

В этом аспекте абсолютно ложно утверждать, что образцом служит борьба не на жизнь, а на смерть между видами животных в природе и этим оправдывать восприятие человеческой жизни и общества как борьбы не на жизнь, а на смерть. Нельзя проводить аналогию между в той или иной степени убийственной борьбой, которая ведется в мире природы между различными видами, с той убийственной борьбой внутри вида, которая представляет, можно сказать, уникальную особенность человеческого вида. У наиболее важных видов живых существ, у большинства видов, борьба, смертельные схватки между представителями одного и того же вида и уничтожение друг друга – явление исключительное, это происходит или в связи с сексуальностью или перед лицом угрозы существованию самого вида. Но в природе даже в случае различных видов, уничтожающих друг друга и питающихся друг другом, борьба не обязательно и во всех случаях настолько обострена, как утверждается при ссылок на это. Подобные ссылки, проводя параллель между уничтожением друг друга людьми и деятельностью по уничтожению, которая имеет место в мире животных и в природе, большинство примеров берут из мира хищников. В самом деле, среди хищников встречается, что один вид, который служит пищей для другого вида, оказывает отчаянное сопротивление, и загнанная в угол жертва вступает в смертельную схватку с более сильным. Однако в мире природы хищники не являются исключительным типом, это не редкий, но и не наиболее характерный тип. Это од-

на из обостренных форм той жизни за счет других, которая существует среди видов в природе. Однако существуют и весьма безмятежные и крайне уравновешенные формы подобной жизни одних за счет других. То, как осенняя листва становится одним из основных элементов гумуса следующего года, то, как кит, кашалот вместе с водой заглатывает миллионы одноклеточных, выражает отнюдь не борьбу не на жизнь, а на смерть в природе, а скорее определенную взаимную зависимость, и это никак не может служить оправданием для тех сокрушительных схваток, которые люди так любят устраивать между собой. В природе наряду со всеми явлениями борьбы не на жизнь, а на смерть существует еще более сильная громадная солидарность и взаимозависимость всего органического мира природы, в рамках которой полное уничтожение какого-то вида лишь в самых редких случаях отвечает интересам другого вида. Наоборот, мы можем сказать, что почти все виды жизни заинтересованы в том, чтобы сфера жизни была бы как можно шире, как можно богаче, как можно могущественнее. Эта широкая солидарность живого мира, естественно, не определяется какими-либо чувствами и не проявляется в формах, определяемых в мире людей понятием любви, однако по существу родственна ей. Теплота органической жизни ищет теплоту другой органической жизни во всем широком спектре природы, и с этой точки зрения та деятельность, когда органический мир льнет друг к другу, и та деятельность, когда он в некоторых случаях уничтожает друг друга, заглатывая его, по сути родственны между собой. Однако в данном случае основной вопрос в том, что уничтожение как самоцель абсолютно чуждо миру природы, это является привилегией человека.

Борьба не на жизнь, а на смерть между людьми, таким образом, — это не закон природы, а результат деформации

онного процесса. В начале этого деформационного процесса стоит пробуждение человеческого сознания, тот факт, что человек осознал, что волею судеб он принадлежит к виду, состоящему из особей с ограниченным сроком жизни, и притом, волею судеб, – к относительно слабому сравнительно с окружающей физической природой виду: только для того, чтобы вообще появиться на свет, ему требуется девять месяцев, для того, чтобы стать обладающей средней продуктивностью особью, – двадцать лет, а для его уничтожения, наоборот, достаточно всего нескольких секунд. И после того, как человек осознал все это, в нем, в отличие от других живых существ, начали работать те душевные механизмы, которые в итоге привели к тому, что он стал ощущать гибель и уничтожение другого человеческого существа как усиление, как возвышение, как проявление собственной силы.

Так мы можем дать современную формулировку и, по нашему ощущению, правильное толкование той мифологической формулы, что человек вкусил запретный плод с древа познания и впал в грех. Каждая религия, каждое этическое мировоззрение в конечном итоге говорит о том, что человек должен делать в своей личной жизни, как он должен понимать свою жизнь, чтобы освободиться от последствий этого грехопадения. Каждая теория государства, каждая политика в высшем смысле говорят о том, что нужно человеческим сообществам и человеческим общностям для того, чтобы освободиться от последствий этого страха для сообщества.

А сейчас вернемся к тому моменту наших рассуждений, где речь шла о том, что Римская империя, сохранявшая с большими или меньшими перерывами свою легитимность на протяжении семи-восьми столетий, не устояла перед тем, к чему классический римский дух всегда испытывал глубочайшее презрение, – перед азиатским деспотизмом.

тизмом. В III в. Диоклетиан [6], а в IV в. Константин [7] посредством своих реформ пытались реорганизовать и укрепить Римскую империю, оказавшуюся в состоянии анархии в отношении своих республиканских институтов и аппарата административного управления, используя при этом, по сути, методы азиатского деспотизма. Кажется, что это и стало концом величайшего эксперимента – греко-римского эксперимента по созданию прагматической и в то же время действенной организации человеческого общества. На самом же деле только восточная, византийская часть империи пошла по пути организации государства методами азиатского деспотизма и бюрократии, западная же часть впала в анархию. И именно в условиях анархии возникли те новые животворные силы, которые в конечном счете сделали возможным возрождение греко-римской традиции и дали толчок новому, более значительному, чем предшествующие, эксперименту рациональной, гуманной организации общества – европейскому эксперименту. Первым, наиболее весомым фактором, проявившимся в качестве организующего начала в находившейся в состоянии анархии Западной Римской империи, стали образовавшиеся на ее территории многочисленные варварские королевства [8]. Однако эти королевства стали лишь формальными рамками этого процесса, а подлинным фактором брожения, активно воздействовавшим и способствовавшим зарождению необычайно сплавленной с римской традицией новой культуры, явилось христианство.

В начале нынешнего столетия было модно представлять возникновение христианства в греко-римском мире (великим мастером чего был Анатолий Франс) как появление неумытых яростных уличных пророков и фанатичных членов сект среди мудрых, скептических, разочарованных, постоянно пользующихся парными банями

греко-римских патрициев, взиравших на весь этот упадок с самым законным отвращением. В подобных картинах есть некоторая доля истины: достаточно представить мысленным взором сцену, как толпа «христиан» с гиканьем тащит по грязи тело растерзанной ею прекрасной Гипатии, умной и блестящей женщины-философа[9]. Этот момент, безусловно, не относится к числу возвышенных проявлений христианства. Однако в целом такое противопоставление ложно. Ложно в двух аспектах: с одной стороны, в жизни греко-римского мира было гораздо больше нищеты, страха, предрассудков, магии и прочих подобных вещей, чем это может представить себе в наши дни свободомыслящий человек, ощущающий себя греко-римлянином; а с другой стороны, христианство обладало такими особенными, столь разительно приближенными к жизни элементами, которые, независимо от тирании и прочей подобной проблематики, означали новое как для азиатского, так и для греко-римского мира. Здесь мы прежде всего должны остановиться на личности Христа, потому что с самого начала вплоть до сегодняшнего дня одной из особенностей христианства как религии было то, что одним из существенных элементов приближения и приобщения к этой религии является вступление в личный контакт с этой весьма ярко обрисованной в Евангельских писаниях и живо предстающей перед нами личностью.

Бесспорно, что Христос происходит из небольшой еврейской секты, проповедовавшей аскетизм и провозглашавшей близкий конец света. Можно даже сказать, из отрицавшей земную жизнь небольшой секты. Но основная особенность его личности состоит в том, что ни в малейшей степени не ставя под сомнение основные положения этой секты как о близком конце мира, так и о суетности земных усилий, он смог дать откровения такой прибли-

женности к жизни, такого понимания простейших жизненных ситуаций, такой близкой человеку нежности, которые, абсолютно независимо от места и времени, выходили за относительно узкие рамки секты, членом которой он, очевидно, был. Кроме этого, у него есть крайне важные, можно сказать, незабываемые простые высказывания о власти кротости, о тщетности злобы, о внутреннем родстве и вреде злобы, борьбы не на жизнь, а на смерть, убийства, и не только высказывания, но и назидательные жесты, которые являются также единственными в своем роде. Он обладал какой-то особенной способностью к словам и жестам, под влиянием которых человек, готовый ненавидеть, ударить, осудить, потребовать ответа, а также к другим неудачным проявлениям человеческого страха, вдруг остывал, вдруг осознавал бессмысленность своих действий и поведения. Его слова: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень» [10] и «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» [11] – особенно точно определяют тот узел страха, тот узел ненависти, тот узел воинственности, в которых заключается, можно сказать, суть грехопадения человека. Все это довершается тем, как умел Христос говорить о вере. Вера у него совершенно свободна от какой бы то ни было теологии и догматов. Вера, как он о ней говорит, – это детская доверчивость к скрытым качествам человеческой души и способность их пробудить. Но самыми важными являются его откровения о власти кротости, которым нередко дают довольно превратное толкование. Его жесты: кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую [12] – это совсем не жесты бессильного человека, наоборот – они принадлежат к таким обезоруживающим жестам, перед лицом которых бессмысленная агрессия сразу осознает собственную бессмысленность. Здесь есть один интересный момент, хотя это лишь предположение, но у нас есть при-



чины полагать, что осознание власти кротости было личным опытом Иисуса, потому что по своей природе, по своему характеру он был вспыльчивой, склонной к резким проявлениям и даже к агрессии личностью, и он сам убедился во всепобеждающей власти смирения, а познав силу смирения, не превратился в беззащитного человека, но благодаря силе кротости стал способен к большим свершениям, чем то, чего он мог бы достичь агрессивностью. Такие поступки, как избивание торговцев [13] и другие необузданные реакции позволяют предположить, что, говоря о власти кротости, о необходимости победить дьявольское искушение, он передает всему человечеству свой собственный опыт победы над вспыльчивостью. Подобное поведение имело чрезвычайно важные последствия для организации человеческого общества несмотря на то, что Иисус и вся породившая его среда имели установку совсем не на то, чтобы обратить человеческое общество к добру и к совершенству, а на то, чтобы показать суетность всего человеческого мира самому человеку и миру.

Мировой религией сделала Евангелие смерть Христа на кресте и толкование, данное ей апостолом Павлом, а также его вселенская проповедь христианства в Риме. Это уже совсем иная материя, чем непосредственное слово Христа, которое в наиболее осязаемой форме представит перед нами в Нагорной проповеди [14]. При всем этом Павел не заслужил обвинений в том, что он искажил Евангелие Христа или сделал его совершенно иным. Но во всяком случае, его специфический вклад – дополнение, которое достаточно органично продолжается в другом, ведь его отправной момент – смерть Иисуса на кресте, ставшая вершиной тех жестов Христа, которые показали убедительную силу мира кротости. Павел был тем, кто связал смерть Иисуса на кресте, как действие во

спасение, с грехопадением Адама [15], Павел был тем, кто дал теологическое обоснование Христу как богу и человеку, что позднее нашло продолжение в бесконечных и местами сложных для нас, но все же немаловажных дискуссиях о Святой Троице [16]; Павел был тем, кто отделил понятие веры от того очень простого и приближенного к жизни понятия, каковым оно было у Христа, в направлении гораздо более философичной, сложной веры, которую, быть может, труднее оценить положительно, однако которая очень много говорит о связи моральных деяний и закона [17]. И если мы поймем, что возвышение Христа до Божества было неизбежным моментом душевного состояния учеников в тогдашней культурной среде, то мы должны также признать, что апостол Павел был тем, кто смог так сформулировать божественную суть Христа, что тот остался подлинным человеком, и в последующих дискуссиях о Святой Троице в конечном итоге одержала верх позиция, сохранявшая, без каких-либо условий, в неприкосновенности человеческую сущность Христа. И это очень важно для дальнейшего, потому что для тех, кто несет в своей душе христианскую религию, важное переживание представляет, что Госпоу ведомы наши муки и что для того, чтобы выйти из нашего грешного человеческого состояния, нужно вступить в отношения с такой же человеческой личностью, как мы сами.

В наибольшей степени негативными чертами христианства, которое в течение нескольких столетий институционно сложилось на основе всего этого как религия, были определенная нежизненность и склонность к нетерпимости в вопросах догматики, однако вплоть до сегодняшнего дня через них с непреодолимой силой пробивается идущий от жизни, дающий освобождение терпеливый голос, несущий слово самого Христа. (Замечу в скобках, что мне всегда казалось невероятно комич-

ным, что встречались люди, которые – особенно после прочтения трех синоптических Евангелий [18] – пусть даже на миг могли серьезно представить, что Христос не существовал, что его кто-то придумал. Ведь перед нами встает образ такой живой личности, что если его кто-то и придумал как литературный персонаж, то этот кто-то должен был стать основателем самой значительной мировой религии.)

На территории восточного христианства, где основные формы организации общества детерминировал азиатский деспотизм, выросший из сакральных царств, было осуществлено весьма немногое из заветов христианства, столь существенных для правильной организации человеческого сообщества. Областью подлинной актуализации этих заветов стала сохранявшаяся на территории Западной Римской империи анархия, где в то же время в скрытой форме продолжали жить великие традиции общественной организации Римской империи, которые, соединясь с новыми импульсами христианства, положили начало новому рациональному, гуманизирующему, морализирующему эксперименту по организации общества. Римская потребность в рациональной организации общества и христианское требование освобождения жизни человека от страха, ненависти и насилия впервые соединились в деяниях и писаниях Святого Августина, прежде всего в его великом творении «О Граде Божием». Стоит и можно многое возразить в связи с теологическими положениями Августина Блаженного, но это нас сейчас не интересует. Важно, что говорится о Граде Божием, что, одновременно с формулированием подчиненного и второстепенного значения этого мира по отношению к лучшему миру, под знаком лучшего мира, мира Божия, устанавливается такой масштаб оценки мирских деяний, который показывает чудесный выход из ставящих превы-

ше всего потусторонний мир христианских воззрений к тому, что и этот мир можно приблизить к другому миру. То есть в духе римской практичности можно кое-что сделать и в интересах улучшения этой юдоли скорби. Об этом говорится в предписаниях Августина о том, что подобает делать королю, хорошему королю, если он не хочет, чтобы его правление было чистым разбоем, хорошему господину, если он не хочет, чтобы его действия были чистым тиранством и убийством, и т. д. На современный взгляд, на взгляд нынешнего реформатора общества, эти поучения Августина могут, возможно, показаться лишь возмутительным призывом к душам готовых к мятежу слуг и подданных смириться с тиранией, поверить, что бывают хорошие короли и хорошие господа. Однако к этому следует подходить не с позиций современных реформаторов общества, а с учетом тогдашней реальной ситуации, когда у слуг и подданных не было никакого серьезного шанса на успех попыток мятежа. Проповедь Августина, таким образом, была обращена не к тем, кто желал восстать, чтобы умиротворить их; он в первую очередь обращался к господам, к королям, желая пробудить в них повышенную моральную ответственность. И с этого момента на протяжении веков учителями всего западноевропейского мира были люди, которые черпали свои категории из творений Святого Августина, даже если они сами никогда не читали их. Эти категории они применяли по отношению к таким правителям, князьям заповнивших Римскую империю германских и прочих племен, которые находились на гораздо более низком уровне, чем сакральные царства Азии, и которые в культурном отношении не ощущали себя способными управлять гораздо более сложным, чем их собственный, миром. Таким образом, через это ощущение ими собственной несостоятельности духовенство, интеллигенция, воспитанные в

августинском духе, превратилась в противостоящий им фактор организации общества, воспитывая этих королей, верша их дела, организуя администрацию и при необходимости обращаясь к ним с проповедью. В этом сотрудничестве в той же степени, в какой умягчались короли, участие во власти развращало клир, но все же моральный фактор настолько определял власть, что мы можем сказать, что уже на средневековом этапе европейского общественного развития – а особенно уже в Новое время – это было самым выдающимся достижением по сравнению с какими бы то ни было другими мировыми экспериментами по моральному облагораживанию власти. Возмущаясь ужасами проявления власти в Европе, мы часто склонны забывать, что бросаем европейским правителям обвинения в этих ужасах потому, что привыкли как раз к относительно высокому моральному масштабу оценки европейского правления и, вообще, можем представить, что власти можно предъявлять высокие моральные требования, о чем нельзя даже помыслить в случае правителей Ближнего Востока.

Тот эксперимент по организации общества, который после многовекового подготовительного периода проделало в VIII–IX–X вв. христианское духовенство, достиг своего апогея в клюнийских реформах [19], в результате которых сложилась система, которую с некоторым преувеличением можно назвать средневековым христианским вассалитетом. При этом следует принять во внимание, что речь идет о беспрецедентном эксперименте по организации общества, и было бы явным заблуждением соотносить его с теми существовавшими в самых различных культурных сферах всего мира попытками вассальной организации, которые мы склонны порой рассматривать в качестве неизбежного этапа в развитии человеческого общества. Развитие общества не всегда

проходит через этапы, которые выглядят неизбежными. Человеческое общество развивается только там, где оно движется по какому-либо разумному пути развития, а это отнюдь не неизбежно. Нет такого закона природы, который гласит, что человеческое общество развивается от рабовладельческого к феодальному, от феодального к капиталистическому обществу и так далее. Человечество лишь делает попытки встать на разумный путь общественного развития: таков был китайский эксперимент, который в своей перевозданной форме, судя по всему, прервался, уступив место в новейшее время европейскому влиянию; таков продолжающийся с многократными потрясениями и по сей день греко-римский-средневеково-европейский эксперимент; и там, где такой эксперимент происходит, имеет смысл говорить об общественном развитии и в данном случае, скажем, и о революциях. В противоположность этому применительно к Ближнему Востоку и к Индии – которые, конечно, при взгляде издалика и в самом общем приближении можно считать единой территорией неразделенной тирании, – не имеет особенного смысла говорить, например, о революциях, потому что там могли происходить самое большое дворцовые перевороты или приводящие к смене династии народные движения, в результате которых на троне сменялись хорошие правители или дурные правители. Однако о таком типе революции, которая призывает власть к ответу, потому что та в принципе не соответствует формам, рамкам и содержанию правильного правления, о такой революции, которая начинается с потребности в общественной реформе, можно говорить лишь применительно к китайскому культурному кругу, где происходившие время от времени великие китайские крестьянские революции также часто имели характер морального требования и приводили к таким же результатам, что и в Европе.

И можно также говорить применительно к Европе, где в этих революциях особая роль принадлежала более или менее идейно подготовленной клерикальной интеллигенции, вновь и вновь формулировавшей требования, предъявляемые к правильному использованию власти.

Таким образом, речь здесь идет не о неизбежном пути развития, а о значительных коллективных усилиях целых культур, которые одни культуры предпринимают, порой терпя поражение, а другие не предпринимают. Мы не находимся в настолько выгодном положении, чтобы устанавливать правила все более совершенного развития общества и выдавать их за законы природы, и никакие представления о существовании подобных законов природы не должны лишать нас сознания ответственности, связанной с тем, что и великие начинания, предпринятые во имя более совершенной организации человеческого общества, могут привести к краху, загнать в тупик или – как это происходит в последнее время – дать им такое направление, которое ведет к тотальному уничтожению человечества.

С этой позиции средневековый христианский вассалитет следует рассматривать как уникальное в своем роде «предприятие», а не как воплощение типичной схемы на европейской почве. Анализ сложных составляющих элементов европейского вассалитета мы должны начать с его сравнения с общеизвестными схемами вассалитета. По одной из прежних общепринятых трактовок, вассалитет – это в первую очередь отношения верности, приверженности, связывающие в иерархически построенном обществе низшие слои с высшими, а сила этих отношений проявляется в том, что общество в конечном счете оказывается объединенным в рамках некой пирамидальной структуры. В этом смысле вассалитет существовал в самые различные времена, в самых различных культур-

ных средах, да и сегодня еще продолжает существовать. Ядром подобного вассалитета являются обычно отношения верности между вооруженным и воинственным племенным вождем или племенным королем и его вооруженным окружением. Даже в самой варварской среде эти вассальные отношения, именно в силу фактора совместной борьбы, представляют весьма сильную и пронизанную многими моральными факторами связь, связь верности. И если глава такой воинственной группы способен завоевать значительные территории, то подобное организационное образование многократно усиливается. Из непосредственного вооруженного окружения выделяются сюзерены, владельцы замков, которые также получают вооруженные свиты, и по мере еще более широкого территориального распространения члены вооруженных свит в свою очередь получают слуг, вооруженную свиту, оруженосцев, и таким образом возникает определенное пирамидальное образование, связанное более или менее сильными, как правило ослабевающими по мере приближения к вершине, но тем не менее ощутимыми отношениями верности. Образования подобного вассального характера были привнесены в Европу уже родоплеменными сообществами из германских лесов и восточных степей, хотя они были связаны менее жесткими узами, однако подобная вассальная организация не представляет собой типично европейского явления, подобное встречается во всем арабском мире, местами в Индии, в Японии и еще во многих местах света и во многие времена.

Другое определение вассалитета – это классическая марксова формулировка. Под феодализмом – соответствующая вассалитету категория у Маркса – марксизм понимает определенную форму эксплуатации, при которой люди, находящиеся в подчиненном отношении, не принадлежат другим людям всем своим физическим естест-



вом, как рабы, а – при сохранении минимальной степени личной свободы – живут в условиях значительной личной зависимости, подчиненности и наличия множества личных повинностей, что кратко именуется крепостным правом. В этом смысле крепостное право – характернейший институт феодализма. Но крепостное право у Маркса опять-таки существует в самых различных частях света совершенно независимо от вассалитета как трактуемой в вышеуказанном смысле системы отношений верности, скрепленных обязанностью военной службы, и, как ни странно, в обстановке анархии время от времени вновь возвращается в форме симптомов рефеодализации; это было характерно уже для государственных организаций Древнего Египта и Вавилона на Востоке, и любопытно, что, вопреки любым схемам, это происходило во временном отношении в далеко отстоявшие от классического древнего рабства периоды. Это встречалось также в самых разных частях света, например было более характерно для Китая на протяжении длительного периода его истории, чем рабство, которое там было известно лишь в его домашней форме\*.

\* Бессмысленно рассматривать рабство и вассалитет как необходимо вытекающие одна из другой формы. По всем признакам для этого нет никаких оснований. Рабство лишь в весьма специфических ситуациях становится основным институтом экономической организации общества; обычно рабство носит домашний характер, это институт, обеспечивающий домашнюю обслугу, а хозяйственная организация общества в целом происходит как правило в гораздо более свободных формах даже при весьма примитивных и весьма древних отношениях. Рабство возникает тогда, когда особые ситуации, например относительно высокая воинственность какой-то крупной мировой империи и ее постоянные войны с окружающими ее территориями, в культурном отношении стоящи-

Для европейского вассалитета в значительной степени характерна система иерархических взаимоотношений верности в среде военизированной аристократии, дух которой был занесен из германских лесов и восточноевропейских равнин. Для вассалитета характерно также и крепостничество как институт, в определенной степени унаследованный от позднего периода Римской империи. Помимо этого, для вассалитета западноевропейской культурной среды характерен еще один, совершенно особый момент – пожалуй, беспрецедентное в мировой истории значение клерикального элемента, то есть духовенства как фактора организации общества. Определенные элементы роли духовенства в организации общества появились в самых разных культурных кругах, но эта роль в организации общества обычно не выходила за рамки отношений власти и была направлена в первую очередь на сакрализацию позиции властелина, придание ему ранга божества. Подобная роль корпусов священно-

ми значительно ниже, дают возможность пополнять человеческий материал рабов в размерах, во много раз превышающих обычные. Тот же самый фактор, а именно существование ниже Сахары Черной Африки, при наличии высокого перепада культурного уровня, вновь вызвал рабство в современных условиях. Рабский труд может появиться при совсем иных экономических условиях, при наличии крайне специфических обстоятельств, например в немецких концентрационных лагерях. В то же время крепостничество, феодальные крепостнические отношения также появляются в весьма различных общественных условиях, когда в результате анархии ослабевают урегулированные, бюрократически институцированные и организованные формы, что вынуждает людей вступать в некоторых случаях в равноправные, а в некоторых случаях не совсем равноправные отношения взаимных личных услуг. (Примеч. автора.)

служителей, представленных в окружении властителя – напомним о Египте, а также о других властителях-божествах, – дает чрезвычайное политическое влияние, однако это политическое влияние как правило направлено на самые высокие сферы власти и не распространяется на все общество, а также не сопровождается организующей общество ролью. Сферой, в которой сложилась особая роль духовенства и связанных с ним монашеских орденов, стала анархия, последовавшая за падением Римской империи [20]. Мы уже упоминали, что сложившиеся на развалинах Римской империи варварские царства начинали возникать в обществе, превышающем их организационные возможности, стоящем на более высоком уровне, которое, даже лежащее в руинах, было недоступно их пониманию, и в этом обществе они неизбежно должны были принять помощь духовенства и связанного с ним монашества, которые плохо ли, хорошо ли, но представляли более высокий уровень знаний, науки, традиций этого стоявшего на более высокой ступени развития общества. Поэтому не случайно, что роль монашества как организатора общества сложилась в первую очередь на севере от Альп, а в Италии в основном в северной ее части, в большей степени затронутой переселением народов. В южных частях Европы – в Италии и в Испании – сохранилось много элементов светской, гражданской интеллигенции как организатора общества в Древнем Риме. Римские цивитаты сохранили свои нотариаты [21] и цивильных ученых почти в неприкосновенности, и они в большей или меньшей степени существовали на протяжении всего Средневековья; причем во многих отношениях они стояли ближе к тому византийскому миру, в котором суховенство всегда представляло замкнутые группы, частично удалившиеся от мира, а частично влиявшие только на самые высокие сферы власти, а задачи по организации об-

щества были переданы цивилизной интеллигенции, имперской бюрократии, городскому чиновничеству. Однако в Западной Европе, в условиях абсолютной анархии, которая последовала за падением Римской империи, там, где светской интеллигенции, можно сказать, не существовало – за исключением, как я уже упоминал, отдельных частей Италии и Испании, – духовенство постепенно пришло к тому, что должно было взять на себя роль грамотной администрации в окружении беспомощных германских королей, роль, которую в других местах играла светская интеллигенция. Ласло Немет в одном из старых номеров журнала «Тану» цитирует письмо одного римского интеллектуала, где-то в Бургундии переживающего перипетии переселения народов. Он пишет своему другу, живущему в более спокойной провинции восточной империи: «Я пишу, а вокруг меня раздаются дикие возгласы пьяных бургундцев, которые каждое утро по шести раз приходят приветствовать меня, как будто я их дедушка» [22]. Мы должны представить себе установление германского господства над Римской империей не в виде великолепных завоевателей, стоящих на более высокой ступени германцев, а в виде этих гротескных беспомощных рыжебородых королей и воинов, то совершающих варварские набеги, то комически оказывающих уважение завоеванным. В этой атмосфере мы должны представить себе тех испытывающих чувство неуверенности сильных мира сего, которые принимают советы оставшейся, а позднее и вовсе исчезнувшей римской интеллигенции и вставшей на ее место достаточно невежественной, но по сравнению с ними все же много знающей церковной, клерикальной интеллигенции, нуждаются в их грамотной помощи для того, чтобы справиться с непосильными им задачами управления. В этой атмосфере в Западной Европе складываются монашеские ордены, которые в проти-

воположность замкнутым, нацеленным на святость жизни, любовь, мистицизм или отшельничество, можно сказать, сами того не желая, под влиянием сострадания и любви, пробужденными видом их беспомощного окружения, начинают принимать на себя такие функции, как распространение навыков земледелия, основание больниц, медицинская деятельность, социальная деятельность, помощь бедным и т. д. Это еуховенство и монашество завоевало то особое уважение, которым в Европе и по сей день окружены лица духовного звания, его сейчас уже поредевших, но, по общему мнению, не бесполезных, не паразитических по своим функциям представителей; в отличие от той ситуации, которая сложилась в Южной Европе и в византийской Европе, где духовенство подчас несет магические функции, подобно колдунам, и окружено соответствующим уважением, однако в обычной, повседневной жизни общества уважение к нему весьма непрочное, весьма уязвимо и местами может опуститься на крайне низкую ступень. В Западной Европе, организации которой способствовали монашеские ордена, падение духовенства на столь низкую ступень не могло произойти, и оно по сей день живо на территории, простирающейся на север от Северной Италии, Северной Испании до самых Британских островов, Скандинавии, а на Востоке — до Польши, Финляндии, балтийских стран и Венгрии, а также западных районов Югославии. Это духовенство и это монашество унаследовало частицу римского прагматизма, практичности в организации государства и права, а также унаследовало, пусть в упрощенной и примитивной форме, нечто от образа государства и образа общества Августина Блаженного, в духе которых оно стремилось переосмыслить, облагородить самые разнообразные властные ситуации в обществе, превратив их в функции, задачи, долг христианина. Поэтому европейский христиан-

ский вассалитет – это гораздо больше, чем чисто вассальные отношения между вооруженными властителями и вооруженными подданными и гораздо больше, чем отношения одностороннего подчинения между землевладельцами и крепостными.

После клюнийских реформ духовенство как организующая сила общества через распространение письменности и увеличение числа привилегий все активнее стремилось к созданию разветвленной организации общества, пытаясь внедрить во все сферы общественной жизни элементы профессионализма, дух взаимных обязательств. Так, духовенство создало идеалы подлинного сеньора, подлинного вассала, подлинного рыцаря, подлинного гражданина, подлинного землепашца, наделив их весьма неравными долями свободного времени и труда, но попытавшись при этом связать их между собой определенными узлами взаимных обязательств, попытавшись так организовать отношения между ними, чтобы каждая сторона что-то давала и что-то получала и чтобы для тех, кто стоял на самой низшей ступени, также существовала определенная форма человеческого самоуважения, и все это было соединено в единое целое христианскими представлениями о потустороннем мире и христианским образцом жизни ради спасения, что оставляло каждому возможность для конечного возвышения и создавало такую картину мира, когда тот, кто стоял на самой низшей ступени, мог возвыситься над тем, кто стоял выше всех, и уделом последних также могли стать вечные муки, как всех остальных. С помощью подобной картины мира духовенство время от времени могло утратить и самых могущественных властителей мира вечными муками и призвать их к ответу за их преступления; принижать эту роль и пренебрегать ее значением в организации общества не подобает, это цинизм, заимствованный из друго-

го мира. Подобная картина мира не только оправдывала существующие властные различия и вопиющие противоречия общественных возможностей, но в то же время допускала критику и даже – если воспользоваться совсем далеким от того мира словом, которое возникло применительно к гораздо более позднему явлению, – революционную критику по отношению к власти. Если положение короля – обязанность, которую необходимо исполнять, и таково же положение сеньора, владельца замка, рыцаря, то одновременно это означает и возможность критики не исполняющего свое предназначение короля, сеньора, землевладельца, рыцаря, и это по сути и стало отправным моментом будущих революций. Эта христианская идеология вассалитета породила революции раннего Средневековья [23]. В те времена в ходе постепенно набирающего силу процесса – этот процесс шел крайне медленно, ведь он продолжался до самого конца XVIII в., – становилось мало-помалу очевидным то, о чем раньше только подозревали, – то, что король и, прежде всего, сеньор и землевладелец удовлетворяют по сути общественной потребности, созданной их же собственной необузданностью: рыцари-грабители привели к анархии, когда бедные люди были вынуждены искать защиты у какого-то одного из рыцарей-грабителей от его собратьев. Однако в тот момент, когда эти организационные формы достигли той степени консолидации, при которой борьба между рыцарями-грабителями прекратилась и поддержание порядка в стране во многих отношениях взял на себя король, в этот самый момент стало сомнительным, от кого собственно защищает лендлорд, в какой степени эта защита является реальным действием по сравнению с весьма конкретными плодами труда крепостного. Это положение еще более обострилось, когда по мере развития денежного хозяйства и распрост-

ранения роскоши лендлорды стали увеличивать повинности крепостных. Это дало первый толчок крупным крестьянским мятежам позднего Средневековья. Но первая критика появилась уже в раннем Средневековье, когда родился знаменитый английский стишок: «Пока Ева пряла, а Адам пахал, кто же придумал барина на земле?» [24]. Возможность подобной критики внес в умы людей, крепостных, представителей скромной интеллигенции, невысокопоставленных священников христианский вассалитет тем, что в духе учения Августина Блаженного роль короля, лендлорда и крепостного рассматривалась как функция, и это позволяло, таким образом, общественную критику по отношению к королю, лендлорду или крепостному, не исполняющим своей функции.

В этом средневековом христианском мире вассалитета особое место принадлежало городам и городским гражданам. Если в лице дворянства духовенство имело такой фактор, который из воинственного дохристианского мира принес черты задиристого, варварского, спесивого, стремящегося к роскоши и заносчивого человека, которого нужно было укрощать с помощью различных христианских категорий, например формулы христианского рыцарства (что далеко не всегда помогало), а у крестьян, занимающихся земледелием, с помощью христианских категорий нужно было преодолеть мир близкого к природе язычества, то город и городское население были тем миром, в котором духовенство могло по своему усмотрению создавать формы организации общества в духе христианских категорий. Здесь я имею в виду в первую очередь не морские порты на берегах Средиземного моря или в Северной Европе, где тон задавало быстро обогатившееся с помощью торгового предпринимательства бюргерство, а прежде всего типичные сухопутные города, обслуживающие относительно не-



большие провинции промышленностью и мелкой торговлей. В этих небольших городах сложился тот мир небольших общностей, во многих отношениях ограниченных, незначительных, но в то же время пребывающих в состоянии кропотливого труда и постоянного надзора со стороны духовенства, который противопоставил новую, сознательную форму жизни творящего с тщанием человека по сути дела бездельному, буйному и напыщенному миру дворянства и на протяжении длительного времени стал питательной средой для тех переворотов, которые в конечном итоге были призваны ликвидировать общественную роль аристократии. Городская среда была одной из тех областей, в которой духовенство могло развить свою роль грамотных организаторов общества, и там же после длительного перерыва по образцу городских цехов начала вновь складываться теперь уже не церковная, не клерикальная, а светская интеллигенция в лице писцов и членов университетских корпораций. Другим узлом организации общества и грамотности, которым руководило духовенство, был королевский двор. Королевский двор, хотя он и сам вырос из задиристого и напыщенного дворянства, в то же время благодаря идущей от Святого Августина культуре духовенства начал перенимать какие-то начала республиканской картины мира древней, греко-римской государственной идеологии, того состоящего не в личной власти, а выражающегося в законах правления, которое было характерно уже для греко-римской государственной организации. Среда духовенства при королевских дворах спасла эти начала, дополнив теорией государства Августина Блаженного, и это сделало королевские дворы второй сферой грамотности. Позже во многих европейских государствах возник союз между королевским двором и буржуазией, союз между исполняющим свою функцию королем и исполня-

ющей свою функцию буржуазией против исполняющей свою функцию в меньшей степени аристократии.

Все это в совокупности представляло собой всеохватывающую организацию общества, которая все более институировалась и при многих зависимостях обеспечивала и много свобод; это находило свое выражение в форме привилегий, сословных прав и сословных собраний. Такая организация общества впоследствии привела к созданию по всей Европе многочисленных разнообразных институтов, которые можно рассматривать в качестве основы европейской конституционности, хотя еще не в современном смысле. На этих сословных собраниях на основе структуры вассалитета сложился новый институт представительства, которого не знала римская государственная структура, оказавшаяся в свое время неспособной распространить весь комплекс норм римского гражданского общества на всю империю по той простой причине, что не предполагала проявление гражданства иначе, как в форме самоличного присутствия гражданина на римском форуме и подачи им голоса, а это вряд ли было доступно гражданину, жившему в одной из отдаленных восточных или западных провинций империи. Средневековый вассалитет, вернее, тот факт, что сеньор представлял своих вассалов, обеспечил возможность появления нового правового института, суть которого состояла в том, что на политических собраниях один человек мог представлять другого. В первое время сам сеньор представлял своих вассалов, а позднее возникли и самостоятельные формы представительства, так что к зениту Средневековья вся Европа уже жила в сложной системе конституционных свобод, самых разнообразных по форме. Это не было конституционностью в нынешнем понимании, поскольку обеспечивало людям не единые категории прав, а много разнообразных по форме свобод,

полномочий, привилегий, подтверждаемых письменно; то есть это и был тот самый средневековый вассалитет, который позднее прошел через ряд глубоких кризисов перехода к Новой истории. Небезызвестны и те социальные и экономические причины, которые обусловили расцвет, а затем и кризис Средневековья. Начиная с IX–X вв. европейское духовенство развернуло широкую борьбу против междоусобиц сеньоров, феодального дворянства. Когда эта борьба в целом увенчалась успехом, в Европе наступили времена относительного спокойствия; под сенью которого началось обогащение бюргерства, что вначале, при сохранении сравнительно скромных жизненных условий, выразилось в невиданном расцвете кафедральной архитектуры, а позднее привело к большей утонченности, роскоши в образе жизни. В этой обстановке и возникли разнообразные факторы брожения.

Утрата дворянством его функций и одновременный рост его претензий привели к восстаниям горожан и крестьянским революциям. Дворянство начало укреплять свои позиции, стремясь в то же время расширить и наполнить содержанием свои общественные функции. Королевская власть в этой ситуации стремилась к усилению собственного могущества, утверждению своих функций; возросших в связи с оттеснением дворянства на задний план. В этой обстановке возникли три вида противоборства, различных по своему содержанию и направлению; и этот факт предостерегает нас от однозначного толкования битв Средневековья как столкновений высших слоев с низшими. Один из видов такого противоборства – борьба крестьянства, а во многих местах и горожан против феодальных повинностей, против ведущих праздное существование слоев общества, которое было вызовом тому созидательному образу жизни, что был присущ трудящимся массам. Эти восстания горожан и

крестьян приводили к союзу королевской власти с дворянством и обычно терпели полное поражение. Несмотря на это, рост общественного богатства был столь значителен, что подавление крестьянских восстаний не могло долго препятствовать постепенному улучшению положения крестьянства и бюргерства. Другой формой противостояния была борьба усиливавшейся королевской власти, заключившей союз с бюргерством с помощью духовенства, против дворянских бесчинств. С течением времени в некоторых странах, в первую очередь во Франции, это привело к полному поражению дворянства, укрощению придворной знати. Однако в исторической перспективе воздействие этого явления не было плодотворным, поскольку позже привело к ликвидации всей структурированной конституционности Средневековья, к распаду и атомизации разветвленной общественной организации и созданию односторонней концентрации власти в виде королевского абсолютизма, хотя этот абсолютизм даже в той его форме, которая существовала при Людовике XIV, все же не достигал степени неограниченной деспотии. Третий вид противостояния возник в той ситуации, когда все общество, а в первую очередь разбогатевшее бюргерство и присоединившееся к нему дворянство, противостояли королевской власти, вернее, когда все бюргерство и в определенном смысле общество в целом «доросло» до тех конституционных прав, которые дворянству уже удалось отвоевать для себя у королевской власти. Этот процесс происходил прежде всего в Англии и в Нидерландах, и в перспективе именно он оказался самым здоровым и плодотворным, поскольку в конечном итоге покончил с односторонней концентрацией власти и привел к усилению потребности в свободе у всего общества.

За исключением швейцарской революции [25], которая ознаменовалась ранним в историческом плане успе-

хом и осталась в изоляции, подлинный прорыв в ходе общественного развития подобного направления был совершен в первую очередь в Голландии [26]. Трудно переоценить значение того, что, начиная со второй половины XVI в., а главным образом в XVII в. в Голландии возникло такое располагающее многочисленными свободами общество, подобных которому Европа не знала еще долгое время. Это голландское общество обеспечило возможность спасения реформаторским сектам, подвергшимся кровавому разгрому со стороны остановившейся на полпути немецкой Реформации, и именно Голландия стала тем исходным пунктом, откуда эти секты двинулись в путь через Англию в Северную Америку, где им удалось утвердиться. Этот голландский пример вдохновил английскую революцию, а позже и североамериканское освободительное движение [27] и явился примером для зарождавшихся свободных обществ, двинувшихся в направлении создания гражданского общества.

Революция во Франции открыла новую главу в истории революций и революционных движений. Французскую революцию можно истолковать как грандиозную попытку самой богатой в Западной Европе страны, которая, тем не менее, задыхалась в тисках королевского абсолютизма, достичь уровня североевропейских и заморских стран в широком развитии свобод. Крупнейшие конституционные эксперименты Средневековья в большинстве стран континентальной Европы в конечном итоге остановились на полпути; в первую очередь это произошло с самым выдающимся из них, связанным с экуменическим движением XV в. [28], на смену которому пришла власть абсолютистского папства. Обратное влияние этого процесса выразилось в отделении ставшего оплотом протестантизма Севера от континентальной Европы; остальная же часть Европы, в том числе значительные территории

немецких земель, где был распространен протестантизм, попала под гнет княжеского абсолютизма. К тому же в Германии этот абсолютизм не сумел добиться даже поражения аристократии, а, напротив, надолго сохранил самую «успешную» аристократическую структуру Европы в форме состоявшей из множества княжеств Священной Римской империи. Все это привело к созданию во всей Европе такой бюрократически регулируемой, отлаженной и даже нередко пекущейся о народном благе централизованной власти, в рамках которой у простого горожанина, не говоря уже о простом крестьянине, не оставалось или почти не оставалось почти никаких свобод. В этой обстановке и разразилась Французская революция, революция самой богатой и развитой европейской страны. Утверждения, что Французская революция была начата буржуазией и что ее идеология была сформулирована в соответствии с интересами буржуазии, весьма сомнительны. Несомненно, что никакая революция не сумеет добиться успеха, если за ней не стоят значительные общественные силы, однако революция, которая имеет характер свойственной Европе критики общества и требует от облеченных властью слоев выполнения ими своих функций, а установив, что они с этими функциями не справляются, выдвигает цель свержения власти, такая революция есть нечто гораздо большее, чем выражение идеологии определенного слоя общества. Для этого в первую очередь была необходима критически настроенная интеллигенция, которая переросла рамки средневековой клерикальной интеллигенции, преодолела в себе отягощающий ее в борьбе реформации Нового времени религиозный элемент и, пользуясь оружием социальной критики, сформулировала тезис о том, что существующие дворянские и королевские привилегии изжили себя. Эти революции в первую очередь отодвинули в сторону или пре-

вратили в символическую королевскую власть, обеспечив аристократии возможность выжить в обществе, где основная роль все больше принадлежала городской буржуазии или где вообще не было аристократии, как в Северной Америке. Революции в Голландии и в Англии – точно так же как ранее и швейцарская революция – органически выросли из средневековых категорий конституционности. Голландскую революцию свершили голландские сословия, дворянское и бюргерское, выступившие против короля, а английскую – перешагнувший через Средневековые парламент против короля; и даже Французская революция, ставшая образцом для современных революций и в итоге оборвавшая все узы, связывавшие с прошлым, даже Французская революция какой-то тонкой нитью была связана со средневековой сословной свободой, ведь она началась с созыва сословного собрания.

Говорить, как об этом уже так много говорилось, о том, какой умной была французская буржуазия, сумевшая придумать столь эффективную идеологию, – очень наивный и, можно сказать, представляющий события в их обратном порядке подход. Французская буржуазия очень даже привыкла заключать союзы с королями. Не случайно в середине XVIII в. некий французский буржуа зашелся в хохоте, услышав, что в Венеции нет короля. Французский буржуа плохо представлял себе мир, в котором нет короля, французский буржуа был бы безмерно счастлив, если бы мог при поддержке короля упразднить все аристократические привилегии, которые справедливо и понятно оскорбляли буржуазию, возвысившуюся в имущественном положении до аристократии. И он остановился бы на этом, как поспешил остановиться на чем-то подобном и после Французской революции.

Таким образом, программа радикального преобразования общества, которому положила начало Француз-

ская революция, далеко превосходила по своим целям идеологические потребности буржуазии. Революция была связана с тем исключительным моментом истории, когда насквозь прогнившая прежняя общественная система развалилась с такой внезапностью, что в возникшем при этом вакууме предпринять какие-либо позитивные шаги могла только интеллигенция, проникнутая духом борьбы, способная выдвинуть программу и выступить в роли идеолога. Хотя буржуазия и ухватилась за представившиеся в условиях этого вакуума возможности и попыталась в различной форме воспользоваться ими, все же честь творца идеологии принадлежит не французской буржуазии, куда менее подготовленной к принятию на себя общественных обязанностей, чем, например, английская или голландская. Так что приписывать французской буржуазии столь славную и высокую заслугу было бы абсолютно ошибочно. Любые революционные перемены имеют своих вдохновителей и своих «потребителей». Первым, кто сумел обратить Французскую революцию себе на пользу, был тот слой, положение которого более всего позволяло ему заполнить пустоту, образовавшуюся с падением власти аристократии и королевского двора; это была состоятельная буржуазия, которая скорее воспользовалась сложившейся ситуацией, нежели создала ее. В других революциях может выдвинуться вперед и бюрократия, но она опять-таки является лишь «потребителем», а не организатором революции. В условиях любых революционных перемен находятся те, кто пожинает их плоды, но было бы большой ошибкой задним числом приписывать им заслугу вдохновителей этих перемен. Без идеологии интеллигенции Французская революция не могла бы произойти, и творцом этой идеологии, повторяю, была не буржуазия, ибо революционная программа, исходящая из идеологии интеллигенции, бы-



ла куда более дерзновенной, чем самые смелые представления самого смелого буржуа второй половины XVIII в.

И в этом пункте мы должны сделать отступление, чтобы изложить важную мысль в связи с трактовкой и оценкой революции и революционного насилия. Любой тип организации общества, в особенности европейский, для которого с давних пор были характерны высокие нравственные и гуманные цели, неизбежно стремится к уменьшению насилия, к уменьшению страха перед насилием. Это всегда было целью христианской феодальной государственной организации, и все предшествовавшие Французской революции Нового времени или его раннего периода хотя и прибегали к насилию, но никогда не возводили его в культ, применяя насилие лишь во имя восстановления мира, против непредсказуемой в своих проявлениях, причинявшей немало бед воинственной королевской власти. Такой была власть Филиппа II [29] в Голландии, Карла I [30] в Англии, и революциям, происшедшим в этих странах, была абсолютно не свойственна вера в благотворность самоцельного революционного насилия – это было совершенно чуждо их идеологии. Впервые такая вера возникла во времена Французской революции. И здесь возникает вопрос – почему?

Французская революция была самой успешной и одновременно самой неудачной революцией во всей европейской истории. Самой успешной потому, что она открыла путь для таких рациональных общественных преобразований, равных которым не знала ни одна из предшествующих революций; а самой неудачной потому, что она породила такой безмерный ужас, от которого западный мир не оправился и по сей день.

Что служит обоснованием и оправданием революционного насилия? Если учесть, что любое насилие, любая ненависть по существу вытекают из естественного состоя-

ния человека, искаженного под влиянием страха, то мы должны отметить все предположения, что в насилии как таковом заложено освобождающее, творческое воздействие и что общественный прогресс просто невозможен без насилия. Основой каждой плодотворной общественной организации является признание того, что между людьми нет непреодолимых противоречий интересов, а есть лишь болезненный страх, вытекающий из окостеневших общественных ситуаций, при этом базирующийся не на подлинных различиях интересов, а на противоречиях интересов, вытекающих из этих окостеневших ситуаций. Революционное насилие, таким образом, полезно и плодотворно тогда и только тогда, когда представляется необходимым потому, что в определенной ситуации благодаря нему возможно быстро взорвать, разрушить окостеневшее властное состояние. В этой ситуации роль революционного насилия состоит в том, чтобы с помощью одного-единственного или нескольких жестов насилия показать, что некое средоточие власти, представлявшееся непобедимым, грозным, могучим и авторитетным, по существу утратило функцию и посему лишилось как своей функции, так и силы. Тем самым насилие вызывает великое освобождение, психологическое и фактическое освобождение и открывает путь. Такое революционное насилие плодотворно лишь в том случае, если оно кратковременно и после выполнения этой задачи не находит продолжения.

Если однократное революционное насилие вызывает у победителей желание сделать насилие постоянным и поставить такие цели, которые могут быть достигнуты только с помощью постоянного насилия, применяемого уже не только по отношению к сильным мира сего, но и ко всему обществу, и даже в этом случае результаты его не могут быть закреплены, то с данного момента революци-

онное насилие перестает быть революционным, оно подготавливает новую тиранию, оно уже не плодотворно, а вселяет в общество непредсказуемый ужас. Освобождающее воздействие Французской революции состояло в том, что общество буквально в считанные дни осознало, что ни монархия, ни аристократия не способны оказать сопротивление восстанию всего французского общества, то есть добиться ликвидации аристократических привилегий и освободиться от массы другого исторического балласта можно очень быстро. Но поскольку осторожная буржуазия как один из ее участников, но не единственный и не решающий, не сумела сохранить контроль над этой революцией и передала бразды правления рациональным реформаторам общества из интеллигенции, руководствовавшимся идеологическими мотивами, то с этого момента началось ужасное наваждение – не останавливаясь на открывшейся возможности насилия и достигнутых результатах, а добиваться осуществления новых, формулируемых в плане идеологии, реформ, добиться которых можно было уже отнюдь не с такой легкостью, как ограничения королевской власти и ликвидации аристократических привилегий. Эта просвещенная интеллигенция в силу антиклерикализма, вызванного антиреформаторской позицией католической церкви, поставила цель ликвидации господства церкви в душах людей. И тем самым вступила на путь, на котором – несмотря на то, что цель казалось весьма современной и весьма актуальной, – встретила с гораздо более отчаянным и более страшным сопротивлением, чем рассчитывала, и выяснилось, что эта борьба состоит уже не в том, чтобы одним взмахом смести по сути фиктивную власть, а в бесконечной и отвращающей большую часть страны от дела революции борьбе с непредсказуемым результатом, которая, оторвавшись от реальных и конкретных интересов

общественных реформ, ставит перед собой такие – недостижимые – цели, как ликвидация или изменение религиозных настроений людей.

Именно здесь стало непреодолимым или по крайней мере необычайно упорным сопротивление самого королевства и беспомощного во всех других отношениях короля; именно этот комплекс проблем побудил королевство выступить против революции как таковой. Король впервые решительно выступил против Учредительного собрания в связи с вопросом о гражданском статусе духовенства. Это вызвало попытку спасти королевство, а позднее и попытку вмешательства государств Центральной Европы, и в итоге это привело к революционному террору, полному краху королевства и к установлению такого постоянного насилия, перед которым абсолютную монархию Людовика XIV можно назвать весьма умеренным господством. Террор, для оправдания которого были изведены реки чернил, по сути дела стал тупиком и крахом Французской революции. Неправда, что террор необходим для сохранения завоеваний революции; в подобном терроре нуждается только революция, ставящая перед собой цели, которых нельзя добиться с помощью здоровых средств. Именно революционный террор превратил революцию, встреченную во всей Европе со всеобщей симпатией, в то, что во всей Европе стало вызывать ужас и во многих отношениях – ненависть, и именно революционный террор породил не исчезнувшие и по сей день два человеческих типа, дотоле неизвестных и абсолютно бесплодных, в которых с тех пор жестко и безнадежно заключено европейское мышление: профессионального реакционера и профессионального революционера. Оба этих человеческих типа представляют собой абсолютно стерильные явления; подлинный политик, подлинный государственный муж, подлинный

реформатор общества в соответствии с конкретными потребностями в равной степени способен к шагам, направленным на сохранение традиций, или реформирование общества, или же к революционным шагам, и то, выступает ли он как реакционер или как революционер, не является его основной особенностью как типа. Эти два абсолютно бесплодных человеческих типа явила Французская революция: тот, кто судорожно стремится сохранить все, и тот, кто яростно на все нападает. И тот и другой не конструктивны, борьба между ними всегда связана с какой-то болезненной фикцией, и в конечном итоге они оба ведут к резкому возрастанию количества насилия в обществе, хотя единственной целью, которой могут быть оправданы любые общественные реформы, как революционные, так и неревolutionные, может быть только уменьшение в обществе количества страха, насилия, ненависти. Реакционер и революционер суть два человеческих типа, смысл жизни которых – разоблачение темных заговоров, вплоть до того, что они готовы приписывать все до одной беды общества темным заговорам, хотя на практике беды общества на девяносто девять процентов проистекают не из темных заговоров, а из окостенения отношений интересов, определенных болезненных ситуаций, и ближайшей целью должно быть их разрешение, а не доведение до устрашающих размеров. Тот же самый подход реакционер и революционер применяют и после прихода к власти – постоянно вскрывают, выискивают, подчас придумывают заговоры, чтобы потом разоблачить и подавить их.

И здесь необходимо сделать одно отступление общего характера, касающееся общественной роли и возможной пользы насилия; революция здесь представляет лишь один из второстепенных вопросов.

Мы уже указывали на то, что насилие между людьми не имеет ничего общего ни с какими биологическими законами природы, потому что в природе, и прежде всего в мире животных, приводимом в качестве примера, взаимное уничтожение и насилие не являются таким общераспространенным и таким массовым явлением, как это, казалось бы, подтверждают специфические примеры, заимствованные из жизни хищников: гораздо большее значение имеет взаимная жизненная заинтересованность, а не взаимное противостояние. Кроме того, приводимые в пример явления насилия в живом мире встречаются между видами, а внутри вида они сводятся к крайне исключительным случаям и особым пограничным ситуациям. Таким образом, утверждения, что борьба не на жизнь, а на смерть и насилие среди людей – это какой-то древний биологический закон, являются абсолютно ошибочными и совершенно затемняют тот подлинный факт, что насилие и постоянная борьба между людьми проистекают из комплексов страха и представляют собой одно из их проявлений, и перекосы, возникшие как побочный результат перехода к более высокому уровню становления сознания, осознания человеком собственной смертности. Благодаря пониманию этого становится ясно, что по существу любая религия и любая государственная организация – первая путем, скажем, организации внутреннего Я человека, а вторая – путем организации отношений между людьми, стремятся как-то снять спазмы страха, ненависти и насилия, связанные с обретением человеком сознания. История Европы в конечном итоге является частью направленного на это – скажем так – христианского эксперимента. Христианский ответ на спазмы насилия, страха и ненависти – постановка в центр активной любви; активная любовь как сила, способная снять любые человеческие спазмы,

способная уничтожить любое насилие, способная разоружить, чаще всего выступает в притчах и назидательных поступках Христа. Вновь нужно подчеркнуть, что основные Христовы заповеди, связанные с насилием: кто бросит в тебя камень, протяни ему хлеба; кто с мечом пришел, от меча и погибнет и т. д. – это не свидетельство какой-либо неполноценности и это отнюдь не призыв к пассивному поведению. Подобное пассивное поведение самым решительным образом противоречит всей личности Христа. Христос выступает перед нами как весьма активная личность. Упор здесь делается на том, что любое насилие по существу вытекает из какого-то спазматического состояния и против каждого жеста насилия существует вытекающий из активной любви более сильный жест любви, который способен разоружить этот жест насилия. Кто бросит в тебя камень, протяни ему хлеба, следовательно, значит, не то, что мы должны тупо терпеть, когда в нас бросают камнем, и тупо пытаться искать милости у противника, а то, что мы должны найти жест, который пробудит у бросающего камень стыд от собственного поступка, понимание его ненужности.

Все возражения, которые выдвигают в связи с этими Христовыми заповедями, утверждая, что, стало быть, в духе этих заповедей мы должны безмолвно терпеть, когда палачи и заплечных дел мастера терзают наших близких, или невинных, или беззащитных и угрожают им ужасами и смертью, и что мы не должны выхватывать меч, чтобы защитить их? Совсем не это составляет содержание данных заповедей.

Содержание заповеди в том, что и для самого страшного палача также существует такой жест – если я способен до самого последнего момента сохранить перед лицом страшного злодея способность к активной любви,

человеческому состраданию и сочувствию, – что и для него существует такой жест – в чем этот жест: скрыт ли он в его ребенке, в его матери или в каком-то другом тайнике его души, который в данной ситуации можно, нужно или хорошо бы отыскать, – существует жест, который заставит его опустить занесенную руку и осознать бессмысленность своего агрессивного действия. Следует добавить, что чем более устрашающи и абстрактны организации, частью которых является насилие, например, как неотъемлемая часть войны или некоего аппарата, тем меньше, почти безнадежны шансы на успех подобных жестов. Однако важно то, что в любой ситуации насилия такой обезоруживающий жест существует, и мы должны его искать. Если мы не можем найти его, тогда нам не остается ничего другого, как защищать тех, кто нуждается в нашей защите изо всех сил и, в качестве худшего в данном случае решения, с помощью средств насилия. Однако суть состоит в том, чтобы осознать, что средство насилия – это худшее решение. На любое правомерно применяемое насилие мы должны идти не в состоянии душевной эйфории, а испытывая глубокий стыд, и помнить об этом, сознавая, что хотя мы и выдержали испытание в той или иной ситуации, но не смогли найти по-настоящему большее деяние, обезоруживающий жест любви, что в этом мы потерпели крах. Только испытывая чувство такого стыда, можно вынести акты необходимого насилия, и здесь исключается какое бы то ни было превозношение насилия, восхваление или подчеркивание его необходимости.

В духе такого подхода можно ответить на несколько вопросов, представляющихся весьма различными, но по сути весьма родственных: вопрос о войне, вопрос о революции и вопрос о родительской затрещине. Эти три вопроса совершенно аналогичны. Во всех трех случаях



речь идет о том, что возможны ситуации, когда и война, и революция, и родительская затрещина могут ликвидировать какую-то болезненную, глупую, властную или насильственную ситуацию, и потому способны оказать освобождающее воздействие. Этих три действия могут быть полезны и обоснованны, однако лишь в рамках, о которых говорилось выше, как неизбежное зло, как решение, к которому мы можем прибегнуть, если не смогли найти лучшего решения.

Здесь, таким образом, заключается и ответ на вопрос, можно ли бить детей. Лучше этого не делать, лучше найти такие жесты, с помощью которых можно преодолеть упрямство ребенка и направить его к дисциплинированному человеческому существованию без физических наказаний. Однако непослушному, не желающему соблюдать социальные нормы поведения ребенку лучше вовремя дать затрещину, чем ничего не предпринимать по отношению к нему. Лучше оказать сопротивление уничтожающему все на своем пути противнику, чем ничего не предпринимать по отношению к нему. И лучше восстать против невыносимой тиранической власти, чем ничего не предпринимать по отношению к ней.

Это относительное оправдание войны, революции и родительской затрещины. Но в то же время мы должны серьезно подчеркнуть, что эти шаги никогда не могут быть абсолютно хорошими, никогда не могут быть окончательными, исключительно необходимыми, они всегда несоизмеримо хуже наилучшего возможного решения, но в данном случае они помогают разрешить ситуацию и поэтому могут быть применены. И подобные примеры есть у Христа: он кнутом изгнал торговцев из храма, но в свете сказанного выше я беру на себя смелость предположить, что при этом он испытывал определенный стыд перед самим собой и думал о том, что он должен был бы

предпринять, чтобы эти торговцы сами, устыдясь, поспешили покинуть храм.

После этого отступления я вернусь к основному хоеу своих рассуждений, к оценке Французской революции и ее последствий.

Беспримерный успех и беспримерный крах этой революции, задохнувшейся в терроре, как мы уже сказали, породили два бесплодных человеческих типа. Первый тип – революционер, для которого революция – это столь великое и благое дело, что во имя ее он готов оправдать совершенно бессмысленный в своей сути период террора Французской революции, обосновывая его необходимость различными причинами оборонного и политического характера. На самом же деле этот террор являл собой ужасающую массовую истерию, которая была неспособна защитить революцию как раз от тех, от кого стремилась защитить, и скомпрометировала Французскую революцию в глазах всего мира, учинив в рядах блестящей плеяды революционеров кровавую резню, в которой удалось уцелеть лишь циникам и тем, кто не гнушался никакими средствами. Революционеры – это порода людей, которая посвящает свою жизнь изучению, разработке методов осуществления революции, превращения ее в непрерывный процесс; однако наиболее значительных результатов достигают те революционеры, которые вступают на революционный путь в момент необходимости, под влиянием сложившейся ситуации. Другой не менее бесплодный тип – это реакционер, который, ссылаясь на потрясение, вызванное периодом террора Французской революции, на его воздействие на людские массы, яростно протестует против любых революционных устремлений, преследует любое проявление революционности и даже реформаторского, критического духа, вызывая тем самым в различных властных

структурах судорожное стремление замкнуться в себе, обороняться, что в свою очередь дискредитирует в них ценные элементы. Опасность подобной позиции особенно велика в мире буржуазной демократии, или, скажем так, – в капиталистическом мире, объявившем себя ошломом завоеванных буржуазными революциями свобод или на самом деле отчасти являющимся таковым, так как паническая боязнь революционного духа дискредитирует и сами великие исторические ценности буржуазной демократии.

В атмосфере наивысшего культа революции, с одной стороны, и священного ужаса перед революцией, с другой, в столетии, последовавшем за Французской революцией, был совершен следующий, актуальный для европейского развития, шаг – была сформулирована идея социализма; то, что это произошло именно тогда, стало для социализма чрезвычайно тяжким бременем уже в момент зарождения. Программа социализма, в сущности, не что иное, как логическое продолжение программы буржуазно-демократической революции. В целом буржуазно-демократическую революцию можно определить как торжество человека-творца, вдохновенного создателя над кичливым и воинственным типом аристократа. В свое время феодальная, аристократическая европейская система как таковая была проявлением великой христианской организации общества в еухе укрощения насилия, однако эта организация общества в очень большой степени, в очень широком спектре была вынуждена идти на компромиссы с воинственной, буйной, варварской аристократией, которая явилась основателем и организатором европейских государств. По мере прогресса в выполнении этой задачи мирного урегулирования становилась все более явной утрата аристократией своих функций, и хотя к XVIII в. она достигла необычайной сте-

пени утонченности и смогла стать щедрым меценатом искусств и патроном блестящей культурной эпохи – не она создала ее, но она поддерживала ее в Европе в XVII–XVIII вв. – все же стало очевидно, что ее привилегии несоразмерны ее общественному вкладу. Тех, кто пользуется благами какой-то общественной системы, никогда не оправдывает их деятельность в области покровительства искусствам, решающее значение принадлежит все же достижениям в сфере организации общества; и с этой точки зрения уже к XVIII столетию стало ясно, что общественный вклад аристократии несоизмеримо меньше привилегий, которыми она пользуется. Она в такой степени передала фактическую организацию общества в руки чиновников из интеллигенции, что это неизбежно привело к тому, что данный слой чиновничьей интеллигенции, а также параллельно с ним организующая производство буржуазия выступили против нее.

В определенном смысле буржуазная революция есть логическое продолжение системы свобод феодального средневекового вассалитета. Однако лишь в Англии, Голландии и странах Северной Европы развитие в этом направлении было сравнительно непрерывным, во Франции же оно было нарушено. Несомненно, что у буржуазной и социалистической революций имеется гораздо больше точек соприкосновения и общих задач, чем у них обеих с такой направленной на уменьшение насилия формой организации, как христианский вассалитет. Социалистическая революция, в сущности, исходит из положения, что подобно тому, как общественная функция наследственного ранга изжила себя и подлежит упразднению – что и было совершено буржуазной революцией, – точно так изживает себя и общественная функция наследственного капитала и что для полной победы трудовой, созидательной формы жизни нужно упразд-

нить передачу по наследству не только графств и королевств, но и фабрик и заводов, чтобы каждый мог вносить свой вклад в общее дело в соответствии с реальными результатами своего труда.

По сути, это и есть содержание социализма. Таким образом, речь идет о второй фазе единого процесса. Однако в тот период, когда зарождалась идея социализма, в Европе достиг своего апогея кризис в оценке Французской революции, которая по существу двинулась вспять и зашла в тупик реставрации, так и не завершив своих начинаний. Именно тогда противостояние между революционерами и консерваторами было наиболее сильным, и по этой причине центральной категорией при формулировании задач социализма стала революция. Таким образом, вместо определения в первую очередь характера желательного состояния общества был установлен ведущий к нему путь, причем под знаком неизбежной необходимости революции, ее величия как животворной, обновляющей силы, и это в своей основе является ложной идеологией. Бесспорно, что в определенной исторической ситуации революция становится необходимой, однако строить идеологию на том, что определенные общественно-политические изменения достижимы исключительно революционным путем, есть насквозь ложный подход, который, не будь этого, по сути, романтического культа революции, при здравом подходе она просто не должна была иметь места. Теоретики социализма не раз утверждали, что нет такого господствующего класса, который добровольно сдал бы свои позиции, — и это такая же пустая фраза, как банальная сентенция о сути мировой истории как непрерывной борьбе классов или противоположное этому утверждение, гласящее, что мировая история — это цепь компромиссов. Рано или поздно уверенность в своих силах любого изживающего себя

господствующего класса должна пошатнуться, и он будет вынужден в той или иной форме уступить свои позиции. История знает немало примеров добровольной сдачи господствующим классом своих позиций, когда этот класс терял веру в свои силы или же когда он просто желал освободиться от власти, ставшей для него обременительной. Начиная с аристократии периода заката Рима и кончая аристократией Британской империи, мы можем найти ряд подтверждений этому. Такая добровольная сдача позиций сопровождается множеством компромиссов, в результате которых часть функций уходящая власть временно удерживает и переходный период растягивается во времени. То есть при этом устраняется то сопряженное с революцией потрясение, когда мгновенно происходит драматическое падение некогда могущественных фигур и утрата ими всех прежних позиций, что, безусловно, впечатляет, однако отнюдь не обязательно, более того, неразумно возводить необходимость этого потрясения в постулат.

Итак, в соответствии с идеей о невозможности добровольного отказа от власти со стороны господствующих слоев необходимость социалистического преобразования была сформулирована как необходимость новой революции непосредственно после буржуазной революции, что особенно странно, если принять во внимание наличие огромных отрезков времени, отделяющих одно от другого крупные революционные преобразования, что, кстати, признает и соответствующая марксистская схема. Если рабовладельческое общество и феодальное общество просуществовали века и если капитализм как вариант общественного устройства равен им по значению, то чем же обосновывается утверждение, что капитализм за какие-то считанные десятилетия должен изжить себя и на этом основании обязан уступить место

социализму? Обосновывается оно тем, что капитализм – далеко не столь основательно продуманная и подлинно целостная общественная система, каковой был христианский средневековый вассалитет, а, по сути, переходное состояние на пути к полному освобождению от собственной вассалитету зависимости от аристократии; это такое состояние, когда освобождение от гнетущей власти наследственного права уже произошло, а от власти наследственного капитала – еще нет; но это не две разные революции, а часть одной и той же.

Отсюда следует и то, что при более глубоком рассмотрении этих революций оказывается, что в тех странах, где буржуазно-демократическая революция прошла с должной основательностью, там практически невозможно осуществить подлинную социалистическую революцию, поскольку буржуазно-демократическая революция по сути ликвидировала моральный гнет, сопряженный с господством наследственного права, и в условиях сложившегося свободного строя возникла возможность пусть постепенного, но мирного осуществления второго преобразования. Если же обратиться к странам, где произошла социалистическая революция, то при ближайшем рассмотрении окажется, что в этих странах буржуазная и социалистическая революции, можно сказать, совпадают во времени – как в России, где их отделяли друг от друга считанные месяцы. То есть речь идет не о буржуазной революции и социалистической революции, а о двух фазах одного революционного процесса: на первой фазе создавшийся вакуум заполняет слабосильная, неспособная к активным действиям буржуазия, которая не в состоянии овладеть ситуацией, а на второй фазе хорошо подготовленные, профессиональные революционеры, одержимые идеей социалистической революции, устанавливают прочную диктаторскую власть. На самом же деле

подлинной революции не происходит ни на первой, ни на второй фазе: обе эти фазы – всего лишь часть необходимой революции, причем и этот частичный результат обременен различными осложняющими положение факторами.

Итак, если в XIX в. приверженцы идей Французской революции – от Гарибальди до Петефи – хотя и пытались всячески оправдать период террора Французской революции, но не спешили следовать его примеру, будучи людьми, верившими в свободу, в институты свободы и стремившимися реализовать эту свою веру, – то выдвинутая в XIX в. программа социалистической революции не только заведомо исходила из неизбежности революции как универсального средства решения всех проблем, но и рассматривала как должное характерное для атмосферы Французской революции превращение насилия в постоянное. То есть эта программа по сути была нацелена на то, чтобы после осуществления достижимых посредством кратковременного насилия подлинно благотворных перемен уже при применении постоянного насилия проводить изменения, основанием для которых служили не непосредственные реальные потребности общества, а проистекавшие из этой программы идеологические установки. К концу XIX – началу XX в. этот культ насилия, свойственный самоцельной революционности, нес в себе угрозу чрезвычайно опасных последствий. Дело в том, что к тому времени в обществе сплотились, с одной стороны, те силы, которые в результате демократической революции утратили свои позиции или уверенность в своих возможностях, а с другой стороны, силы, которых реальная возможность социалистической революции и таившаяся в ней угроза их интересам побуждала к отчаянной самообороне и ответным действиям. К словам, выбитым из колеи буржуазной революцией, относит-



ся, в первую очередь, аристократия, которая в большей части Европы еще не исчезла полностью с арены политической жизни, но позиции ее крайне ослабли; далее следует значительная часть мелкой буржуазии, оттесненной на задний план крупным капиталом, затем слои чиновников, чувствовавших себя обделенными рядом с богатыми буржуа, а также – и в не меньшей степени – широкие слои крестьянства, которые с большой неуверенностью и замешательством кое-как приспособлялись к капиталистическим формам хозяйствования, а то и всячески защищались от них. Все эти переходные слои, которые в отличие от пролетариата, находившегося в состоянии крайнего угнетения и однозначно избравшего позицию противостояния, создали новую, своеобразную идеологию – не типично революционную, а скорее ностальгическую, ориентирующуюся в прошлое и возводящую его в культ, которая, однако, позаимствовала у революционной идеологии культ неограниченного насилия: в сущности, именно эти общественные коллизии и послужили почвой для зарождения того явления, которое сегодня мы называем фашизмом. Других – национальных – проблем, приведших к фашизму в Европе, в данном случае мы не касаемся, однако важно отметить, что фашизм – это одно из самых чудовищных явлений, возникших как побочный продукт частичной неудачи Французской революции. Второй ее побочный продукт, не менее чудовищный, – это то явление, которое можно обозначить словом «сталинизм» и которое по сути представляет собой не что иное, как еще одно следствие применения постоянного насилия: именно сталинизм, подобно идеологии французских якобинцев, пришел к убеждению, что насилие, к которому, естественно, прибегали зачинатели революции в отношении своих заклятых врагов, поборников прежнего общественного устройства,

применимо не только против сил старого мира, но и против всех несогласных, непокорных, а то и попросту соперников внутри собственной организации. Тем самым сталинизм вверг общество в вакханалию насилия, что крайне скомпрометировало дело революции и, подобно тому, как это произошло во времена Французской революции, привело к передаче власти в руки бюрократов, ловких манипуляторов, циников, уцелевших в эпоху террора. И хотя Вторая мировая война покончила с крайними проявлениями фашизма, мир все еще, по сути, не выбрался из чудовищной ловушки того ложного, надуманного противоречия, которое и поныне проявляется в трактовке Французской (а теперь уже и русской, Октябрьской) революции и которое привело на сцену эти два бесплодных человеческих типа – революционера и реакционера, а затем и порождения их дальнейшей деформации – сталиниста и фашиста, или, выражаясь более современно, «маккартиста» [31]. Эти два противостоящих человеческих типа, можно сказать, паразитируют друг на друге: они просто необходимы друг другу, ибо каждый из них оправдывает содеянное им существованием другого; туго им пришлось бы друг без друга, так что время от времени им приходится инсценировать враждебные заговоры, создавая тем самым себе врага, который так необходим каждому из них для оправдания собственных действий.

Как же обстоят сегодня дела на фронте необходимых общественных изменений в Европе? Во-первых, существует капитализм, в котором обладающая властью крупная буржуазия, как в свое время и аристократия, точно так же обеспечивает общественный результат не сама, а с помощью множества тесно связанных с ней, но все же в решающем смысле отличающихся от нее руководителей из интеллигенции; и по существу в совокупности со-

ставляющих капитализм частных лиц, располагающих неслыханными материальными средствами и в то же время не несущих никакой ответственности, следует считать точно так же утратившими функцию и точно так же подлежащими исключению с помощью какого-то переворота, как в свое время аристократию. Что же препятствует такому перевороту?

Существует много препятствий. Самое главное препятствие – именно то, что все это происходит в обществе, которое уже оставило позади великий гражданский переворот и организовало присущие ему институты свобод. В еухе этих институтов свобод оно владеет средствами для последовательного, но по сравнению с данной задачей слишком медленного переворота, то есть оно просто не способно дать такие готовые на все слои и силы, которые могли бы стать носителями революционных изменений. Вдобавок к этому, как показал Маркузе, организованная рабочая масса в тени этого умного капитализма, пусть на второстепенном уровне, но и сама стала участницей этой власти, то есть перестала быть слоем, склонным к радикальной революции. Таким образом, у подлинной революции нет реальных перспектив. На это Маркузе, исходя из догмы, что революция должна непременно произойти и что решающие перемены не могут произойти иначе, как с помощью революции, вынужден произвести искусственный и насильственный смотр маргинальным революционным факторам, стоящим за рамками основного производственного аппарата общества: студенческая молодежь, угнетаемые расовые группы, различные слои, стоящие вне общества или отодвинутые на обочину его, однако он не говорит, как они, вместе взятые, могут стать носителями революции, связанной с захватом власти. Он не смог прийти к представляющемуся наиболее естественным выводу, что с помо-

щью позитивной и плодотворной критики общества со стороны этих слоев и еще большего подрыва и без того шаткой уверенности в себе стоящей у власти крупной буржуазии можно подойти к намеченным изменениям, потому что эти слои, собственно говоря, уже пятьдесят лет пребывают в состоянии пошатнувшейся уверенности в себе, и только панический страх социалистической революции постоянно вынуждает их к оправданию своей власти, с одной стороны, с помощью очень умной социальной политики и политики разделения власти, а с другой стороны, с помощью новых идеологий, ставящих их на одну доску с технократами и технократической интеллигенцией, пытаясь тем самым оправдать свое существование. Однако владеющая собственностью по праву наследования крупная буржуазия и технократическая интеллигенция представляют собой абсолютно различные вещи; и как бы ни пыталась крупная буржуазия поставить рядом с собой и привлечь на свою сторону технократическую интеллигенцию, сегодня она по существу представляет собой лишь балласт последней.

Этот западноевропейский капитализм, прошедший в течение многих веков через плавильные печи христианской организации общества и формирования человека-христианина, на самом деле представляет собой более моральную форму организации общества, и поэтому не может не быть крайне чувствительным к критике, подрывающей его уверенность в себе, если последняя оставит свои попытки угрожать абсолютно нецелесообразной в данной ситуации революцией, которую она к тому же неспособна осуществить.

Для концепции социалистической революционности, особенно революционности в ее марксистской трактовке, столь же ошеломляющим «голом в свои ворота» было выдвигание на первый план экономических факторов,

что дает повод и возможность рассматривать в качестве критерия ценности общественных систем обеспечиваемое ими материальное благосостояние. Это дает капитализму повод включиться в состязание в качестве чаще всего значительно превосходящего по силе соперника, хотя нигде не сказано, что благотворность той или иной общественной системы определяется количеством производимых товаров и достигаемым за счет этого стремительным ростом благосостояния. Стремительный рост благосостояния может принести столько же вреда, сколько и пользы. Решающий момент – это внутреннее равновесие общества, постоянное уменьшение в нем насилия и социальная справедливость, удовлетворяющая все общество в целом. Именно это, а не величина годового прироста в экономике, является критерием благоприятного общественного устройства. Кризис капитализма состоит как раз в том, что, несмотря на быстрый рост и без того высокой продуктивности, а также на обеспеченную рабочим сравнительно высокую в процентном отношении долю участия в пользовании плодами этой высокой производительности, в обществе постоянно тлеет недовольство множеством существующих в нем несправедливостей, поскольку, несмотря на то, что капитализм предоставляет громадным массам людей неслыханные возможности активности, он при этом не обеспечивает им соответствующих общественных функций, а во-вторых, продолжает оставлять довольно значительные маргинальные группы в состоянии нищеты. Ни революционные выступления интеллектуальной молодежи, ни отчаянные акции маргинальных групп не с состоянием свергнуть существующий общественный строй, но в соединении с конструктивной критикой со стороны общества они могут поколебать уверенность состоятельных слоев общества, которые и без того гетероген-

ны, разобщены и не имеют объединяющего их центра. Я умышленно не употребляю выражения «господствующие классы», потому что суть демократической революции как раз и состоит в значительном рассредоточении власти, и социальная критика, которая повсюду ищет господствующие классы, приписывая им столь высокую степень солидарности и способности к координированным действиям, каковой они отнюдь не обладают, по существу является абсолютным анахронизмом, перенесением прежнего образа монархического правителя в современные условия. И поскольку в наше время в странах Западной Европы или в Северной Америке нет такого «главного правителя», такого господствующего ядра или слоя, который можно было бы рассматривать в качестве субъекта власти, стоящего над обществом, то приходится прибегать к гротескной фразеологии о господстве тех или иных «кругов». Что же это, собственно, за «круги»? Может быть, это салоны или собрания пайщиков акционерных обществ? И где находятся эти «круги», которые можно было бы назвать господствующими? На самом же деле то, что в стране, обладающей институтами демократических свобод, проявляется как совокупность факторов власти, есть конечный результат сложнейшего состояния равновесия; и это единение факторов власти может быть подорвано в своих самых различных точках, поколеблено в своей уверенности, в определенных случаях расколото, разъединено на отдельные силы, которые можно привлечь в качестве союзников.

Однако для всего этого необходимо раз и навсегда отказаться от безнадежно устаревшей революционной фразеологии и понять, что революция весьма полезна в одних ситуациях и вовсе бесполезна в других. Не имеет смысла прибегать к силлогизмам вроде того, что револю-

цию можно совершить и мирным путем, и парламентским, ибо при этом я или превращаю всю революцию в отвлеченный образ – поскольку если я говорю, что революцию можно совершить парламентским путем, то это по сути всего лишь образ, – или же, если я действительно полагаю, что парламентским путем добьюсь какой-либо смены власти, а затем, уже имея власть, извлеку на свет припрятанное до поры до времени насилие, то это лишь ловкий маневр, который в конечном счете снова вызовет такой же панический ужас и на деле приведет к победе реакции, как это уже не раз случалось в истории. Если же речь идет о том, что революцией именуют какие-либо значительные изменения, которых удалось добиться посредством системы свобод и парламентских методов, то это такое расширительное толкование слова «революция», к которому мы прибегаем, лишь отдавая дань революционной романтике, вместо того чтобы назвать вещи своими именами, а именно социальными реформами, постепенными преобразованиями; а это уже такие категории, которые с позиций революционности, естественно, подвергаются всяческой анафеме. Сторонники революционного пути справедливо отвергают эти категории, если кто-либо во что бы то ни стало настаивает на реформах и исключительно мирном переходе в тех ситуациях, когда революционный путь является более коротким, более результативным и более простым. Но и другая крайность – стремление совершить революцию любой ценой даже в той ситуации, когда это невозможно – является проявлением такой же ограниченности, как и в предыдущем случае. Однако здесь следует добавить, что в странах, где существует жестокая, варварская власть реально проявляющих свою силу господствующих классов, защищенных прочной броней жестокосердия от каких-либо угрызений совести, как это, например, имеет место

в странах Латинской Америки, наблюдается наличие классических условий классической революции, обоснованность, а также успех которой во многих аспектах очевидны. Однако чрезвычайно важно, чтобы такая классическая революция сумела сохранить и классические формы демократической революции и не стремилась к перманентной насильственной власти меньшинства, удержать которую можно лишь подавив большинство и повергнув в панический страх противников, что в конечном итоге пойдет лишь на пользу реакции. Иными словами: там, где имеются условия для классической революции, необходимо вернуться к ее классическим, демократическим формам. Не случайно, что классические демократические формы революции возникли под вдохновляющим влиянием славного начала Французской революции, штурма Бастилии, венгерской революции 1848 г. или других подобных ей так называемых буржуазных революций, несмотря на то, что официальная идеология рассматривает такого рода революционность как отжившую, устаревшую, место которой должна занять социалистическая революционность, являющая собой более высокую ступень развития. Однако именно эти классические революционные традиции с их универсальностью, надклассовым характером, общечеловеческими ценностями и ролью интеллигенции как ведущей силы и поныне остаются для молодежи более притягательными и вдохновляющими, чем те революции, которые имеют свой регламент, свой четко разработанный план, которые подготавливаются на основе некоей революционной науки и совершаются под знаком этой якобы научной теории.

Начиная с Октябрьской революции в России, общественная реальность вновь и вновь вынуждала последующие социалистические революции идти на союз со всеми



демократическими силами, в том числе и сторонниками самых широких демократических свобод, то есть к проведению так называемой политики Народного фронта. Однако догматический подход к диктатуре пролетариата как единственно возможной, подлинно социалистической программе вновь и вновь приводил к тому, что ведущие силы социалистических революций рассматривали осуществление политики Народного фронта как чрезвычайно кратковременный и чисто тактический маневр, от которого следовало отказаться при первой же возможности. То есть эксперименты с политикой Народного фронта и последующий отказ от них — это в сущности характерная черта социалистического революционного движения, которое лишь тогда сможет выйти на прямую дорогу, когда мы, наконец, поймем, что создание Народного фронта — это не временный тактический маневр, а единственно возможный плодотворный путь для Европы, где практически нет никаких шансов на революцию, совершаемую доведенными до отчаяния народными массами. С подавлением Венгерской революции 1956 года и остановкой чехословацких преобразований в 1968-м году по сути были устранены попытки возвращения к политике Народного фронта, причем в обоих случаях это оправдывалось ссылками на угрозу реакции, реставрации, возврата к капитализму. В действительности же с большой долей вероятности можно утверждать, что ликвидация крупного капитала и крупных поместий в этих странах привела к таким коренным и необратимым изменениям, что никакая смена режима практически не в состоянии повернуть историю вспять, так что вероятность серьезной угрозы длительной реакции или реставрации в какой-либо из упомянутых стран ничтожно мала. Крайности в отдельных случаях могут иметь место, но прочное закрепление реакции или воз-

возможность реставрации маловероятны. В этой связи следует отметить, что именно существующая ныне в социалистических странах однопартийная система и отказ от применения принятых на Западе методов обеспечения прав и свобод, более того, глубокое презрение к ним и их категорическое неприятие не только лишают граждан этих стран, в том числе и граждан Советского Союза, права пользоваться этими гарантиями, заклеяемыми как буржуазные, а на самом деле расширяющими свободу любого общества, но в значительной мере препятствуют и мировому распространению влияния социализма, существующего в этих странах. Сложившаяся на Западе система обеспечения гражданских свобод, расцениваемых социализмом как буржуазные, а на деле универсальных, — парламентаризм, многопартийность, свобода печати, юридические гарантии прав человека, независимый суд, судебная защита от произвола администрации — в своей совокупности представляет собой одно из самых великих, самых прочных и самых выдающихся завоеваний, которых западной культуре удалось достичь в организации общества, и одновременно с уходящими в глубь истории христианскими корнями по существу представляет собой единственное реальное и давнее прочный результат выражение христианской программы ненасилия. Считать это особенностью капитализма, буржуазии, гражданского общества — все равно, как если бы для подтверждения доставшегося нам в наследство от Французской революции опасного культа насилия оправдывали бы такие структуры политической власти, для существования которых необходимо постоянное, временами в более умеренной, а временами в острой форме, насилие, превышающее количество насилия, существующее в так называемых буржуазных демократиях. Если бы в большинстве или во всех социалистических странах

нашлось бы такое политическое руководство, которое решилось бы на представляющийся сегодня весьма рискованным шаг – скачок к правовым свободам западного типа, то оно с изумлением убедилось в том, что, возможно, после небольших колебаний, завоеваниям социализма не угрожает никакой серьезной опасности, а наоборот, что освободилось неслыханное количество творческой энергии и многократно возросло всемирное по своему масштабу воздействие социалистических стран на переживающий моральный, политический и психологический кризис западный мир. Нужно было бы всего лишь в какой-то форме (например, частично распустив государственную бюрократию) ликвидировать однопартийную бюрократию и осознать, что современное общество, полностью сбросившее балласт аристократии по рождению и уже частично избавившееся и стремящееся полностью избавиться от балласта экономической аристократии по праву наследования, не нуждается в руководстве политической аристократии и господствующего класса на основе селекции другого рода, потому что вообще не нуждается в господствующем классе, ведь уменьшение и ликвидация насилия одновременно означает уменьшение и ликвидацию господства; таким образом, современное общество нуждается лишь в свободно перемещающейся на основе достижений элите, а не в аристократии, не в господствующих классах и группах, претендующих на руководство обществом как на основное занятие. С другой стороны, в связи с критикой китайскими коммунистами и западными массовыми студенческими движениями бюрократизированной революционности советского типа мы можем сказать, что «*medicina rei us morbo*», лекарство хуже болезни, которую желают с его помощью врачевать, ведь эти движения не выходят из дьявольского круга культа революционного насилия, они лишь желают поставить на место бю-

рократизированного насилия анархическое насилие. Итог может быть двояким: или возникший подобным путем режим насилия рано или поздно в какой-то форме сам обюрократится и окостенеет или же плодами установившейся анархии каким-то образом воспользуется какая-то ретроградная реставрационная реакция. Общественная реформа, которая не стремится к достижению результата, а лишь ведет к перманентному состоянию реформирования, революции и не имеет собственного представления о находящейся в определенном равновесии системе, представляет собой квадратуру круга, это может привести лишь к безумию. А в существующей системе есть единственное лекарство от знакомых явлений бюрократизации и косности – сведение до минимума количества насилия и смелое увеличение количества свободы. Только институцированные, но при этом наполненные свободой и духовно свободные формы свободы способны оказать реальное, живое и постоянно действующее, но в то же время проходящее в организованных формах противодействие тому явлению, которое называется модным словом истеблишмент, то есть бюрократическим и угнетающим факторам общественно-властных отношений.

И здесь мне хотелось бы отчасти в качестве отступления, а отчасти возвращаясь к сказанному выше, коснуться европейской системы демократических свобод, которая возникла на основе английской политической практики и идеологической программы Французской революции. Ее главные компоненты – это разделение властей: парламент, действующий на основе всеобщих выборов и народного представительства; исполнительная власть, ответственная перед парламентом и тем или иным путем избираемая и отзываемаемая народом или действующая в пределах ограниченного срока; независимый от исполнительной власти суд, полномочия которого

в той или иной форме распространяются и на действия самой власти; обеспечивающая контроль над всеми этими институтами свобода печати, свобода слова, свобода собраний и прочие свободы; развитое местное самоуправление. Все это в совокупности образует взаимосвязанную, единую систему, которая подобна цепи, из которой нельзя изъять и одного звена, не вызвав при этом негативной реакции во всей цепи в целом. Эту систему демократических свобод нельзя втиснуть в рамки таких кратковременных переходных явлений, как капитализм, господство крупной буржуазии или буржуазной идеологии: своими корнями она уходит в гораздо более ранние эпохи, и будем надеяться, что она останется действительной и в будущем. Эту систему можно рассматривать как одно из наиболее бесспорных, наиболее прочных, истинных и гуманных, менее всего ведущих к опасным последствиям великих достижений западной культуры; хотя в процессе своего формирования эта система впитала в себя множество антиклерикальных элементов, истоки ее все же восходят к той деятельности по организации общества, начало которой в Западной Европе положило христианство. Точнее, глубинные корни этой системы уходят в греко-римскую политическую практику, получившую дальнейшее развитие в возникшей под влиянием христианства организации общества, и в этом смысле система демократических прав и свобод является собой результат единственной по-настоящему успешной реализации нравственной программы христианства, провозглашающей неприменение насилия. Истории неведома другая система, которой в такой же степени удалось бы освободить сферу политики, а следовательно, и всю общественную жизнь от постоянного страха перед насилием со стороны власти; система, которая в той же мере обеспечила бы условия для того, чтобы

власть имущие без применения к ним насилия уступали место тем, кто в данный момент представляется более подходящим для политического руководства, и которая обеспечила бы для народа такую широчайшую возможность в решающий момент избавиться от неудобных ему представителей политической власти. Конечно, здесь и речи нет о том, что при наличии этой системы народ непосредственно реализует власть через институты демократии. Власть по-прежнему принадлежит меньшинству, но огромным достижением является то, что это меньшинство уже не находится в том положении, чтобы его было невозможно отстранить от власти. Хотя основывающаяся на гражданских правах и свободах демократия не может воспрепятствовать находящемуся у власти меньшинству реализовать посредством ловких манипуляций немало своих намерений, которые не соответствуют непосредственным целям народа, она все же способна помешать стоящим у власти творить то, что явно противоречит ясно выраженной воле народа.

В качестве еще одного отступления, вернувшись к тому, что я говорил о ходе исторического формирования европейского общественного развития, хотелось бы несколько слов сказать о значении Реформации.

Реформация в религиозном плане означает отказ от компромисса, который заключило раннее христианство в свой начальный период с тогдашним язычеством в отношении целого ряда институтов, целого ряда ритуальных форм, заимствовав и переработав в себе их различные формы: таковой является деформация культа Девы Марии и святых и целого ряда ритуалов до в большей или меньшей степени магической практики и т. д. Она также означала выступление против порочных явлений, связанных с превращением папства в римской католической церкви в центр власти. И наконец, реформация так-

же означала отказ от в той или иной степени магической и мистической оценки целибата. По мере впитывания обществом христианских элементов и наполнения его христианскими организационными факторами элементы, унаследованные от язычества или квалифицированные как таковые, становились все большим грузом, и обратное воздействие началось прежде всего в тех северных странах, которые, как раз в результате большого предшествующего влияния именно христианского духовенства и монашества, были способны гораздо серьезнее воспринять христианство, чем Средиземноморские страны, воспринявшие христианство в несколько облегченной форме. Последствия церковного раскола, возникшего в результате этого, во многих отношениях негативны. Во-первых, полностью или частично было разрушено и разделено на части великолепное здание средневековой универсальной христианской организации, далее было упразднено, вернее, утратило всеобщее доверие, то способное к большим результатам всеобщее моральное и идеологическое призвание учительства, которое своими семенами и первыми ростками было обязательно римскому духовенству. Кроме того, своеобразным локальным последствием Реформации в Германии стало усиление феодального абсолютизма. Но к каким бы опасным побочным последствиям ни привели пуританизм и пиетизм, мы должны в основе положительно оценить то гораздо более серьезное, чем когда-либо до тех пор, можно сказать, очень серьезное отношение к моральным требованиям, сложившееся в протестантских странах. Другим значительным последствием явилось то, что парадоксальным образом произошло лишь в Англии и в Голландии: что развитие в направлении современной свободы стало органическим продолжением средневековых институтов свободы. Здесь мы должны подчеркнуть,

что рациональные концепции Нового времени, согласно которым Реформация как таковая явилась якобы каким-то особенным провозвестником политической свободы, не состоятельны применительно как к ее лютеранской, так и к кальвинистской форме, это справедливо разве что в отношении свободных сект. Ее подлинное воздействие состоит даже не в том, что она была направлена непосредственно на политическую свободу, а скорее в том, что она способствовала созданию типа людей с особенно высокими моральными потребностями, у которых позднее появились и большие потребности в политической свободе. А наиболее опасным последствием раскола церкви стало то, что на оставшихся католическими территориях духовенство целиком погрузилось в свои частично светские, частично моральные властные структуры и создавало прежде всего средства морального принуждения, а не средства внутренней моральной организации. Кроме этого, именно в католических странах создание папского абсолютизма косвенно способствовало укреплению неограниченной власти королевского абсолютизма и почти полной ликвидации вдохновленных средневековым христианством конституционных институтов. Так случилось, что начавшиеся в Англии и Голландии освободительные движения сохранили органическую связь со средневековыми институтами свободы, а в противоположность этому в католических странах, прежде всего во Франции, развитие в направлении свободы произошло под знаменем полного разрыва с прошлым и антиклерикализма, о различных вредных побочных воздействиях чего уже говорилось выше.

Еще одно отступление, вернее, отсылка к сказанному выше. Я хотел бы коснуться проблемы эксплуатации. Согласно марксовой схеме развития, эксплуатация представляется в качестве некоего абсолютного явления: есть



начальная неэксплуататорская примитивная общественная форма и конечная неэксплуататорская форма наивысшего развития, между которыми, как учит марксизм, существуют три эксплуататорские формы. На самом деле эксплуатацию следует представлять в гораздо более относительной и динамичной форме. Прежде всего, следует подчеркнуть, что говорить о развитии от эксплуатации и эксплуататорских систем в направлении неэксплуататорских систем, точно так же, как и о революции, можно исключительно в таких обществах, которые в качестве серьезного предприятия поставили перед собой цель уменьшения количества насилия и несправедливости, царящих в обществе, и создали для этого соответствующую идеологию и соответствующие организационные формы. Как я уже говорил, это произошло в двух культурных кругах: в греко-римском европейском и в китайском восточно-азиатском. Там, где нет таких воздействующих в масштабе всего общества институций, невозможно развитие от эксплуатации к неэксплуатации, там в результате цивилизационного процесса может произойти самое большее обновление форм, но эксплуатация является таким же само собой разумеющимся состоянием общества, как и существование вышестоящей. Об эксплуатации в форме осуждения обычно говорят и стоит говорить в таких обществах, в которых имеет место коллективное общее движение к свободе и справедливости. А в этом смысле то, является ли общественный строй эксплуататорским, зависит не от того, в чьей собственности находятся те или иные блага – в общей собственности или в частной собственности, в рабовладельческой или в крепостной, – а от того, в какой степени имеет место реальный обмен услугами между людьми. В таком обществе, которое глубоко верит в наследственный характер статуса человека от рождения (а таковым безусловно было как

рабовладельческое, так и феодальное общество), не имеет большого смысла говорить о том, что наследование власти носит эксплуататорский характер. Естественно, в этом есть опасность эксплуатации, однако в духе этой веры мы должны спросить, обязывает ли существующий общественный строй носителей власти к осознанию взаимных услуг, несут ли господа обязанности, которые как-то компенсируют обязанности их подданных, и в этом случае до того момента, пока власть имущие исполняют свои обязанности по отношению к своим подданным, эта общественная система не является эксплуататорской. Она становится эксплуататорской тогда, когда господа не исполняют своих функций или же когда их функции в результате общественного развития становятся бесполезными. Однако опасность утраты полезности не ограничивается известными до сих пор эксплуататорскими системами: любая существующая и любая утопическая система, например система на основе общественной собственности на средства производства, может стать эксплуататорской в тот момент, когда руководители этой системы каким-то образом станут пользоваться благами, не неся никакой функции. Конкретно: пока феодал исполняет обязанности, которые он должен нести по отношению к крепостным, именно он обеспечивает защиту крепостных, чтобы те мирно трудились. Пока капиталист играет активную роль в организации общества, именно он обеспечивает рабочих работой. Пока партийная бюрократия несет активную и положительную руководящую роль, именно она обеспечивает возможность существования свободного от эксплуатации современного социалистического общества. Но если феодал утрачивает функцию, но продолжает пользоваться благами своего положения, он немедленно превращается в трутня, которого содержит бедный крепостной. Точно так же, если

в результате капиталистического развития в качестве организатора экономики выступает уже не сам капиталист, а гораздо более широкая группа людей, не владеющая собственностью, то капиталист сразу же становится паразитом, живущим за счет труда рабочих. Точно так же и в случае власти однопартийной бюрократии может случиться, что вместо положительной роли в организации общества она станет играть паразитическую роль. Таким образом, эксплуатация – понятие относительное, ее следует оценивать с учетом данных организационных форм общества. Это важно знать потому, что марксова схема пробудила в нас чрезмерные ожидания и вызвала иллюзию, что передача средств производства в общественную собственность сама по себе ликвидирует эксплуатацию. Об этом нет и речи. Передача средств производства в общественную собственность ликвидирует эксплуатацию лишь в том случае, если существует такая бюрократия с чистыми руками и высокой моральной ответственностью, которая организует использование переданных в общественную собственность средств производства на пользу всего общества. Если же вступают в действие моменты, превращающие эту бюрократию в паразитическую, злоупотребляющую своим положением, то и при социалистическом строе, основанном на общественной собственности на средства производства, немедленно возникает – к вящему удивлению и изумлению – возможность эксплуатации. Ясно, что директор завода, который добивается выполнения норм любыми средствами, ради получения наград и повышения по службе, является таким же эксплуататором рабочих, как и капиталист, кладущий в карман прибавочную стоимость. То есть нельзя пользоваться узким толкованием эксплуатации, потому что потом катастрофический крах иллюзий от того, что эксплуатация возможна и при социализме, приведет к та-

кому разочарованию, которое откроет путь полному цинизму. Хотя никаких оснований для цинизма и для вывода, что любая система в мире в большей или меньшей степени основана на угнетении и эксплуатации, нет: общество, фундаментом которого является свобода и отсутствие эксплуатации, и в самом деле возможно, однако для этого в первую очередь необходимо последовательно и не в меньшей, а в еще большей степени, чем до сих пор, обеспечивать функционирование институтов свободы, потому что отсутствие институтов свободы является рассадником и экономической эксплуатации.

И в этом духе следует подходить к оценке, например, актов национализации, которые часто и многими — что не раз подвергалось критике и со стороны марксизма — рассматриваются как исключительно социалистическое завоевание. Беда в том, что национализация не является социалистическим завоеванием даже в том случае, если проводится социалистами, но в направлении большей концентрации власти. Государство вообще в своей основе является классическим средоточием концентрации власти, в котором заложены возможности сильнейшего гнета, устрашающего гнета, во много раз превышающего угнетение со стороны частной собственности, и которое, согласно марксистской схеме, должно отмереть в отдаленный и конкретно неопределенный срок. В сущности, гротескна сама ситуация, что передачу в государственную собственность вообще можно представить как какое-то чудесное, антиэксплуаторское и способствующее прогрессу свободы достижение. И также удивительно представлять национализацию школ как освобождение школы из-под тирании церкви, хотя на самом деле только самоуправление школ, самоуправление воспитательных систем и самоуправление учащихся представляет собой путь освобож-

дения от любой, как от церковной, так и от государственной, тирании. Как вообще могла возникнуть столь странная ситуация, что национализацию как в хозяйственной, так и в любой другой сфере было возможно выдавать за достижение свободы?

Для этого необходима была уникальная европейская предпосылка: существование исполняющей свои обязанности, преисполненной высоким моральным сознанием верности и лояльности, европейской администрации, европейской бюрократии, которая – вместе с институтами свободы – опять-таки представляет собой одно из значительных, хотя и таящих в себе многие опасности, достижений в последовательном наполнении европейской государственной организации элементами морали и долга. Во всей мировой истории такой аппарат, состоящий из относительно честных, относительно некоррупцированных, руководствующихся институцированными моральными аспектами и отбираемых на основе этих аспектов государственных чиновников, был известен лишь в европейском и китайском культурных кругах. Маркс, который ни во что не ставил этот аппарат, ухитрился при этом не заметить, что только наличие подобного аппарата могло привести к мысли, что путем национализации, то есть под руководством государственной бюрократии, можно сделать что-то более честным, справедливым, менее коррупцированным и более свободным, чем до сих пор. В таких странах, здесь я имею в виду прежде всего страны третьего мира, где отсутствует достигшая высокой степени моральной культуры бюрократия, национализация становится чистым бедствием, и не может быть никакой уверенности в том, что она не приведет к росту коррупции и расширению сферы обогащения коррупцированных государственных чиновников, более того, вероятность этого весьма велика.

В качестве еще одного отступления мы должны сказать несколько слов о собственности и о связанной с ней понятийной путанице. Собственность представляет собой центральный спорный вопрос в борьбе между социализмом и капитализмом и одновременно дает возможность для фальсификации самого понятия. С одной стороны, защитники собственности подчеркивают ее значение как средства самореализации и расширения свободы личности, что нашло выражение в соответствующих папских энцикликах [32]. Частичная обоснованность подобных рассуждений и их несостоятельность в главном станут очевидными, стоит нам провести различие между подлинной собственностью, непосредственно связывающей человека с каким-то объектом, позволяющим расширить его свободу (будь то участок земли, который он возделывает, дом, в котором живет, инструмент или мастерская, которыми пользуется), и такой собственностью, которая уже ввиду своих громадных размеров несоизмерима с деятельностью одного человека. В этом случае собственность означает не отношения между человеком и объектом, а властные отношения человека с другими людьми, возможность с помощью называемого его собственностью объекта пользоваться услугами других людей без какой бы то ни было компенсации или при непропорционально малой компенсации. Смешно говорить о собственности как средстве развития личности и расширения свободы в случае таких громадных владений и таких громадных предприятий, которые дают одному человеку неограниченную власть над тысячами людей. И в этом заключается обман со стороны защитников собственности. Но, с другой стороны, пренебрежение упомянутым различием тоже приводит на крайне ошибочный путь, потому что если мы заявляем, что ужасы частной собственности невозможно ком-

пенсировать иначе, как только поставив на место частной собственности всеобщую коллективную, то мы по существу продолжаем оставаться в заколдованном кругу собственности, причем крупной. Независимо от формы крупная собственность дает тем, кто занимает ключевые позиции в управлении ею, возможность распоряжаться другими людьми, неважно, зовутся ли занимающие эти позиции лица крупными собственниками, крупными землевладельцами, крупными капиталистами или какими-нибудь уполномоченными. По существу решение следует искать не в национализации и коллективизации, а в дроблении собственности и гуманизации отношений собственности. Это значит, что важна вовсе не концентрация собственности в руках бюрократии, а максимально широкое ее распределение – как фактическое, так и в виде предоставления права распоряжаться ею, что на практике есть не что иное, как рабочее самоуправление, то есть форма самоуправления в применении к экономике. И тут мы вернулись к институту прав и свобод и вновь должны констатировать, что огромная собственность, сосредоточенная в руках одного человека, является таким же врагом прав человека, как и собственность, управляемая централизованной государственной бюрократией. На самом деле требование, которому на первый взгляд отвечает национализация собственности, должно быть удовлетворено не с помощью концентрации государственной власти, а путем обеспечения использования собственности в интересах общества. Главное не в том, чтобы запретить частным лицам распоряжаться железными дорогами, автомобильными шоссе, почтой или учебными заведениями, а в том, чтобы всем этим они распоряжались в интересах общества. Важно не то, чтобы эти объекты были поставлены под контроль представителей государственной власти, а то, чтобы они служи-

ли общественным, а не частным интересам. Однако идея, что государство представляет интересы общества, есть фикция, она справедлива лишь относительно, причем только там, где существует некоррупцированная, честная государственная бюрократия. Но даже и в этом случае находящиеся на вершине государственной власти не обязательно представляют интересы общества, точнее, они представляют их лишь в той мере, в какой зависят от общества. Вот почему во многих отношениях весьма примечательна та тенденция, которая наблюдается в некоторых благополучных и мирных странах, например в Швеции; я имею в виду предоставление большего самоуправления некоторым общественно важным ветвям административного аппарата, который учитывает специфические интересы той или иной отрасли и способен защитить эти интересы не только от частных интересов, но и от необоснованного вмешательства государственной власти, нередко руководствующейся чисто политическими соображениями.

Таким же часто абсолютизируемым понятием является и понятие класса. Выдвигая программу ликвидации классового господства, марксизм в сущности следует своему образцу – Французской революции, давшей великий пример свержения абсолютной монархии и связанной с нею немногочисленной придворной аристократии. Не считаясь с тем, что класс капиталистов является собой разноликую, раздробленную, раздираемую внутренними распрями и разобщаемую противоречиями социальную группу, марксисты – в интересах как можно более драматичного свержения этой группы – намеренно представляют ее коллективной носительницей единой господствующей воли. В реальной жизни капиталисты делятся на заинтересованных в военной промышленности и не заинтересованных в ней, на сторонников го-



сударственного вмешательства и его противников, на заинтересованных в высококвалифицированном труде и заинтересованных в существовании массы темных рабочих, из которых можно выжимать все соки. Эти противоречивые интересы проявляются самым различным образом. Внутренняя солидарность, которую временами способен демонстрировать этот класс, в значительной степени является ответом на вызов со стороны социализма; перед лицом исходящих от него угроз и опасностей капиталисты, в интересах самозащиты, пришли к необходимости объединиться и организовать. Как только переход к социализму начнет происходить в более или менее гуманных формах, не сопровождаясь драматическими низвержениями и иными эксцессами, не будет ничего проще, чем, воспользовавшись несовпадением интересов и многообразием разных групп капитала, проведя существенное различие между тем капиталом, который, как, например, в военной, тяжелой промышленности, должен стать основным объектом подчинения общественным интересам и серьезного, вплоть до экспроприации, реформирования, и тем капиталом, которому можно дать развернуться в интересах использования присущей ему активности и организаторских способностей. Если, при соответствующей тактике, государственная власть сумеет воспользоваться этим различием интересов, классовая солидарность капиталистов, представляющаяся столь сильной и неодолимой, тут же превратится в ничто. Акцентирование этой солидарности нужно только для того, чтобы как можно драматичнее представить картину грядущего краха капитализма. Собственно, все это продиктовано эмоциональной потребностью, стремлением следовать великому образцу – Французской революции, потребностью в том, чтобы смена власти происходила в дыму и огне пы-

лающих замков. Это нужно было для того, чтобы показать людям возможность реванша, но по своему воздействию, пожалуй, скорей тормозило назревшие общественные реформы и революции, чем помогало им. И вообще, представление о господствующем классе, сформулированное марксистами, при всех претензиях на научность, из чисто тактических соображений, можно в сущности назвать нереалистическим. Господствующий класс изображается ими одновременно как крайне глупый, дабы внушить людям успокоительную мысль, что по глупости он сам пойдет по пути, ведущему к его неизбежной гибели, и крайне коварный и изощренный, дабы можно было инкриминировать ему любой злокозненный шаг. Подобное представление отвечает эмоциональной потребности и не имеет под собой никакой научной основы. Оно отвечает потребности в том, чтобы, с одной стороны, быть в полной уверенности относительно неизбежности поражения противника и одновременно подогревать справедливую и законную ненависть к нему. Одновременная недооценка и переоценка противника за себя отомстила, потому что именно под ее воздействием капитализм, по крайней мере в развитых буржуазных странах, оказался и в самом деле достаточно умен и хитер для того, чтобы защищаться и в определенном смысле постепенно поставить рядом с собой организованные рабочие массы, сделав их в какой-то степени своим, пусть не главным, союзником по интересам; в то же время он оказался достаточно умен, чтобы не идти, закрыв глаза, навстречу своей неизбежной гибели, как должен был делать согласно официальной концепции. С отмеченной эмоциональной потребностью согласуются и упоминавшиеся уже тезисы — как подтверждаемые, так и опровергаемые с помощью соответствующих примеров. Например, что в истории

не существовало господствующего класса, который бы добровольно расстался со своими привилегиями, или ленинское рассуждение о том, что неплохо было бы расплатиться с капиталистами, договориться с ними, но, к счастью, это исключено и о пугающей перспективе мирного перехода нечего и мечтать, потому что таковы уж капиталисты, что с ними не договоришься. Реальность же состоит в том, что капиталистов действительно трудно склонить к тому, чтобы разом ликвидировать капитализм, — просто по той причине, что они неодинаково мыслят. Но есть много возможностей для постепенной и частичной ликвидации капитализма, а именно в той мере, в какой в стране действуют институты свободы и реального удовлетворения реальных массовых потребностей. Однако марксистско-ленинский подход к социализму как раз обеспечивает капиталистам возможность, используя мелкособственнические инстинкты и жажду свободы, свойственные большинству общества, сделать его заинтересованным в сохранении капиталистической собственности и капиталистической свободы, вместо того чтобы, противопоставив заинтересованных в свободе и мелкой собственности людей классу эксплуататоров, напротив, сблизить их интересы с интересами рабочего класса и беднейшего крестьянства. Время от времени нечто подобное провозглашается под лозунгом Народного фронта, однако при первой возможности лозунг этот отбрасывается и союзники отодвигаются в сторону. И им еще повезло, если дело ограничивается только этим, и на повестку дня вновь выдвигается требование исключительного господства замкнутых идеологических групп, неизбежно ведущее к такому росту насилия, который делает невозможным функционирование институтов свободы и сотрудничество с большинством народа.

А сейчас вернемся к основному ходу наших рассуждений, которые мы прервали на том, что политическую программу социалистических общественных реформ нельзя проводить ни путем установления незыблемой власти бюрократии, ни путем постоянных энергичных революционных акций. Главная задача состоит не в том, чтобы решить, следует ли создавать бюрократические институты социалистической власти, социалистический истеблишмент, или же искусственно поддерживать состояние перманентной революционности. И вообще не стоит тратить слишком много слов и энергии на отвлеченные споры о том, каков правильный путь к перевороту, каковы лучшие методы захвата власти, как организовать революционную партию, как ей удержаться у власти, как добиться завоевания этой революционной партией прочных позиций. Все это бесплодные споры, потому что на эти вопросы нельзя дать не только научного, но и просто однозначного ответа. Ввиду внутренне присущих политике интуитивного, творческого характера ответ в каждом конкретном случае зависит от ситуации. Самой уязвимой точкой сегодняшних споров вокруг социализма является то, что в этих бесконечных и бесплодных словопрениях о тактических вопросах отходит на задний план задача создания конкретного позитивного образа нового общества, которое должно возникнуть в результате преобразований. Когда-то социализм считал своей главной задачей дать людям впечатляющую картину будущего общества – порой наивную, утопичную, но, благодаря социальной критике, все же привлекательную и обещающую устранение существующих несправедливостей. На практике же эта картина оказалась во многих отношениях наивной и нереальной. Теперь нам уже известно, что многое из нее невозможно осуществить: нельзя, например, упразднить семью, как представляли себе

социалисты прошлого века, нельзя так просто упразднить и нацию, как это им казалось возможным; общественная собственность сама по себе тоже не дает результатов, на которые они рассчитывали. Но сказанное не означает, что именно с учетом этих уроков мы не можем и не должны создавать реальной и обнадеживающей картины будущего. Разочарование, которое наблюдается в странах, где начал осуществляться или же полностью победил социализм, а также растерянность в рядах социалистических революционных сил в капиталистических странах, в значительной мере связаны с тем, что картина будущего стала крайне неопределенной. Она больше никого не интересует; вместо этого все погрузились в бесплодные споры о пути, ведущем к будущему обществу, и, в сущности, заняты поисками наилучших методов насилия, тогда как давно пора понять, что речь должна идти не об этом, а о поисках способов его уменьшения.

Если мы хотим создать достоверную и привлекательную картину будущего, то она должна в основном содержать следующие элементы.

Прежде всего следует подчеркнуть, что первым элементом в той или иной мере обнадеживающей картины будущего должно стать эффективное функционирование классических институтов демократии. Народное представительство, общегосударственное и местное самоуправление, контролируемая в какой-либо форме исполнительная власть, независимый суд, судебный контроль над властями, свобода слова, печати, собраний – таковы основополагающие и неотъемлемые элементы будущего свободного общества. Для плодотворного развития общества на основе этих элементов необходима, в первую очередь, дальнейшая разработка основополагающей по своей значимости идеи разделения властей (понятие разделения властей мы должны были уже раньше включить

в ту взаимосвязанную систему, которая в целом означает комплекс современных институтов свободы).

Разделение властей в его классическом понимании, сложившемся еще до Французской революции, означало в первую очередь противопоставление исполнительной и законодательной власти, то есть власти народа и власти короля, а также – как третий компонент – независимость суда. На сегодняшний день трактовать это понятие подобным образом уже недостаточно, но сам принцип следует сохранить и дополнить. По аналогии с принципом независимости суда следует наметить пути обеспечения независимости институтов воспитания, науки, просвещения; создать самоуправление в образовательной, научной областях, самоуправление объединений ученых, которое в будущем станет организационной формой управления, единственно способной обеспечить подлинно объективное, компетентное, профессиональное руководство приобретающей все большее значение наукой. Именно такое самоуправление будет способно к подлинно профессиональному руководству обществом, в развитии которого намечается явная тенденция к «научоцентричности». Традиционная государственная власть, концентрирующая свое внимание на военной и внешнеполитической сферах, неспособна к подобному руководству. Такой же структурированной, основанной на достаточно развитом самоуправлении должна быть, вернее, должна стать и экономическая деятельность, начиная с высшего организационного уровня самоуправления общегосударственного, промышленного, сельскохозяйственного аппарата, а также аппаратов других сфер производства и услуг, вплоть до самоуправления на конкретном рабочем месте. Абсурдна ситуация, когда рабочие находятся в подчиненном положении по отношению к централизо-

ванной бюрократии, но не менее абсурдна и капиталистическая практика, при которой рабочие массы не связаны или связаны только косвенно с центром власти, когда они ограничены в правах, но при этом относительно удовлетворены своим положением и не несут никакой ответственности за производство в целом, поскольку в сущности не допущены к управлению. В отличие от этого в картине будущего общества самоуправление занятых производительным трудом должно стать фактором, эффективным на всех уровнях некоей пирамидальной структуры, что должно возродить чувство ответственности работника за свой труд, и тогда явления такого рода, как безответственные забастовки или их безответственное подавление, полностью исчезнут или станут регулируемыми процессами. Конечно, отчуждение труда от его цели – это процесс, во многом определяемый развитием техники, и этот процесс сопровождается проявлениями, которые чрезвычайно трудно предотвратить. Мы уже прошли тот этап, когда трудящийся человек не только производил, но и наслаждался плодами своего труда; с течением времени человек настолько отделился от результата своего труда, что уже не может найти в нем непосредственного удовлетворения, то есть достиг определенной степени отчуждения. Именно поэтому и необходимо, смягчив ситуацию посредством рабочего самоуправления, хотя бы отчасти устранить это отчуждение. Мы должны ясно осознавать полнейшую бесперспективность тезиса Маркса и Ленина, согласно которому управление социалистическим обществом будет состоять из простого учета и контроля и станет доступным любой кухарке. Теперь мы уже знаем, что в модернизированном обществе будущего, напротив, потребуются чрезвычайно сложная компьютеризированная система управления и что окончательное

освобождение простых людей от власти, то есть переход к «безвластию», к «анархии» в том смысле, в каком она означает конечный результат процесса отмирания власти, – а этот взгляд, кстати, не чужд и марксизму, – не будет сопряжен с примитивизацией человеческого бытия, со сведением его к упрощенным формам. По нашему мнению, это практически исключено. Установление безвластия, упразднение власти произойдет иначе – разумеется, если мы все этого захотим и будем прилагать усилия в этом направлении, – а именно так, что все известные до сих пор властные функции примут форму услуг – как в организационном отношении, так и в нравственном смысле. Жизнь общества будет базироваться на системе взаимных услуг, где каждый член общества одновременно является и претендующим на услуги и предоставляющим их и где даже на вершине организационной структуры станет неприемлемым положение, характерное для отношений между восседающими в высоких креслах сильными мирами сего и припадающими к их ногам просителями. Такова возможная «анархическая», то есть исключаящая господство одних над другими организация общества, не сведенная к примитивной структуре, а отражающая возросшую интеграцию и усложнение связей внутри современного общества. А это, в первую очередь, требует изменения нравственного содержания власти в направлении ее морального совершенствования, находящего свое отражение в создании соответствующих организационных форм защиты и поддержки, ибо ясно, что провозглашение моральных сентенций само по себе не приведет к повышению нравственности государственной организации. Очевидно, что в сложившемся подобным путем обществе должна быть упразднена сосредоточенная в руках немногих гигантская по масштабам собственность и ликвидированы



любого рода нефункциональные властные позиции и привилегии; очевидно, что передача по наследству заводов, банков или промышленных комплексов не только взрослым, но и младенцам станет неприемлемой точно так же, как в свое время были признаны неприемлемыми привилегии королей и аристократии. Так что в этом отношении мы сможем и дальше придерживаться изначальных экспроприационных установок социализма. Но в то же время мы должны принять во внимание и то, что в обществе чрезвычайно возрастет роль интеллектуалов, что все общество в определенном смысле будет охвачено процессом интеллектуализации и в связи с этим именно творческой интеллигенции потребуется предоставить достаточно широкую свободу действий. Так, скажем, подлинно талантливому изобретателю нужно будет обеспечить примерно такую же свободу, какой сегодня пользуется владелец капиталистического предприятия, но при условии, что возникшее по его инициативе предприятие со временем перейдет в ведение органов самоуправления, то есть наследниками изобретателя станут не его дети, а его сотрудники, работники предприятия. Что касается упомянутой экспроприации капиталистического имущества, вытеснения капиталистов как слоя общества, то подходить к этому следует с максимальным учетом конкретной политической ситуации, расценивая эти меры как драматичный революционный акт или подразумевая под этим длительный и сознательно планируемый процесс; в последнем случае бесспорным должен стать не только конечный результат, но и обеспечение переходных форм и возможностей для самих капиталистов – естественно, с учетом тенденции к усилению роли рабочего самоуправления. В любом случае следует ограничить – прежде всего через институты прав и свобод и введение в различных сферах самоуп-

равления – негативные проявления, связанные с гигантской собственностью и свободой распоряжаться ею. И в этом отношении общим грехом капитализма и коммунизма является как раз гигантомания, культ крупной собственности – независимо от того, идет ли речь о собственности частной или коллективной. Что касается процесса интеллектуализации общества, то следует подчеркнуть, что нет ничего проще, чем истолковать значительную перемену, состоящую в том, что специалисты по управлению и творческая интеллигенция займут место, принадлежавшее раньше кичливым феодалам и сменившей их торговой и промышленной буржуазии, как процесс превращения интеллигенции в господствующий слой. Особенно опасен этот соблазн для интеллигентов-менеджеров – ведь в ходе истории интеллигент именно этого типа с давних пор играл роль «второй скрипки» как при феодале, так и при буржуа, занимавшем ведущие позиции в экономике; теперь же, когда интеллигенция вырвалась в этом смысле вперед, ее, несомненно, постигнет искушение трактовать свою роль как господство. В отличие от интеллигенции, выступающей в роли творца политических и моральных идеологий, интеллигенты-менеджеры нередко склонны рассматривать непрофессиональное вмешательство масс, референдумы, парламентаризм, демократические форумы, местное самоуправление, рабочее самоуправление как помеху своей высококвалифицированной деятельности. И здесь вновь речь идет о такой опасности, которая имеет место как при капитализме, так и при коммунизме; при капитализме эта угроза исходит от экономической технократии, а при коммунизме – от функционеров однопартийной системы, то есть от политических технократов. Вот почему мы должны отдавать себе отчет в том, что высокий интеллектуальный профессионализм

и широкое развитие демократии – это равные по важности требования современной организации общества. Ни от одного из этих требований отказываться нельзя, а тем более нельзя устанавливать господство интеллигенции без широкого введения самоуправления – и это касается как одного, так и другого общественного строя.

И наконец, еще об одной проблеме: следует обратить особое внимание на бедственное положение маргинальных групп; таковыми являются расовые меньшинства, люди, потерявшие жизненную ориентацию, жители отставших в развитии регионов. На всем обществе лежит ответственность за обеспечение для этих социальных групп реальной возможности пользоваться социальными благами, и это, естественно, нелегко, поскольку положение нередко осложняется культурным неравенством, что создает особые трудности в решении этой задачи. Но тем выше и ответственность общества. И опять-таки здесь можно выявить общий для капитализма и коммунизма грех, а именно: и тот, и другой строй не желают уделять внимания этим группам и отдают предпочтение главным образом тем слоям, которые играют решающую роль в общественном производстве. <...>

\* \* \*

В СВЯЗИ с рабочим самоуправлением обычно отмечают, что пока эта форма нигде еще не оправдала себя. Интересно, что этот аргумент мы слышим как от яростных противников социализма, так и от приверженцев марксизма-ленинизма и вообще любого вида централизованного социализма. Чтобы опровергнуть это, мы хотели бы сослаться на одну историческую аналогию. Во второй половине XVIII столетия Мария Терезия однажды

написала письмо своему сыну, императору Иосифу II [33]. В этом нем говорилось следующее: «Я отнюдь не могу примириться с Вашими выступлениями в пользу свободы религии. Я убеждаюсь в том, что те страны, которые вступили на путь свободы религии, например Англия и Голландия, и по сей день не могут справиться с постоянными беспорядками». То есть даже спустя более ста лет после провозглашения свободы религии все еще казалось, что свобода религии – нечто крайне хаотичное, очень неопределенное, вызывающее беспорядки в противоположность прекрасному, стабильному спокойствию, созданному княжеским абсолютизмом на основе одной религии.

Мария Терезия напоминает о многочисленных беспорядках и несчастьях, постигших эти страны с тех пор, как они попытались провозгласить свободу религии, и она со спокойной душой могла ссылаться на мир и спокойствие, царящие в ее собственной стране. То есть в середине XVIII столетия, когда прошел уже добрый век, а то и два с того момента, когда впервые была провозглашена возможность свободного вероисповедания, и уже были предприняты серьезные попытки добиться этой свободы, господствующим все еще было мнение, что свобода религии, а вместе с ней и другие свободы и демократические формы являются плохим решением, ведущим только к беспорядкам и нарушению равновесия. И только очень немногие, избранные и видящее далеко вперед умы смели утверждать, что это не только лучшее, но и единственно возможное и достойное человека решение.

Так же в каком-то отношении обстоит дело и с рабочим самоуправлением и рабочими директорами. Говорят, что все эти попытки до сих пор терпели крах. Но при каких условиях они потерпели крах? Рабочее управление потерпело крах в тени обладающего абсолютной

властью капитализма или централизованной государственной власти, враждебных ему и стремящихся к подчинению всего и вся. Однако если подходить с точки зрения существования рабочих масс, его условий, то мы должны видеть, что рабочее управление – это не лучшее, а единственно возможное решение, однако о возможности его осуществления можно будет судить лишь в том случае, когда оно встретит безусловно положительное к нему отношение правительства и общества. Таким примером нельзя считать даже Югославию, потому что там, несмотря на значительные эксперименты в области рабочего самоуправления (которые и там привели как сторонних наблюдателей, так и участников этих экспериментов к убеждению, что они неосуществимы или, по крайней мере, осуществить их очень непросто), условиями их проведения является однопартийная система, то есть по сути такая среда, которая как по идеологическим установкам, так и по организационному строю отнюдь не дружелюбна по отношению к рабочему самоуправлению и постоянно предпринимает попытки ограничить и ликвидировать его. В последнее время в связи с рабочим самоуправлением указывают также на то, что современное развитие промышленности по сути ведет к ликвидации или по крайней мере к существенному сокращению численности рабочих как основного производительного класса, и гигантские автоматические заводы, на которых работают, может быть, семь-восемь контролеров и операторов, очень трудно отдать в управление этим семи-восьми человекам. Однако идея рабочего управления как единственно возможного решения, опирается на гораздо более глубокие аргументы. Для того, чтобы обосновать это, необходимо знать, что последовательное отстранение промышленных рабочих, занятых производительным трудом, от собственности на средства произ-

водства, а также постепенное лишение их смысла и радости труда, – одно из самых невероятных и самых вредных последствий развития интеллектуального потенциала Европы. Как однажды метко сказал венгерский историк Иштван Хайнал, поднимая труд на научный уровень, интеллигенция по существу отнимала осмысленность труда у рабочих, присваивая ее себе, так что рабочий все меньше становился способным видеть общую картину и смысл своего труда и получал все меньше творческой радости по сравнению с прежним ремесленником, который по сути от начала и до конца, от проектирования до реализации, производил всю работу сам. Сегодня разделение труда требует от рабочих столь малой степени предварительного планирования, что их роль все больше приближается к роли автоматов. Предельная степень этой страшной деформации показана в художественных произведениях, описывающих человека у конвейера, абсолютно лишаящего его человеческого достоинства (достаточно вспомнить знаменитый фильм Чаплина «Новые времена»); это по существу привело к тому, что рабочий стал придатком машины, выполняя абсолютно механические операции, и от самого рабочего требовалось, чтобы он участвовал в производстве, ощущая себя физически и психически как часть машины, что в конечном счете есть невозможная, ведущая к уничтожению человека ситуация. Сегодня с развитием автоматизации открывается перспектива, позволяющая предоставить практически все механические или поддающиеся механизации трудовые процессы умным машинам и освободить человека. Однако следует понимать, что это не только техническое и не только научное требование, но с сегодняшней точки зрения и основополагающее моральное требование. Необходимо выдвинуть принцип – подобно тому, как в свое время мы сказали,

что человек не может быть собственностью другого человека, а затем сказали, что человек не может быть средством в руках другого человека, а затем сказали, что человек не может служить наемным средством труда для другого человека — теперь мы должны заявить с той же самой глубиной морального осуждения, что принуждать человека к труду, который может быть механизирован и выполняться машинами, — нельзя, что принуждать человека к такому труду безнравственно. И в ежухе этого необходимо прежде всего стремиться к тому, чтобы там, где возможна полная автоматизация, нигде, как бы дорого ни обходилась полная автоматизация, не использовалась человеческая рабочая сила в качестве придатка к машинам или фазы функционирования автомата. То есть автоматизация, там где это возможно, должна быть полной.

И это ведет к странным следствиям. Например, уже сегодня поняли, что значительную часть так называемого конторского труда, как и физического труда, можно полностью автоматизировать. Это, собственно, значит, что в значительной степени конторский труд, например тот, который выполняют многочисленные банковские служащие, клерки и им подобные, несмотря на то, что их деятельность придает им сознание необоснованного общественного превосходства, является более низким, чем деятельность многих людей, занимающихся физическим трудом. Вероятно, что труд десятков тысяч банковских служащих в будущем можно будет полностью автоматизировать, в то же время рациональная погрузка угля на телегу или рациональная загрузка вагона или судна и в будущем будет исполняться понимающими в этом людьми, что, собственно, означает, что в данном случае крестьяне, грузчики и докеры выполняют более ценную работу, чем многие работники так называемого умственного труда. Это ясно показывает, что в то время, когда мы пере-

живаем период перехода к интеллектуальному обществу, с ним связывается абсолютно деформированная система ценностей, когда умственным трудом считаются многие виды механической, но выполняемой за письменным столом работы, наделяемой необоснованно высоким общественным престижем, в то время как любая работа, требующая физических усилий или же выполняемая в грязных условиях, с точки зрения общественной ценности считается недостойной, презираемой, которой любой ценой нужно избегать. Таким образом, в будущем отношение к труду должно исходить из такую системы ценностей, которая противопоставляла бы механическую и исполняемую машинами работу работе, требующей от человека умственных усилий, под последней подразумевая работу, требующую прежде всего творческих усилий, а не просто выполняемую за письменным столом. Что касается второго возражения – что рабочие как общественный слой исчезнут или по крайней мере их численность значительно уменьшится, то следует знать, что численность промышленных рабочих, занятых непосредственным производительным трудом, будет безусловно сокращаться, и за их счет, а также за счет крестьян значительно расширятся секторы услуг. Однако те, кто работает в секторе услуг, хотя и не занимаются производительным трудом, непосредственным производством материальных ценностей, тем не менее тоже трудящиеся, и большинство людей в будущем будет испытывать такую же потребность быть в какой-то степени хозяевами предприятия, заинтересованного в их труде, или же влиять на управление им. И чем более невозможно или по крайней мере во многих отношениях невозможно испытывать такое же полное удовлетворение от труда, как тогда, когда человек с начала и до конца сам выполнял работу, ощущая ее как творчество, тем больше потребность



участвовать в руководстве работой, в собственности, в управлении – для того, чтобы противостоять отчуждению, компенсировать, уравновесить его, чтобы каким-то образом и в какой-то форме снова стать человеком заинтересованным в процессе труда.

Несостоятельно и другое возражение, когда говорят: на каком основании большинство занимающихся малоквалифицированным нетворческим трудом желает взять под свой контроль труд высококвалифицированный, творческий? Этот аргумент стоит не больше, чем тот, когда, критикуя демократию, заявляют: как это большинство, обладающее средней информированностью и средними умственными способностями, желает поставить под свой контроль тех немногих выдающихся людей или немногочисленную группу выдающихся людей, которые действительно способны и могут руководить обществом? Однако демократия и абсолютно сходное с ней рабочее самоуправление вовсе не предполагают, что каждый в отдельности избиратель и каждый рабочий умнее высокообразованного, выдающегося министра или высоко компетентного директора завода. Они всего лишь предполагают, что отдельный рабочий, отдельный избиратель имеет неотъемлемое право участвовать в определении условий своей собственной работы, работать под руководством пользующихся его доверием людей. Необходимо, чтобы существовал институт выражения доверия, ведь если такой возможности нет, то возникает та или иная форма зависимости одного человека от другого, включая эксплуатацию, причем эта зависимость – понятие широкое, включающее зависимость от власти и много других форм зависимости, в том числе и духовную, а зависимость одного человека от другого является самым ужасным грехом, «хулой на Духа» [34], если пользоваться выражением, взятым из христианской морали. Сущность

как демократии, так и рабочего управления состоит не в том, что решения, требующие больших специальных знаний, принимаются не обладающими этими знаниями массами, а в том, что человек, определяя собственные политические и общественные условия, условия труда, должен иметь возможность работать и жить в сообществе, руководимом людьми, пользующимися его доверием. Все это сказки, что рядовой человек ненавидит людей выдающихся; средний человек ощущает потребность в руководящей роли выдающихся людей, ощущает потребность в том, чтобы над ним стояли незаурядные личности. <...> Таким образом, подлинную рабочую власть можно представить только при серьезном отношении к рабочему самоуправлению. Особенно ложным становится положение рабочего в таких политических условиях, когда рабочая власть существует, но в рамках однопартийного государства, в виде более или менее централизованного господства одной партии; при этом, как мы наблюдаем и в нашей собственной среде, выдвигается тезис о том, что на пути, ведущем к интеллектуальному обществу, рабочая власть возможна только тогда, когда рабочие в собственном лице или в лице своих детей овладеют ключевыми позициями в интеллектуальной сфере. Это очень правильное требование в определенной переходной ситуации, например, во время частичной или полной экспроприации, в период краха феодализма и капитализма, системы крупных землевладений и крупного капитала. Тогда действительно имеет место неоднозначная ситуация, ибо прежнее классовое общество обрекло многих талантливых людей на судьбу рабочего и крестьянина, и только покинув эти ряды, они могут занять ведущие позиции. В подобный исторический момент, как было, например, в Венгрии после 1945 г., из рядов рабочих и крестьян может выйти множество людей блестящих спо-

собностей, талантливых организаторов и руководителей, замечательных специалистов. В дальнейшем, к сожалению, сложилась ситуация, которая привела к отбору из этого прекрасного человеческого материала не всегда самых лучших, а часто наиболее податливых, но это побочный результат данного процесса. Существенным, однако, являлся следующий этап этого процесса, когда началось заполнение интеллектуальных позиций как через назначение на ответственные посты рабочих кадров, так и путем направления на учебу, при этом не было сделано ничего, чтобы укрепить достоинство, самоуважение и придать жизненную смелость тем, кто продолжал заниматься рабочим и крестьянским трудом. Более того, сложилась противоположная оценка: тот, кто при таких льготах и преимуществах не смог подняться до руководящей должности, кто при таких льготах и преимуществах не смог сдать вступительные экзамены, чтобы стать позднее интеллигентом, тот в определенном смысле человек второго сорта. Само собой разумеется, что тот, кого не приняли в университет, должен идти в институт, кого не приняли в институт, должен идти в профессиональное училище, а кого не приняли в профессиональное училище, пусть идет в подсобные рабочие. То есть средний рабочий превратился в человека, не способного ни к чему другому, его человеческому достоинству и правам в этом обществе, признающем интеллектуальные ценности, был нанесен серьезный урон. Поэтому сегодня положение рабочего связано с гораздо большим комплексом неполноценности, чем тот, который ощущал рабочий при капитализме, потому что тогда рабочий мог чувствовать, что будущее за ним, что он является носителем этого будущего, что его нищета, его обездоленность и то, что он вынужден плохо выполнять свою работу, — все это результат несправедливости; а сегодня тот же самый человек —

и это еще лучший случай – понимает, что вынужден быть рабочим, потому что родители не позаботились дать ему хорошее образование. <...> В результате складывается странное положение, когда под видом построения социализма или программы его осуществления возникает такая же диктатура интеллигенции, как и в мире технократии, и дело обстоит так несмотря на то, что диктатура интеллигенции осуществляется людьми рабочего происхождения, – ведь важно не то, каково происхождение того, кто является носителем диктатуры интеллигенции, а то, что интеллигенция обладает тем преимуществом, что в силу своих функций имеет возможность диктовать и оказывать давление на тех, кто этими функциями не обладает. К сказанному хотел бы добавить, что рабочее самоуправление, и в особенности рабочая собственность, естественно, не значат, что в эпоху будущей автоматизации мощные объекты национальной экономики, созданные благодаря огромным капиталовложениям, должны быть поставлены под рабочее управление или переданы в частную собственность нескольких человек, управляющих ими. Естественно, следует учитывать капиталовложения в такие объекты национальной экономики и считаться с тем, что правом как-то влиять на их работу обладает все общество, хотя при этом и здесь нужно и можно найти специфическую форму самоуправления. Однако в самой широкой области хозяйственной деятельности, охватывающей подавляющую часть собственности, – я имею в виду предприятия, инвестиционные потребности которых не превышают совокупных материальных и финансовых возможностей ее фактических работников, – возможности для рабочего самоуправления, несомненно, имеются. <...>

\* \* \*

Подводя ИТОГИ, мы должны остановиться на общей критике марксизма. Хотелось бы выделить два центральных положения марксизма, которые при соответствующем освещении могут приблизить нас к зерну всей проблемы. Одно из них заключается в том, что учение марксизма – это научное учение, причем научность его доказана. Существенное положение марксизма – что общество, социальная деятельность определяются прежде всего интересами, притом интересами экономическими, а все прочее представляет надстройку, нечто стоящее над ними; не только культура, но и (что наиболее существенно) все то, что известно нам под названием морали и этики, – все это решающим образом детерминируется экономическими интересами.

К первому положению – о научном характере марксизма: мы уже подчеркивали, что процесс человеческого познания, который представляет собой центральный вопрос науки, по сути дела един. То есть идет ли речь о естественных науках, или же об общественных, или же о приобретении каких-либо знаний, скажем, политических, или передаче религиозного опыта, процесс одинаков. Это – сбор опытных данных, интуитивные догадки на основании опытных данных об имеющих общее значение положениях, экспериментальная проверка этих положений, возможность благодаря эксперименту, подтверждающему или опровергающему их или же частично подтверждающему или частично опровергающему, более полно сформулировать научную истину, которая, естественно, на каждом этапе оставляет открытой возможность получения новых знаний или же новых корректирующих положений. Марксизм, в сущности, как в свое время европейская буржуазная демократия, является

программой общественных реформ, представляющей собой часть процесса получения знаний. В рамках этого мы вначале накапливаем опыт, свидетельствующий о неудовлетворительности прежнего общественного состояния, затем инстинктивно формулируем этот опыт, затем пытаемся передать его широким массам или же, если возможно, действующему государственному аппарату, и сложившаяся в результате этого практика отчасти подтвердит, а отчасти опровергнет справедливость наших положений, и история покажет, в какой именно степени. В этом смысле начатый марксизмом процесс является таким же процессом познания и установления закономерностей, как и наука. Однако то, что марксизм называет наукой, это не наука, а рекомендация, причем сформулированная в основном интуитивным путем на основе абстрактного толкования целого ряда результатов общественного опыта. Эти интуитивные догадки могут стать подлинным знанием только в результате подтверждающей или не подтверждающей их политической практики. Поэтому ставить положения марксизма на одну доску с доказанными положениями естественных наук абсолютно неверно; положения марксизма как таковые – это сентенции, справедливость которых пытаются доказать только в спорах путем приведения разного рода примерами; однако подлинное доказательство – это признание марксизма широкими массами и сложившаяся на этой основе общественная практика, общественная реформа, подтверждающая или не подтверждающая сентенции. Доказательство истин марксизма и марксизма-ленинизма, таким образом, должно происходить не в книгах, а опираться на практику возникших на этой основе государственных образований, существующих уже не одно десятилетие, в течение жизни вот уже нескольких поколений, это и следует обсуждать. С этой точки зрения весьма

поучительны высказывания безвременно погибшего венгерского социолога Белы Рейтцера[35], в которых он, критикуя положения марксистской педагогики, указывал на простой и по-детски наивный способ полемики, который сторонники марксизма и марксизма-ленинизма применяют в спорах с оппонентами, противопоставляя существующие в мире противника фактические аномалии, злоупотребления, противоречия идеальным требованиям марксизма. То есть марксисты противопоставляют идеальный, воображаемый, хороший коммунистический мир конкретной практике реального, дурного, некоммунистического мира. Естественно, при таких способах полемики легко выйти победителем, но ведь и противник в конце концов может сделать то же самое: противопоставить все злоупотребления, аномалии, противоречия конкретной марксистской практики, существующей уже пятьдесят лет в государствах, стоящих на базе марксизма-ленинизма, абстрактным требованиям либеральной демократии. Очевидно, что проводить сравнение можно только при равных условиях: сравнивать или реальные факты с фактами или требования с требованиями, но нельзя сопоставлять неблагоприятные для противника факты с нашими высокими целями, и наоборот. Естественно, справедливо и то, что план большой общественной реформы нельзя осуждать на основании больших или меньших заблуждений первых лет ее осуществления. И здесь встает решающий вопрос, который по сути дела отличает планы общественных реформ от научных доказательств, – вопрос времени. Для практического, экспериментального подтверждения правильности или неправильности плана общественных преобразований требуется минимум жизнь двух – трех поколений, если не больше. Для сравнения добавим, что для осуществления рассчитанной на более короткий

срок программы политических реформ требуется одно – два десятилетия, программы экономических реформ, возможно, – пять или десять лет, для серии научных экспериментов – от нескольких недель до нескольких лет, и в качестве завершающего момента напомним, что экспериментальная проверка религиозной истины, того, чему человек должен посвятить свою жизнь, и что стоит того, чтобы масса людей посвящала этому жизнь в поисках ее смысла, – задача многих веков. Именно этим временным различием религиозное познание, познание в сфере общественных преобразований и политическое познание отличаются от научного, которое обладает гораздо большими возможностями для того, чтобы сузить свои эксперименты и свести их к критическим вопросам так, чтобы эксперименты дали точный ответ на поставленный вопрос. Подобное резкое сужение гораздо в меньшей степени возможно применительно к положениям, касающимся политики, общественных преобразований и особенно религии. Этим и объясняется, что в связи с истинностью или не истинностью какой-либо религии, истинностью или не истинностью проекта общественной реформы ведутся гораздо более расплывчатые дискуссии, и в этих дискуссиях мы должны крайне внимательно следить за тем, чтобы удержаться от соблазна сразу же оценивать не нравящиеся нам вещи на основании конкретных частных неудач, а нравящиеся нам вещи оценивать исходя из идеальных требований, программ, текстов конституций. Для примера: сравнивать данные о массах людей, влачащих жалкое существование при капитализме, об их фактической нищете с включенными в конституции социалистических стран гарантиями прав каждого человека на труд и на отдых, ибо факты можно сравнивать только с фактами, а идеалы только с идеалами. Если в этой связи поставить вопрос, почему для марксизма важно выдать



свой план общественной реформы, который по сути представляет собой предложение о том, как улучшить общество, и окончательное подтверждение которого, естественно, возможно только после его осуществления, как уже конечные, завершённые и доказанные научные результаты, то мы должны знать, какого магического авторитета достигла наука с XVIII–XIX вв., добившаяся за эти столетия удивительного прогресса, прежде всего в естественных науках. Чем больше протяжённость времени, необходимого для подтверждения какого-то тезиса, предложения, тем труднее уговорить людей пойти на подобное нелегкое предприятие. И чем труднее уговорить их сделать это, тем больше требуется отвлекающих несущественных моментов, чтобы подтолкнуть к согласию на участие в подобном, требующем нескольких столетий или нескольких десятилетий предприятии. Поэтому вот уже тысячелетия основатели религий помимо откровений о том, какой смысл жизни они хотят открыть людям – активную любовь, отсутствие желаний или честную приверженность традициям и правилам, исполнение долга или поиск радостей и т. д., для того, чтобы приблизить эти центральные положения к людям, должны были прибегать к дополнительному воздействию или, с позволения сказать, к мошенничеству: чудесным исцелениям и прочим чудесам, предсказаниям будущего и другим подобным вещам, успех или провал которых по сути не зависел от провозглашаемых ими основных истин. Один из важных моментов величия Иисуса – то раздражение, с которым он относился к глупцам, ждущим знамений, и хотя он и сам вызвал такие знаменья, но при этом не упускал подчеркнуть, что эти знаменья имеют второстепенное значение. Поэтому с ним вряд ли могло произойти то, что, по преданию, произошло с несчастным основателем религии по имени Мани[36] в Персии: его

привели, чтобы он исцелил сына шаха, который – чего не бывает на свете! – скончался, и шах подверг основателя религии жестокой казни. Иисус Христос физически тоже не мог бы противостоять этому жестокому властителю, но во всяком случае перед тем, как приступить к исцелению, он мог заявить и непременно заявил бы об абсолютной тщетности и наивности попытки поставить истинность его учения в зависимость от того, способен ли он исцелить сына шаха или нет. Бесконечные чудеса, экстаз, туманные, произносимые в состоянии транса слова, эпилептические припадки служили многим основателям религий внешними атрибутами, помогавшими заставлять людей пойти на великое моральное предприятие, каким является признание основных истин той или иной значительной религии. Точно так же в сфере гораздо менее протяженных, но все же требующих значительного времени политических предприятий заставить поверить в то, что данный конкретный политик способен осуществить свои проекты значительных общественных реформ, помогают демагогия, ораторское искусство, а также удачные, скажем, пророчества или умение разобраться в конкретной ситуации. Между тем правильность или реалистичность предлагаемой реформы совсем не зависят от того, хороший ли оратор данный политик или нет, удалось ли ему в какой-то конкретный момент предугадать сложной ситуации или нет, смогли ли он с помощью какого-то счастливого маневра в какой-либо трудный момент достичь результата или нет. Все это с точки зрения крупномасштабного плана политической реформы второстепенно, но, к сожалению, необходимо для того, чтобы значительные массы готовы были пожертвовать своим благополучием, своей жизнью, своим будущим ради эксперимента, к которому их призывают. Итак, процесс человеческого познания, от религии и

до химии, по сути дела един. Но при этом существует значительные различия между знаниями, которые можно подтвердить или опровергнуть путем ограниченных экспериментов в течение относительно короткого, сравнительно с человеческой жизнью, срока, и истинами, для доказательства или опровержения которых требуется время, превышающее человеческую жизнь, когда для того, чтобы начать эксперимент, требуется еще целый ряд дополнительных ухищрений, не говоря уж о том, что эксперимент никогда нельзя сузить до наиболее существенных проблем, они всегда переплетены с целым рядом случайных и второстепенных моментов, привносимых историей. И если с этой точки зрения задаться вопросом, почему для марксизма было важно представить свою программу реформы как научную, сопоставимую с естественными науками, то мы должны сказать, что это имело ту же функцию, что в прежней политической жизни – риторика ораторов или, в случае основателей религий, чудесные исцеления. В мире, где доверие к основателю религии зависит от чудесных исцелений, надо было осуществлять их; в мире, где наибольшим авторитетом пользуется наука, для того, чтобы указанные программы общественных реформ были приняты, следовало подчеркивать их научный характер, хотя на самом деле это не наука. То есть с некоторой долей иронии мы можем сказать, что в XIX и XX столетиях средством массовой пропаганды, подобным чудодейственным актам основателей религии, было то, что программа общественной реформы выдавала себя за науку, потому что это повергло всех в изумление, перед этим все склоняли головы. Главным содержанием марксизма является программа реформ, а не научные истины. Истинность программы реформ будет подтверждена или опровергнута уже начавшимися, но в основном еще только предстоящими ис-

торическими событиями. А в марксистской программе реформ существенной является критика прежнего общества, моральное возмущение по поводу серьезных недостатков прежнего состояния, которые не могут быть исправлены на старом пути, моральное возмущение явлениями эксплуатации, и т. д. Камю был совершенно прав, видя наибольшее значение Маркса не в фундаментальном научном характере того или иного его положения, а в страстном моральном пафосе, с которым тот всегда и везде обличал несправедливость, лицемерие, ложь, обман и угнетение масс. В этом-то и состоит великая странность марксизма, который не признается в этом пафосе; вернее, стремится лишить его морального характера, сделать его второстепенным, поставить все положения морального характера в зависимость от отношений интересов и каким-то образом выдвинуть эти отношения на передний план. Сразу скажу, что в таком подходе решающее значение также имеют соображения пропаганды и агитации. Если я заявлю, что будучи морально возмущен тем или иным положением, желаю исправить его и призываю к борьбе всех, кто в этом заинтересован, то я призываю их к весьма страшному предприятию. Если, напротив, я утверждаю, что обладаю научным инструментом, который гарантирует победу, уничтожает все моральные контраргументы противника тем, что вообще не признает моральных аргументов, таким инструментом, с помощью которого прогрессивность моей позиции заведомо predetermined, то нет и нужды в моральной правоте, достаточно лишь встать на прогрессивную позицию и противник будет обречен на поражение. Все это пропаганда, которая чрезвычайно подходит для того, чтобы придать индоктринированным марксизмом-ленинизмом борцам за дело социализма воодушевление, страстность и уверенность в

победе, однако в длительной перспективе вытеснение моральных моментов на задний план представляет чрезвычайную опасность и в конечном итоге, это можно сказать заранее, приведет к своего рода нигилизму.

Мы уже говорили о том, что во всем общественном развитии прогрессивным и перспективным движением можно назвать лишь то, которое ведет к освобождению человека от страха перед другим человеком, и основными средствами для достижения этого являются гуманизация, рационализация и морализация жизнедеятельности общества. Именно таким было развитие Европы, которое после закладки эллинско-римского фундамента получило значительный стимул в христианское Средневековье, а в Новое время обрело самостоятельность благодаря европейским движениям за свободу, порвавшим нити, связывавшие их с христианской церковью. Одним из значительных логических продолжений этого процесса явилось то, что в конечном итоге стало называться социализмом. Он должен было сделать следующий решающий шаг в том направлении, чтобы правила жизнедеятельности общества стали более моральными, честными, нравственными. Однако вместо того, чтобы стать апогеем начавшегося до него развития, марксизм объявил все сделанные до прежде шаги в данном направлении недействительными, все моральные усилия несущественными, поскольку они связаны с классовыми интересами, и заявил, что моральные усилия необходимо начать сначала, переформулировав их цели с позиций интересов рабочего класса, которому принадлежит будущее. Все это стало страшным ударом по достигнутым результатам и оказало разрушительное влияние на реальную жизнедеятельность функционирования общества. Пример: более двух тысячелетий в Европе продолжались попытки заставить государство слу-

жить интересам общества, действовать во имя чести, добра, ограничения насилия. И вот явился марксизм и изрек: поскольку государство в течение тысячелетий использовали самым различным образом в бесчестных классовых интересах, мы будем считать государство как таковое инструментом насилия; хотя суть как раз в том, чтобы с помощью государства снизить уровень насилия в обществе. Итак, заявляет марксизм, государство есть аппарат насилия, и поскольку наши противники неоднократно злоупотребляли им в ущерб нравственным ценностям, то не будем и мы простаками, а самым циничным образом подойдем к государству как к аппарату насилия. Хотя на самом деле уже в христианском Средневековье, а в особенности в Новое время, в эпоху демократического государства, был достигнут огромный прогресс в согласовании функций и деятельности государства с принципами морали; развивающееся по этому пути государство создало многочисленный и широкий общественный слой, который весьма приблизился к тому, чтобы осуществлять функции государственного управления честными методами, и этот идеал ему ближе, чем какой бы то ни было классовый интерес. Вместо того, чтобы попытаться усилить и нарастить этот слой, мы с помощью идеологии напоминаем носителям функции честного государства, что они являются частью аппарата насилия и должны вести себя соответственно. Все это действительно ведет к разрушению гуманной и нравственной государственной практики, делает ее безжалостной, подлой и развращающей – пусть даже и в интересах, как некоторые считают, важных целей общественных реформ. Другой пример: независимость суда – результат многовековых европейских усилий. Укреплением этого института не удалось, да и невозможно было победить предвзятость в сердцах людей, однако

был сделан важный шаг к тому, чтобы ее стало меньше. И вот является марксизм и заявляет: бросим эти усилия, суды вовсе не были никогда действительно независимыми, а раз они не были таковыми на все сто процентов, то и не надо, пусть суды будут острым оружием классовой борьбы. Невозможно дискредитировать функции правосудия более радикально, чем это произошло, когда суд, всегда являвшийся инструментом восстановления общественного равновесия, был приравнен к оружию. Неслучайно марксизм-ленинизм стал питательной почвой для таких судебных уродств, которые, как мы полагали, канули в мрачное прошлое, но все-таки были снова поставлены на службу идеологии, выдающей себя за самую современную. За этим подходом стоит та самая ошибочная оптика, на которую я уже указал, ссылаясь на Белу Рейтцера: неправоту своего противника я доказываю его злоупотреблениями, а свою правоту защищаю с позиции идеалов. Поскольку родившуюся из либерально-демократической идеологии государственную организацию капиталист может легко использовать в своих корыстных интересах, то я, исходя из этого, могу, вслед за Лениным, объявить, что Французская революция была придумана этими капиталистами, что они же, для защиты своих хорошо осознанных интересов, придумали и всю ее идеологию. Сегодня с таким же правом мы могли бы сказать, что весь марксизм-ленинизм и социализм придумал в своих интересах слой функционеров, который, как мы теперь видим, пользуется их плодами, не принося при этом особой пользы, хуже того, принося вред. Но о том, что они придумали это в своих интересах, не может быть и речи. Интерес вообще не является такой стабильной категорией, на которую можно опираться при изучении общества. Интерес, по существу, понятие столь широкое, и положение в обще-

стве зависит не столько от экономического или не экономического характера интересов, сколько от более высокого или менее высокого понимания интересов, что на этой основе невозможны никакие социальные построения. Интерес святого – в спасении, интерес тщеславного человека – в славе, в этих случаях экономический интерес абсолютно ничего не значит, вопрос всегда состоит в том, насколько умно отдельный человек и общественный класс подходят к своим интересам. Чем умнее, тем вероятнее, что этот интерес не будет слишком расходиться с интересами общества в целом, то есть глупее всего при толковании интересов исходить из их острого противоречия, это не поможет дать адекватное толкование общества.

Вот почему средний человек, получивший марксистское воспитание, утрачивает нормальную человеческую способность объяснять вещи их собственными причинами; его научили во всем искать какую-то плоскую экономическую причину; даже там, где причина вопиюще другая, он ухитрится все же вытащить на свет какие-нибудь нефтяные интересы или нечто подобное, чем можно объяснить все на свете. В действительности он ничего не объясняет, а только втискивает вещи в какую-то схему, избавляя себя от необходимости интенсивного размышления. Единственное, что стоит за объяснениями марксизма, выдающего себя за науку и разоблачающего движущие историей циничные классовые интересы, – это крайне эмоциональное поведение.



\* \* \*

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ еще одно небольшое отступление. Говорят, Мольтке [37] посоветовал одному молодому офицеру, интересовавшемуся вопросами военной стратегии, обратиться к древним авторам, поскольку те еще не утратили чутья к объяснению природы явлений их причинами. Стоит отметить, что современная европейская общественная мысль в значительной степени утратила эту способность, что привело к попыткам любой ценой втиснуть те или иные явления в какие-то схемы, будь то спасение, провидение Божие или классовые интересы и классовое общество. Вину за это несет не только марксизм; по всей вероятности, первоначальным виновником этого было христианство, которое своим идеологизированным толкованием мира уже с давних пор подорвало способность европейцев исходить в оценке явлений из их подлинных причин.

1971-1972

## КОММЕНТАРИИ

Включенные в состав книги работы публикуются по изданию: *Bibó I. Válogatott tanulmányok, I–III. k. Magvető, Budapest, 1986. Válogatta és az utószót írta Huszár T., szerkesztette és a jegyzeteket készítette Vida I. és Nagy E.; IV. k. Magvető, Budapest, 1990. Válogatta ifj. Bibó I. és Huszár T., szerkesztette ifj. Bibó I.* В комментариях использован справочный аппарат данного издания.

### Причины и история немецкой политической истерии

A német politikai hisztéria okai és története, глава II  
из монографии «О европейском равновесии и мире», 1942–1944.

*Публикуется с незначительными сокращениями.*

1. *Арминий* (17 до н. э. – 21 н. э.) – вождь германского племени херусков; предводитель восстания против римского господства, в ходе которого разгромил армию римского наместника Квинктилия Вара и тем самым спас Германию от полного порабощения. Позже римляне вновь захватили провинцию, однако оказались не в состоянии надолго сохранить свою власть на территориях за Рейном.
2. *Фридрих I Барбаросса*, Рыжебородый (1122–1190) – с 1152 г. император Священной Римской империи. Один из наиболее выдающихся правителей эпохи Средневековья. Создал определенное равновесие между различными германскими княжествами германской

империи и в противовес феодальной анархии усилил центральную власть. Пытался подчинить города-государства Северной Италии, однако его походы закончились поражением.

3. *Фридрих II Великий* (1712–1786) – с 1740 г. король Пруссии. Один из главнейших представителей просвещенного абсолютизма. Создатель прусской бюрократической государственной системы. Провел ряд реформ, по существу не затронувших крепостнических порядков, хотя сгон крестьян с земли был запрещен. Защищал интересы крупных феодалов, наряду с этим обложил бюргерство высокими налогами. Предпринял ряд шагов для развития промышленности. Крупнейший военачальник, создавший огромную по численности армию. Присоединил к Пруссии Силезию и часть польских территорий. Участвовал в первом разделе Польши (1772).

4. *Религиозная мистика*, или созерцательная теология, – одно из направлений средневекового богословия. Развивалась параллельно схоластике, но наряду с этим и в противовес ей. Ее расцвет был характерен главным образом для Германии; главные представители: магистр Экхардт (ок. 1260–1329) и Иоганн Таулер (1300–1361). Оказала большое влияние на немецкое мышление; внутри церкви являлась определенного рода оппозицией; отдельные ее доктрины были объявлены еретическими; сформулировала ряд социальных требований; выступала в защиту церковных традиций, за жизнь в вере.

5. *Генрих Трейчке* (1834–1896) – консервативный немецкий историк, публицист, преподаватель университета. Автор пятитомной немецкой истории XIX века (*Deutsche Geschichte im 19 Jahrhundert*, 1879–1894).

6. *Альфред Розенберг* (1893–1946) – фашистский политик и философ. Один из наиболее активных пропагандистов расовой теории, идеолог нацизма. Наиболее значительное произведение – «Миф XX века» (*Mithos des 20. Jahrhundert*, 1930). После прихода Гитлера к власти занимает высокие должности в фашистском госаппарате; с 1941 года имперский министр оккупированных территорий.

7. *1871 г.* – год образования единого германского государства.

8. *Роберт Гилберт Ванситтарт* (1881–1957) – английский дипломат. С 1930 г. заместитель министра иностранных дел, в 1938–1941 гг. дипломатический советник при министерстве иностранных дел,

последовательный противник нацистского режима. См.: R.G. Vansittart. *Black Record: Germans Past and Present*. London, 1941.

9. См.: *William Brown*. *War and the Psychological Conditions of Peace*. London, 1942, p. 94–128.

10. *Гульельмо Ферреро* (1871–1942) – итальянский историк, публицист. Профессор университетов в Турине и Флоренции. С 1930 г. эмигрант-антифашист, профессор в Женеве. Автор ряда работ по истории Древнего Рима. На И.Биббо наибольшее влияние оказали следующие работы Ферреро: *G.Ferrero. Avanture. Bonaparte en Italie* [Авантюра. Бонапарт в Италии]. Paris, 1936; *Reconstruction. Talleyrand á Vienne* [Реконструкция. Талейран в Вене]. Paris, 1940; *Pouvoir. Les géniés invisiblesde la cité* [Власть. Невидимые гении государства]. Paris, 1942.

11. *Процесс Дрейфуса* – судебное дело по несправедливому обвинению в шпионаже в пользу Германии офицера французского генштаба, еврея по происхождению Альфреда Дрейфуса (1859–1935), который в 1894 г. был приговорен к пожизненной каторге. Французские клерикальные, монархистские и шовинистские круги пытались использовать процесс в целях разжигания антисемитизма и шовинизма. Однако в результате выступления прогрессивных сил в защиту Дрейфуса, после длительной внутриполитической борьбы дело было пересмотрено и после помилования в 1906 г. Дрейфус был полностью реабилитирован.

12. *Амьенский мир* (1802). В период наполеоновских войн Франция, Великобритания и Испания подписали во французском городе Амьен мирный договор, согласно которому Англия обязалась вернуть Франции, Испании и Голландии захваченные у них колонии, за исключением Цейлона и Тринидада, очистить от своих войск Мальту и покинуть Египет; Наполеон, со своей стороны, обязался вывести свои войска из Италии (из Неаполя и Рима), но сохранил свои континентальные завоевания.

13. *Люневильский мир* (1801) – мирный договор, заключенный во французском городе Люневиль между Францией и Австрией, который подтвердил ранее установленные территориальные изменения. Австрия вышла из второй антинаполеоновской коалиции, санкционировала условия Кампоформийского мира (1797) и признала вновь созданные республики. Наряду с этим Австрия переда-

ла Франции территории вдоль левого берега Рейна, включая Бельгию и Люксембург, а также Ломбардию, получив Венецию и Далмацию.

14. В ходе *испанской кампании* (1808) французская армия оккупировала Испанию, королем которой стал брат Наполеона Жозеф Бонапарт, через пять лет изгнанный из страны в ходе народного восстания.

15. В октябре 1806 г. в сражении *при Йене* наполеоновские войска разгромили возглавлявшуюся герцогом Гогенлоэ прусско-саксонскую армию четвертой антифранцузской коалиции (Великобритания, Россия, Пруссия, Швеция).

16. *Кениггрец* – немецкое название чешского города Градец Кралове, где во время прусско-австрийской войны в 1866 г. австрийская армия потерпела сокрушительное поражение.

17. *Седан* – город на севере Франции, где в 1870 г. прусская армия наголову разбила армию Наполеона III.

18. *Франкфуртский мир* – мир, подписанный по результатам франко-прусской войны 1870–1871 гг., по которому Германия как победившая сторона аннексировала Эльзас и Лотарингию и получила контрибуцию в размере 5 млрд. франков.

19. Союзническая система Антанты (Англия, Франция, Россия), создание которой началось с заключения в 1891–1893 гг. союзнического договора между Францией и Россией, продолжилось подписанием в 1904 г. англо-французского соглашения и получило окончательную форму с подписанием в 1907 г. англо-французского договора.

20. В 1940 г. Франция потерпела военный крах; 22 июня 1940 г. французское правительство подписало с Германией соглашение о перемирии. Северная Франция была оккупирована немецкими войсками. В южной Франции с центром в г. Виши было создано формально суверенное, в действительности же зависимое от Германии марионеточное государство.

21. *Аншлюс* (нем. Anschluss – присоединение). 12 марта 1938 г. немецкие войска оккупировали Австрию. На следующий день Гитлер назначил членов марионеточного правительства страны, которое вынесло решение об объединении Австрии и Германии.

22. 15 марта 1939 г. немецкая армия вступила в Прагу.

23. По *Верденскому договору* (843) сыновья Людовика Благочестивого разделили между собой Франкскую империю. Карл Лысый получил земли к западу от Рейна (территория будущей Франции), Людовик Немецкий – земли к востоку от Рейна (территория будущей Германии), Лотарь – Италию, полосу пограничных земель (часть которых – будущая Лотарингия) и императорский титул. С подписанием этого договора, то есть с первого раздела франкской империи начинаются самостоятельные пути исторического развития Германии и Франции.

24. *Каролинги* – франкская династия, правившая в VIII–X вв. Свое название она получила по имени Карла Великого (742–814), самого могущественного правителя династии, вступившего на престол в 768 г. В ходе своих завоеваний Карл Великий превратил Франкское государство в обширную по территории империю. В 800 г. был коронован Римским Папой. После Верденского договора Франкская империя, как и сама семья Каролингов, распалась на три ветви. Немецкая ветвь вымерла в 911 г.

25. *Вестфальский мир* (1648) – общее название подписанных в вестфальских городах Мюнстер и Оснабрюк двух мирных договоров, которые подвели черту под Тридцатилетней войной (1618–1648), разразившейся из-за политических и религиозных противоречий и охватившей всю Европу. Согласно договору, Швеция получила Верхнюю Померанию, города Рюген и Висмар, а также два небольших германских герцогства. Франция получила города-епископства Мец, Тулон и Верден как подтверждение своего владения ими с 1552 г. Германский император подтвердил независимость всех (прибл. 350) германских княжеств, в частности, право князей заключать договора – за исключением направленных против императора и империи – с иностранными государствами. Голландия и Швейцария были объявлены суверенными, не зависимыми от Германской империи государствами. В религиозной области договор подтвердил и распространил на кальвинистов положения Аугсбургского религиозного мира 1555 г., обеспечив тем самым мир в церковной сфере, уравнивая в правах католические и протестантские княжества в отношении их участия в имперских делах. Хотя Вестфальский мир подвел итог опустошавшей Германию Тридцатилетней войне, его последствия для Германии были тяжелыми: он закре-

пил раздробленность страны, чья позиция как великой державы пошатнулась, и значительно ослабил императорскую власть.

26. *Виттельсбахи* – баварская династия, получившая название по имени крепости Виттельсбах. Члены династии по прямой и косвенной линии с X в. до 1918 г. занимали высокие государственные посты в Германии и Баварии, трое из них были императорами Священной Римской империи.

27. *Рейнский союз* (1806) – объединение 16 германских государств под руководством Баварии и Вюртемберга, к которым позже присоединились еще 20 малых германских княжеств (Пруссия и Австрия остались вне союза). Государства-члены союза совместно отделились от Священной Римской империи, которая с тех пор практически перестала существовать. Рейнский союз в финансовом и военном отношении поддерживал Наполеона.

28. *Аустерлицкое сражение* – 2 декабря 1805 г. в сражении при Аустерлице Наполеон одержал победу над русско-австрийской армией.

29. *Эрнст Мориц Аридт* (1769–1860) – немецкий поэт, писатель, публицист и историк, известный главным образом своими стихами, призывающими к защите родины от врагов и к борьбе против Наполеона и иноземной власти, в которых наряду с любовью к родине проявляются антифранцузские и шовинистские настроения.

30. *Франц II* (1768–1835) – с 1792 г. германо-римский император, в 1806 г. отрекся от престола, но сохранил полученный в 1804 г. титул австрийского императора. Под именем Франца I в период 1792–1835 гг. венгерский и чешский король.

31. *Гогенштауфены* – германская династия, представители которой в 1138–1254 гг. были германскими королями и римскими императорами.

32. *Рудольф Габсбург* (1218–1291) – под именем Рудольфа I в 1273 г. получил титул германского короля и римского императора.

33. *Мария Терезия* (1717–1780) – с 1740 г. эрцгерцогиня австрийская, королева венгерская и чешская из династии Габсбургов; провела в подчиненных ей землях ряд реформ, укрепив феодально-абсолютистское государство. Права Марии Терезии на австрийский престол были признаны европейскими державами только после войны за Австрийское наследство (1740–1748).

34. *Леопольд II* (1747–1792) – после смерти своего брата Иосифа II в 1790–1792 гг. германо-римский император, венгерский и чешский король.
35. *Леопольд I* (1640–1705) – с 1657 г. венгерский и чешский король, с 1658 г. германо-римский император.
36. *Династия Капетингов* – французская династия, члены которой по прямой и косвенной линии на протяжении почти девяти столетий (987–1848) были королями Франции. Прямая линия династии вымерла в 1328 г.
37. *Карл V* (1500–1558) – австрийский эрцгерцог, в 1516–1556 гг. испанский и неаполитанский король под именем Карла I, в 1519–1556 гг. германо-римский император.
38. *Фердинанд I* (1503–1564) – младший брат Карла V. С 1526 г. венгерский и чешский король, с 1531 г. избранный германский король, с 1556 г. германо-римский император.
39. *Карл VI* (1685–1740) – австрийский эрцгерцог, в 1706–1714 гг. испанский король под именем Карла III, в 1711–1740 гг. германо-римский император под именем Карла VI и под именем Карла III венгерский и чешский король.
40. *Максимилиан I* (1459–1519) – австрийский эрцгерцог, в 1493–1519 гг. германо-римский император.
41. *Фердинанд II* (1578–1637) – австрийский эрцгерцог, с 1617 г. чешский король, с 1618 г. венгерский король (начало правления с 1619 г.), в 1619–1637 гг. германо-римский император.
42. *Франц Иосиф I* (1830–1916) – с 1848 г. австрийский император, с 1867 г. венгерский король.
43. *Франц Лотарингский* (1708–1765) – в 1745 г. был избран германскими князьями германским императором.
44. *Цисальтийская республика* со столицей в Милане была создана Наполеоном в 1794 г. в Северной Италии по образцу Французской республики. В 1802 г. была преобразована в Итальянскую республику, в 1805 г. – в королевство; просуществовала до 1814 г. Гельвецкая республика была создана в 1798 г. в период французской оккупации Швейцарии и просуществовала до 1814 г. Батавская республика была создана по образцу Французской республики в Голландии после вступления в страну французских войск; в 1806 г. Наполеон преоб-



разовал ее в королевство и посадил на трон своего младшего брата Людовика. Этрурия – государство, созданное в 1801 г. при поддержке Наполеона в итальянском эрцгерцогстве Тоскана и аннексированное в 1807 г. Францией. В 1809–1814 гг. как эрцгерцогство Тоскана находилась во владении сестры Наполеона. Вестфальское королевство в 1807–1815 гг. находилось в сфере влияния Франции; государство-член Рейнского союза; после 1815 г. его значительная часть стала прусской провинцией.

45. *Гессен-Гомбург* – в 1622–1866 гг. германское княжество; в 1864 г. его территория составляла всего 275 кв. км, а численность населения – 27 тыс. чел. В 1866 г. было аннексировано Пруссией. Ныне часть земли Гессен.

46. Лк: 17; 33.

47. *G. Ferrero. Pouvoir*, p. 132–153.

48. *Директория* – правительственный орган, состоявший из 5 членов, который в 1795–1799 г. осуществлял во Франции президентскую и исполнительную власть.

49. *Людовик XVIII* (1755–1824) – французский король из династии Бурбонов, после поражения Наполеона в 1814 г. возвращенный на трон антиреволюционной коалицией; *Луи Филипп* (1773–1850) – французский король в 1830–1848 гг. из младшей (Орлеанской) ветви династии Бурбонов.

50. *Германский союз* (1815–1866) – образованное на Венском конгрессе объединение 35 независимых германских государств и 4 свободных городов под главенством Австрии (Габсбургской империи), однако со стороны Австрии и Пруссии в Союз вошли лишь несколько провинций. Цель Союза состояла в «обеспечении внешней и внутренней безопасности Германии, а также поддержании независимости отдельных германских государств». Согласно конституции Союза внешне- и внутривнутриполитическими делами ведало Союзное собрание, заседавшее во Франкфурте. По совместному решению была создана и объединенная армия Союза.

51. Барон *Генрих Фридрих Карл Штейн* (1757–1831) – прусский государственный деятель, сторонник просвещенного абсолютизма. В 1804–1807 гг. министр торговли, экономики и финансов. После подписания Тильзитского мира по совету Наполеона был назначен

прусским королем Фридрихом Вильгельмом III государственным министром. Инициатор ряда либеральных реформ, в частности, ликвидации крепостной системы, создания органов городского самоуправления, организации министерств нового типа, проведения реформы центрального и местного административного управления. Однако под давлением Наполеона в 1808 г. Фридрих Вильгельм III отстранил его от политической деятельности. В 1812 г. советник русского царя Александра I, в 1814–1815 гг. принял участие в Венском конгрессе, где выступил главным защитником интересов германских союзных государств в противовес Австрии и Меттерниху. В 1815 г. отошел от политики.

52. В октябре 1813 г. недалеко от Лейпцига в так называемой битве народов объединенные силы прусско-австро-шведской армии нанесли сокрушительный удар армии Наполеона. Французская армия была вынуждена отступить, и таким образом Германия полностью освободилась от французского господства.

53. *Медиатизированные семьи* – знатные германские семьи, чьи владения после распада Священной Римской империи оказались подвластными другим германским государствам. Во времена Германского союза имперское правительство предоставило им ряд привилегий.

54. Австрийский *эрцгерцог Иоганн* (1782–1859) – седьмой сын императора Леопольда II. В течение года занимал пост имперского регента.

55. *Фридрих Вильгельм I* (1688–1740) – прусский король, названный за свои грубые манеры «королем-капралом». Правил в 1713–1740 гг. Создал огромную армию (85 тыс. чел.), заложив основу военной мощи Пруссии.

56. По инициативе и под главенством Пруссии расположенные на север от Майна 17 германских малых государств и 3 свободных города в августе 1855 г., после прусско-австрийской войны создали Северо-Германский союз, который заменил Германский союз после его распада. Четыре южногерманских государства, а также Австрия не стали его членами. В ноябре 1870 г. после прусской победы при Седане к Союзу присоединились Бавария, Баден, Гессен и Вюртемберг. В 1871 г. после образования Германской империи Союз прекратил свое существование.

57. В 1879 г. Бисмарк побудили к участию в «Двойственном союзе» прежде всего политические соображения: его целью была изоляция Франции, а также предупреждение «окружения» Германии.

58. *Вюртемберг* – бывшее государство в юго-западной части Германии. С XIII в. независимое графство, с 1495 г. герцогство, в 1806–1918 гг. королевство. С 1871 г. союзное государство Германии. Ныне часть земли Баден-Вюртемберг.

59. *Шаумбург-Липпе* – бывшее германское государство. С 1640 г. графство, в 1807–1918 гг. герцогство. Ныне один из округов Нижней Саксонии.

60. *Позен* – старинная польская территория, польское название Велькопольска. В результате трехкратного раздела Польши во второй половине XVIII в. значительная часть этой территории отошла к Пруссии. В 1807–1814 гг. часть Варшавского герцогства, в 1815–1919 гг. одна из провинций Пруссии. С 1919 г. большая часть территории относится к Польше.

61. *Тернополь* – бывший польский город в Восточной Галиции; до 1918 г. относился к Австро-Венгерской монархии. В 1920 г. находился под властью Польши, в 1939 г. после возвращения Западной Украины стал украинским городом (Тернополь).

62. *Пассау* – портовый город, расположенный у впадения рек Инн и Ильц в Дунай. В 1805 г. перешел от Австрии к Баварии. Ныне город в Германии.

63. *Эмиль Людвиг* (1881–1948) – немецкий писатель и журналист. После прихода Гитлера к власти эмигрировал в Швейцарию, затем переехал в США. Автор книг в жанре психологического эссе, посвященных жизни и деятельности выдающихся исторических личностей, знаменитых художников, поэтов и писателей. В 1912 г. вышла в свет его книга «Бисмарк».

64. *Рудольф II* (1552–1612) – с 1576 г. германо-римский император. Из-за усиливающегося психического заболевания его брат, будущий Маттиас II (1557–1619), а также высшие сословия Венгрии, Чехии и Австрии принудили его к отречению в 1608 г. от венгерского престола и в 1611 г. – от чешского престола, хотя императорский титул был за ним сохранен.

65. *Эдуард VIII* (1894–1972) – уэльский герцог, затем английский король, сын Георга V, представитель Виндзорской династии; в конце

1936 г., после длившегося едва год правления его вынудили отречься от престола из-за его намерения жениться на разведенной женщине. В 1940–1945 гг. регент на Багамских островах, после 1945 г. поселился во Франции.

66. Посол Австро-Венгрии в Белграде 23 июля 1914 г. передал сербскому правительству ноту, в которой на кабинет Пашича возлагалась ответственность за совершенное 28 июля убийство престолонаследника Франца Фердинанда и наряду с этим выдвигалось требование ускорить осуждение великосербского политического движения, а также допустить на территорию Сербии официальных представителей монархии для проведения расследования обстоятельств убийства престолонаследника, что было заведомым ущемлением суверенитета Сербии. Сербское правительство, естественно, не могло принять эти требования; в ответ Вена прервала дипломатические отношения с Сербией, объявила ей войну, и таким образом началась Первая мировая война.

67. Граф *Оттокар Чернин* (1872–1932) – австрийский политик, с октября 1916 г. до апреля 1918 г. министр иностранных дел Австро-Венгрии. Был доверенным лицом престолонаследника Франца Фердинанда; критиковал созданную императором Францем Иосифом дуалистическую систему правления.

68. Граф *Венцель Антон Эузебиус Кауниц* (1711–1794) – австрийский дипломат и государственный деятель. Сторонник просвещенного абсолютизма. В 1741–1753 гг. занимал дипломатический пост, в 1753–1792 гг. государственный канцлер, определяющий направление внешней политики Австрии; до смерти Марии Терезии обладал безграничным влиянием; оказывал воздействие и на внутреннюю политику. Во время правления Иосифа II был оттеснен на задний план.

69. *Лотар Клеменс Венцель фон Меттерних* (1773–1859) – австрийский государственный деятель, дипломат. С 1809 г. министр иностранных дел. Играл большую роль на Венском конгрессе, состоявшемся после поражения Наполеона. Один из ведущих деятелей реакционного Священного Союза, считавший его главной задачей сохранение феодального абсолютизма и подавление революционных движений. С 1821 г. государственный канцлер, с 1826 г. канцлер. Был низложен венской революцией 1848 г.

70. **Политический антисемитизм** возник после финансового кризиса 1873 г. и в 70-х гг. стал организованной силой в Австрии и Германии, вышедшей на политическую арену. Общественную базу движения составляли мелкая городская буржуазия и средние слои. Движение выступало против ориентирующегося на крупную буржуазию австрийского либерализма; критиковало дуалистический государственный строй. Внутри движения сформировались два главных направления – клерикальный антисемитизм (Карл Люгер и Христианско-социальная партия, 1888) и расистско-националистический антисемитизм, главным представителем которого был Георг Риттер фон Шенерер. Последнее ориентировалось на Германию и декларировало идеи пангерманизма. В 1897 г. Шенерер создал открыто антисемитскую, националистическую *Alldeutsche Partei*. В начале XX в. политическое и общественное влияние австрийского политического антисемитизма, как и немецкого, ослабло, и само движение пришло в упадок. (*Pulzer L., Peter G.J. The Rise of Political Anti-Semitism in Germany and Austria. London, 1964*).

71. **Социал-демократическая партия Германии** (1869–) в период Веймарской республики была одной из партий правящей коалиции. После прихода Гитлера к власти, на проведенных 5 марта 1933 г. в обстановке фашистского террора выборах социал-демократы получили свыше 7 миллионов голосов, т. е. 18,3 процента, в результате чего 100 представителей партии получили парламентские мандаты. По сравнению с 1930 г. число голосовавших за партию сократилось на 6,2 процента. Летом 1933 г. нацисты приступили к массовым арестам социал-демократов; 22 июля социал-демократическая партия была запрещена, и члены ее парламентской фракции лишены мандатов.

72. **Шварцбург-Зондерсхаузен** – старинные германские княжества. В XVI в. Шварцбург распался на два независимых государства, сохранивших этот статус до 1909 г., когда они вступили в персональную унию. В ходе германской революции 1918 г. герцогство было ликвидировано, в 1920 г. эта территория была присоединена к Тюрингии.

73. **Наполеон III** (1808–1873) – в 1852–1870 гг. французский император. Племянник Наполеона I. После Французской революции 1848 г. был избран президентом республики, но в результате государственного переворота в 1851 г. захватил власть в стране. В 1852 г.

был провозглашен императором. Опираясь на армию, состоятельные слои крестьянства и часть крупной буржуазии, установил жесткую единоличную диктатуру.

74. *G.Ferrero. Die Tragödie des Friedens. Von Versailles zur Ruhr.* Jena, 1923, S. 38.

75. *Версальский мирный договор* подписан в Версале 28 июня 1919 г. державами-победительницами – США, Британской империей, Францией, Италией, Японией и др., с одной стороны, и побежденной Германией – с другой.

76. *Гип ван Винкль* – герой одноименного рассказа американского писателя В.Ирвинга, который был околдован и двадцать лет проспал в пещере, а проснувшись, оказался в совершенно новом, неизвестном для него мире.

77. *Раймонд Пуанкаре* (1860–1934) – французский политик. С 1893 г. министр, в 1913–1920 гг. президент республики, в 1912–1913 гг., 1922–1924 гг. и в 1926–1929 гг. премьер-министр.

78. *А.П.Извольский* (1856–1919) – русский дипломат и политик. С 1894 г. на различных дипломатических постах, в 1906–1910 гг. министр иностранных дел, затем до 1917 г. русский посол в Париже.

79. Граф *Леопольд Берхтольд* (1863–1942) – дипломат Австро-Венгрии. В 1906–1911 гг. посол в Петербурге, в 1912–1915 гг. министр иностранных дел. Сыграл важную роль в составлении ультиматума Сербии и, таким образом, в развязывании Первой мировой войны.

80. *Густав Штреземанн* (1878–1929) – германский политик, дипломат. Основатель и руководитель созданной в 1918 г. Немецкой народной партии. В 1923–1929 гг. канцлер и министр иностранных дел. В 1923 г. подавил восстание рабочих в Гамбурге. Участвовал в разработке плана Дейвса (1924) по восстановлению экономики Германии и подготовке Локарнского договора (1925), гарантировавшего западные границы Германии. Наряду с этим во внешнеполитической сфере предпринимал шаги по сближению с Советским Союзом. При его содействии в 1925 г. было подписано советско-немецкое торговое соглашение, годом позже – договор о взаимном нейтралитете.

81. *Рейнский гарантийный пакт* 1925 г. – принятое на Локарнской конференции соглашение, в котором заинтересованные стороны

(Франция, Бельгия и Германия) признали неприкосновенность определенных Версальским мирным договором германо-французской и германо-бельгийской границ, приняли обязательство по сохранению демилитаризованной Рейнской зоны, а также установили соглашение о взаимном ненападении. Гарантами договоренности выступили Англия и Италия. В Рейнском пакте было особо оговорено, что установленная договоренность не распространяется на восточные границы Германии.

82. См.: *Gustav Stresemann. Vermächtnis. Der Nachlass in drei Bänden.* Red. Heinrich Bernhard. Berlin, 1932–1933.

83. *Конференция по разоружению* (1932–1935). В созванной в Женеве по решению Лиги наций Конференции по разоружению приняли участие 63 страны, среди которых был и Советский Союз. Первый этап конференции закончился летом 1932 г., однако великие державы не пришли к единому мнению относительно основополагающих принципов разоружения. Германия требовала полного равноправия в вооружении и стремилась к ревизии Версальского мирного договора. Вокруг вопроса о равноправии Германии в вооружении проявились острые противоречия, в результате чего в октябре 1933 г., после прихода Гитлера к власти, Германия заявила об отказе участвовать в конференции. При посредничестве Англии в конечном итоге была достигнута договоренность, в рамках которой великие державы признали право Германии на вооружение, учитывая при этом интересы безопасности Франции. Установленная договоренность открыла путь Германии к вооружению и в значительной степени содействовала тому, что в 1935 г. Женевское совещание зашло в тупик.

84. *Георх Брюнинг* (1885–1970) – германский политик. Ведущий руководитель Христианских профсоюзов (1921–1930) в период Веймарской республики. В 1924–1930 гг. член католической партии Центра, с 1929 г. руководитель ее парламентской фракции. В 1930–1932 гг. имперский канцлер. В 1934–1951 гг. находился в эмиграции в США, в 1951 г. возвратился в Германию, с 1955 г. снова вернулся в США, где работал преподавателем Гарвардского университета.

85. *Fortwursteln* (нем.) – делать что-то неосмысленно, без заранее обдуманного плана.

86. *Энгельберт Дольфус* (1892–1934) – австрийский политик. Один из руководителей клерикальной Христианско-социалистической партии, в 1931–1932 гг. министр земледелия, в 1932–1934 гг. канцлер и министр иностранных дел. В 1934 г. устроил кровавую расправу над венскими рабочими, а затем распустил рабочие организации и парламент. Установил диктатуру фашистского типа. 25 июля 1934 г. был убит в ходе предпринятой нацистами попытки путча.

87. *Австрийская христианско-социалистическая партия* – католическая политическая организация. В 1918–1934 гг. при поддержке церкви играла важную роль в австрийской политической жизни; в 1918–1920 гг. состояла в коалиции с Социал-демократической партией, в 1920–1933 гг. – с различными правыми партиями. С 1920 г. представители партии занимали пост премьер-министра; в 1934 г. была распущена.

88. *Партия Центра* – германская католическая буржуазная партия, основанная в 1870 г. После Первой мировой войны стала называться Христианско-демократической народной партией. Выражала интересы католической церкви и части крупной буржуазии. Правящая партия во время Веймарской республики. После прихода Гитлера к власти летом 1933 г. была распущена.

89. *Heimwehr* (нем.: тоска по родине) – военный союз австрийских добровольцев. Был создан после Первой мировой войны герцогом Эрнстом Рюдигером Штарембергом (1899–1956), «вождем союза» в 1930–1936 гг., который в ноябре 1923 г. на стороне Гитлера принял участие в мюнхенском путче, закончившемся провалом. Движение ставило своей целью уничтожение буржуазного парламентаризма и буржуазных свобод, установление фашистской диктатуры германского типа и присоединение Австрии к Германии. Представители движения занимали руководящие посты в нескольких христианско-социалистических правительствах Австрии. Штаремберг поначалу занимал пост министра внутренних дел, а затем в правительстве Дольфуса и Шушнига – пост вице-канцлера. После аншлюса деятельность союза прекратилась.

90. *Невиль Чемберлен* (1869–1940) – английский консервативный политик. С 1922 г. неоднократно министр, в 1937–1940 гг. премьер-министр. Играл большую роль в разработке и осуществлении политики невмешательства, благоприятствовавшей Франко, а также в по-



литике примирения, приведшей к гитлеровской агрессии. Его подпись как представителя Англии стояла под Мюнхенским соглашением.

91. *Партия* – Национал-социалистическая немецкая рабочая партия.. Созданная 5 января 1919 г. в Мюнхене партия поначалу носила название Немецкая рабочая партия. В сентябре 1919 г. в нее вступил Гитлер, ставший с 1921 г. ее председателем. После закончившегося провалом мюнхенского путча (ноябрь 1923 г.) партия была запрещена, однако в 1925 г. вновь активизировалась. В принятой в том же году программе провозглашала демагогические реформы, однако подлинной ее целью была ликвидация установленной Версальским договором международной системы и создание тотальной фашистской власти. Характерными элементами ее идеологии были антикоммунизм, антидемократизм, расовая теория и шовинизм. В своей структуре партия была жестко централизована, по каждому существенному вопросу решающим был голос Гитлера. Имела свои военизированные отряды (СА). Начиная с 1928 г. и особенно в период экономического кризиса в силу своей демагогической политики и нередкого применения военной силы быстро усиливала свое влияние. Если в 1919–1920 гг. насчитывала приблизительно 2 тыс. чел., в 1930 г. – 300 тыс. чел., в январе 1933 г. – 1,4 млн. чел., то в мае 1933 г., после прихода Гитлера к власти ее численность возросла до 3,2 млн. членов (в 1945 г. ее членами были 8,4 млн. чел.). Социальный состав партии со временем во многом изменился, и к концу тридцатых годов она пользовалась признанием, хотя и не в одинаковой мере, практически среди всех слоев германского общества. 1930 год ознаменовался для нее первым успехом на выборах, 1932 год принес ей победу на выборах, обеспечив 11,7 миллионов голосов, то есть 33,1 процентов, а на выборах 5 марта 1933 г. – уже 44 процента. После роспуска политических партий в 1933–1945 гг. единственной легальной партией в Германии оставалась нацистская партия, к 1933 г. она уже осуществляла полный контроль над государством. После Второй мировой войны, в октябре 1945 г. по решению Потсдамской конференции была распущена и запрещена.

92. СА (SA), *Sturmabteilung* (нем.: штурмовой отряд) – созданные в 1921 г. отряды особого назначения возглавляемой Гитлером на-

цистской партии. Членов этих отрядов по их униформе называли «коричневорубашечниками». После убийства Рема и других главарей организации в «ночь длинных ножей» 1934 г. вес SA в значительной степени уменьшился, хотя официально она не была распущена.

93. *СС (SS), Schutz-Staffel* (нем.: войска внутренней охраны) – фашистская террористическая организация, созданная в 1925 г. первоначально как личная охрана Гитлера. С 1929 г. руководство SS принял Генрих Гиммлер (1900–1945), со временем прибравший к рукам государственную политическую полицию (гестапо) и в 1936 г. вставший во главе всей системы полицейских органов. Под руководством Гиммлера SS превратилась в многочисленную, независимую, обладавшую огромной властью террористическую организацию, главной задачей которой стало осуществление жестоких насильственных мер в отношении населения, участие в массовых террористических акциях, создание концентрационных лагерей и поддержание их деятельности.

## О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств

A kelet-európai kisállamok nyomorúsága, 1946.

Публикуется с незначительными сокращениями.

1. Три скандинавских государства: речь идет о Дании, Норвегии и Швеции, образовавшихся в X–XI вв.
2. Образование раннефеодального *Польского* государства завершилось к X в. Князь Мешко I из династии Пястов (годы правления: ок. 960–992) объединил под своей властью большую часть польских территорий; в 966 г. принял христианство. Объединение польских земель завершил его сын Болеслав I Храбрый (годы правления: 992–1025); в 1025 г. принял титул короля.
3. Раннефеодальное *Венгерское* государство образовалось к концу X в. при князе Гезе (годы правления: ок. 970–997) из династии Арпадов и его сыне Иштване I Святом (годы правления: 997–1038).
4. Раннефеодальное *Чешское* государство, основателем которого

была династия Пржемысловичей, образовалось в X в. В 874 г. часть вождей чешских племен приняли христианство. Позже чешское государство оказалось в феодальной зависимости от империи восточных франков, а затем стало частью Священной Римской империи.

5. Так называемая древняя Болгария существовала с 680 по 1018 гг. В 865 г. князь Борис принял православие. В 1018 г. Болгария была завоевана византийским императором Василием.

6. В *Сербии* первые попытки создания государства относятся к периоду формирования раннефеодальных отношений в IX–XI вв. В XI в. сербы попали под власть Византии. Первое сербское феодальное государство возникло в XII в. после освобождения страны от византийского ига. Первый король Сербии Стефан, сын великого жупана Стефана Немани (годы правления: 1196–1227), был коронован в 1217 г.

7. *Хорватия* освободилась из-под власти франкских и германских феодалов в IX в. в результате борьбы словенских и хорватских племен за независимость и была объединена баном Трпимиром (годы правления: 845–864). В 925 г. хорватский бан Томислав принял титул короля Хорватии. В отличие от остальных югославянских государств хорватская знать приняла в качестве официальной религии римско-католическую. Воспользовавшись феодальной анархией в X–XI вв., Хорватию захватили венгерские короли, и в 1102 г. хорватская знать провозгласила венгерского короля Кальмана (годы правления: 1095–1116) королем Хорватии.

8. Дунайские румынские княжества – *Валахия и Молдова* – образовались в XIV в.

9. *Великое княжество Литовское* возникло в середине XIII в. (1240 г.) Окончательно приняло христианство в 1387 г.

10. *Нидерланды* образовались в результате начавшейся в 1566 г. буржуазной революции и освободительной борьбы против испанского господства (1566–1609 гг.). Испания формально не признала независимость Нидерландов, однако в 1609 г. заключила с ними так называемое Двенадцатилетнее перемирие, которое де-факто означало признание независимости страны. Бельгия продолжала оставаться под испанским господством, а в 1713 г. по Утрехтскому миру вошла в состав Габсбургской империи. Под влиянием Французской революции в Бельгии развернулась национально-освободительная борьба.

ба, однако в ходе французских революционных войн Франция оккупировала Бельгию, а затем в 1795 г. включила ее в состав Франции.

11. *Швейцария* добилась независимости в 1499 г., однако международное признание этого факта произошло лишь по Вестфальскому миру в 1648 г.

12. Под воссоединением Пиренейского полуострова Бибо, по-видимому, подразумевает то, что после 1270 г. в результате Реконквисты большая часть территории полуострова была освобождена от арабского господства; самостоятельное развитие Португалии и Испании ускорилося. Особенно интенсивно этот процесс происходил в XIV–XV вв., на что оказали большое влияние колониальные войны.

13. Уния между Арагоном и Сицилийским королевством: в XV в. Альфонс V объединил Арагон, Сицилию и Неаполитанское королевство, и это государственное образование просуществовало до XVIII в.

14. Связь между *Англией и Ганновером*: Ганновер – немецкое герцогство, существовавшее с XII века; с 1714 по 1837 г. состояло в унитарном договоре с Англией. Курфюрст Ганновера Людвиг стал королем Англии под именем Георга I и положил начало Ганноверской династии английских королей. С 1837 по 1866 г. Ганновер был самостоятельным королевством.

15. *Война за Австрийское наследство* (1740–1748): после смерти Карла V (1655–1740) европейские государства (Франция, Пруссия, Испания и Бавария), не пожелавшие признать наследование по женской линии династии Габсбургов (так называемую Прагматическую санкцию), начали войну против Австрии.

16. *Иль-де-Франс* – область вокруг Парижа, территория которой находилась во владении королевской династии Капетингов, то есть «сердце Франции».

17. *Польско-литовская* (Кревская) уния была заключена в 1385 г. и скреплена браком великого князя литовского Ягайло с польской королевой Ядвигой, дочерью венгерского короля Лайоша Великого. Просуществовала до раздела Польши в 1795 г.

18. Три территориальных раздела польского государства были проведены в 1772, 1793 и 1795 гг. соседними с Речью Посполитой государствами: Россией, Австрией и Пруссией. По первому разделу к

России отошла Польская Литва (Латгалия) и часть Белоруссии; Австрия получила Галицию, а Пруссия – Восточную Пруссию, за исключением городов Гданьск и Торунь. По второму разделу Польши, в котором участвовали Пруссия и Россия, Россия заняла Белоруссию и Правобережную Украину, а Пруссия – города Гданьск и Торунь и некоторые другие территории. В результате третьего раздела после подавления национального восстания под предводительством Костюшко Польша была полностью разделена. Литва целиком отошла к России, прусские войска вошли в Варшаву, Краков и заняли прилегающие к ним земли, а Австрия получила большую часть земель к северо-западу от Галиции.

19. *Конституция 1791 г.*, разработанная в духе идей Французской революции и принятая так называемым четырехлетним сеймом (1788–1792), упразднила феодальную монархию и создала политические условия для буржуазного развития. Действовала чуть больше года – до того времени, когда оппозиция польских магнатов с помощью царской России захватила власть и объявила конституцию недействительной.

20. После *третьего раздела* Польша перестала существовать как самостоятельное государство. В данном случае Бибо, по-видимому, имеет в виду созданное Наполеоном в 1807 г. Великое герцогство Варшавское, которое имело свою конституцию по образцу французской и управлялось поляками. Армия Великого герцогства Варшавского в 1813 г. была разгромлена царскими войсками.

21. На *Венском конгрессе* в 1814–1815 гг. державы-победительницы – Австрия, Пруссия и Россия – поделили между собой польские территории, ранее завоеванные французами. На отошедшей к России территории Великого Герцогства Варшавского было создано Королевство (Царство) Польское, «навечно» объединенное с Россией и получившее конституцию от Александра I как польского короля. Это территориальное устройство, сохранявшееся до 1918 г., современная историография не считает новым (то есть четвертым) разделом Польши, поскольку самостоятельное польское государство к тому времени уже не существовало в течение двух десятилетий.

22. «*Линия Керзона*» – рекомендованная Верховным Советом Антанты в декабре 1919 г. восточная граница Польши (Гродно – Брест-Литовск – восточнее Пшемысля до Карпат); получила название по

имени министра иностранных дел Великобритании маркиза Дж. Керзона, который в июле 1920 г. во время польско-советской войны потребовал, чтобы Красная Армия прекратила наступление на этой линии. С некоторыми изменениями в пользу Польши «линия Керзона» была положена в основу советско-польского договора о границе от 16 августа 1945 г.

23. *Рижский мирный договор* (1921 г.) был подписан между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей – с другой, после советско-польской войны 1920 г. По договору к Польше отошли земли Западной Украины и Западной Белоруссии.

24. На *Потсдамской конференции* летом 1945 г. державы антифашистской коалиции пришли к договоренности, что западная граница Польши должна проходить от Балтийского моря по рекам Одере и Нейсе; Польша получила разрешение выселить в Германию немецкоязычное население, жившее к востоку от этой линии.

25. Имеется в виду неудачная попытка М. Хорти выйти из войны, в результате чего Гитлер в октябре 1944 г. привел к власти в Венгрии фашистскую партию Ф. Салаши (нилашистов), которая развязала в стране террор и вынудила венгерскую армию до конца сражаться на стороне Германии.

26. *Чехословацкие легионы* общей численностью около 150 тыс. человек были сформированы в 1917 г. по инициативе созданного в Париже Чехословацкого национального совета во Франции, Югославии, Италии и России. Чехословацкий корпус в России в 1918 г. перешел на сторону белых и поднял мятеж, захватив Транссибирскую железнодорожную магистраль. В 1919 г. через Владивосток этот корпус был отправлен на родину. В Чехословакии бывшие legionеры заняли важные посты в государственной администрации и армии.

27. *Чехословацкая республика* была провозглашена 28 октября 1918 г., первым ее президентом стал Т. Масарик.

28. В 1945 г. правительство Чехословакии во главе с Э. Бенешем, руководствуясь принципом коллективной ответственности, объявило о лишении гражданства большей части проживающих на территории страны венгров (и немцев). Исключение составляли только лица, участвовавшие в антифашистском Сопротивлении. Многие венгры были интернированы, около 20 тыс. человек выдворены и еще 40 тысяч бежали в Венгрию.

29. *Пятым разделом Польши* Бибо считает акцию, предпринятую на основании советско-германского Договора о ненападении 1939 г., когда в сентябре 1939 г. Советский Союз занял территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, продвинув свои границы в западном направлении примерно на 100 км.

30. В 1938–1941 гг. Венгрия при поддержке Германии и Италии добилась возврата части территорий, утраченных ею по Трианонскому мирному договору. По Первому венскому арбитражу (ноябрь 1938 г.) ей была передана южная часть Словакии и Закарпатье, по Второму (август 1940 г.) – Северная Трансильвания. В апреле 1941 г. Венгрия приняла участие в нападении гитлеровской Германии на Югославию и вернула себе Бачку и некоторые другие бывшие территории. Изменения границ, достигнутые таким образом, были аннулированы Парижскими мирными договорами 1947 г.

31. Граф *Кальман Тиса* (1830–1902) и граф *Иштван Тиса* (1861–1918) – отец и сын, крупные землевладельцы, либерально-консервативные политики; отец – премьер-министр в 1875–1890 гг., сын – премьер-министр в 1903–1905 и 1913–1917 гг.

32. *Брэтиану* – семья крупных румынских помещиков и политических деятелей.

33. *Никола Пашич* (1845–1926) – сербский государственный деятель, с 1878 г. депутат скупщины, один из организаторов и руководителей оппозиционной Радикальной партии.

34. Граф *Иштван Бетлен* (1874–1946) – премьер-министр Венгрии в 1921–1931 гг. В конце Второй мировой войны при освобождении Венгрии от фашизма арестован советскими спецслужбами и вывезен в СССР. Умер в Москве в Бутырской тюрьме при невыясненных обстоятельствах.

35. *Элефтериос Венизелос* (1864–1936) – греческий государственный и политический деятель, основатель Либеральной партии Греции, премьер-министр (в 1910–1915 гг., 1917–1920 гг., 1924 г., 1928–1932 гг. и 1933 г.). Был противником реставрации монархии в Греции.

36. *Карагеоргиевичи* – сербская, а позднее, вплоть до провозглашения в 1945 г. республики, югославская королевская династия.

37. *Савойская династия* – правители Савойи, короли Сардинского королевства (в 1720–1860 гг.), короли Объединенного королевства Италии (в 1861–1946 гг.).

38. «*Stierb und werde!*» – «Умри и будь!» (своб. пер. с нем., т. е. взгляни в глаза смерти и полюби жизнь!) – цитата из стихотворения Гете «*Selige Sehnsucht*» («Блаженное томление»); «*Vivere pericolosamente!*» («Жить в опасности!» – итал.) – излюбленное выражение Муссолини.

39. Речь идет о *Краледворской* и *Зеленогорской рукописях*, псевдоисторический характер которых разоблачил не Масарик. Уже в первой половине XIX в. некоторые слависты высказывали сомнения по поводу их подлинности, а в середине 1880-х гг. профессор Пражского университета Ян Гебауэр с помощью лингвистических методов доказал, что рукописи, обнаруженные в 1817–1818 гг., являются подделками. Масарик опубликовал в своем журнале «Атенеум» статью Гебауэра по этому вопросу, что было весьма смелым шагом и даже временно повредило его политическому авторитету.

40. «Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари?»

И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» (Матф.: 5; 46–47).

41. *Савойя* – самостоятельное графство, затем герцогство (1416–1720); позже относилось к Сардинскому королевству, к Франции, Италии. После плебисцита 1860 г. – часть Франции.

42. После Трианонского мирного договора (4 июня 1920 г.) в соответствии с австро-венгерским соглашением, подписанном при посредничестве Италии, 4 декабря 1921 г. в Шопроне был проведен плебисцит по вопросу государственной принадлежности города. По результатам голосования, на которые в немалой мере повлияло присутствие отрядов белого террора, Шопрон остался в границах Венгрии.

43. *Овернь* – историческая область центральной Франции; с 603 г. до XVII в. – самостоятельное графство.

44. После фашистского нападения на Югославию в 1941 г. Болгария оккупировала часть македонских территорий, населенных в основном болгарами и относившихся прежде к Югославии и Греции. В конце Второй мировой войны согласно соглашению о перемирии (23 октября 1944 г.) Болгария была обязана освободить эти территории. После войны Греция заявила претензии на относящуюся к Бол-



гарии область горного массива Пирин. Конфликт был разрешен подписанием с Болгарией мирного договора в Париже (10 февраля 1947 г.), согласно которому в отношении Югославии и Греции были восстановлены границы Болгарии до 1938 г. Территория Македонии и в дальнейшем осталась разделенной между тремя государствами – Болгарией, Югославией и Грецией. Греция не получила область горного массива Пирин, которая и ныне относится к Болгарии.

45. По так называемому *вестминстерскому статуту*, установленному 1 декабря 1931 г., согласно которому было создано Британское содружество, доминионы (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский союз, Ирландия) стали самостоятельными, автономными государствами Британской империи, равноправными с Англией, в своей внешней и внутренней политике не подчиненными ни друг другу, ни Англии и объединенными лишь верностью британской короне; по свободному волеизъявлению они присоединились к союзу бывших английских колоний. После Второй мировой войны многие добившиеся независимости английские колонии стали членами Британского содружества (Индия, Пакистан, Гана и др.), но были и такие, которые вышли из него (Бирма в 1947 г., Ирландия в 1949 г.).

46. 28 июля 1920 г. в Восточной Пруссии, в Мазурии и Вармии был проведен плебисцит, который – в присутствии прусской администрации и полиции – принес полякам поражение. Из этих территорий Польша получила всего несколько деревень. 20 марта 1921 г. в Верхней Силезии был проведен плебисцит, в ходе которого 500 тыс. человек, главным образом деревенское население, проголосовали за принадлежность к Польше и 700 тыс. человек, в основном городские жители, проголосовали за принадлежность к Германии. Опасаясь, что государства Антанты вынесут неблагоприятное для судьбы этой территории решение, в мае 1921 г. поляки подняли вооруженное восстание. При вмешательстве Антанты было заключено перемирие, и после долгих переговоров территориальные вопросы здесь были решены таким образом, что юго-восточная часть Верхней Силезии, включая и половину промышленных областей, отошла к Польше.

47. *G.Ferrero. Reconstruction. Talleyrand é Vienne (1814–1815). Paris, 1940. P. 106. (Далее: Ferrero, Reconstruction.)*

48. Так называемая *Семилетняя война* (1756–1763) распространилась не только на территорию континентальной Европы, но и на моря и

колонии. Франция и Англия вели войну (к которой позже присоединилась и Испания) прежде всего в Северной Америке, Западной Африке и Юго-Восточной Азии. Для Франции колониальная война закончилась тяжелым поражением, среди прочего ей пришлось отдать Англии Канаду, Новую Шотландию, о-в Доминик, Тобаго и Сенегал.

49. *G.Ferreto. Reconstruction. P. 93.*

50. Царь *Александр I* (1777–1825) – русский царь с 1801 по 1825 г. Присоединился к антинаполеоновской коалиции европейских монархий, но после распада Пруссии подписал Тильзитский мир (1807). Годом позже вступил в союз с Францией и до 1811 г. поддерживал антианглийскую континентальную блокаду. Закончив семилетнюю русско-турецкую войну (1806–1812) и установив мир со Швецией, готовился к нападению Наполеона в 1812 г. После отступления французов участвовал в дрезденском и лейпцигском сражениях (1814) и с армиями союзников вступил в Париж. Сыграл большую роль в Венском конгрессе, по его инициативе был создан Священный союз, чрезвычайно выгодный для России.

51. *Лотарингия* – историческая область Франции. После франко-прусской войны 1870–1871 гг. наряду с Эльзасом была присоединена к победившей в войне Германии (область Эльзас-Лотарингия). После Первой мировой войны по Версальскому мирному договору 1919 г. была вновь присоединена к Франции.

## Конспект. Октябрь 1956 года

Fogalmazvány, 1956. október 27–29.

*Опубл. на русском языке:* Венгерский меридиан. Журнал общественных наук., Будапешт, 1991, № 2. С. 112–122.

«Конспект» написан И.Бибо между 27 и 29 октября 1956 г., о чем свидетельствует его собственноручная запись. В этих конспективных заметках он делает попытку уяснить вопросы, принципиально важные в аспекте дальнейшего хода венгерской революции. Заметки состоят из двух частей, в первой из которых критике подвергается подход к истории и политическая практика марксизма–ленинизма–сталинизма, а во второй, сохранившейся лишь фрагментарно,

те позиции, с которых это учение подходило к анализу капитализма, а также провозглашенные им единственно верными представления об обществе. Бибо намеревался придать этим заметкам законченную форму и разрешил их публикацию в незавершенном виде только в случае своей смерти.

## О смысле европейского развития

### Az európai társadalomfejlődés értelme, 1971–1972

Данную работу И.Бибо продиктовал на магнитофон в 1971–1972 гг. Работа над другими статьями, а также иные обстоятельства помешали ему внести в нее необходимые исправления и придать тексту законченную форму. Рукопись, напечатанную на основе магнитофонной записи, подготовил для публикации редактор «Избранных трудов» И. Бибо Иштван Вида совместно с сыном ученого Иштваном Бибо-младшим. В ходе правки рукописи были устранены лишь допущенные при перепечатке ошибки, а также повторы слов, фраз и другие языковые формы, характерные для живой речи. Публикуется с сокращениями.

1. Свои мысли о «естественном состоянии» Руссо изложил в «Рассуждении о начале и основании неравенства между людьми».

2. *Классификацию конституций* см. у Аристотеля (*Аристотель. Политика*. 1288б–1297а). Там же Аристотель пишет о господстве законов: «Предпочтительнее, чтобы властвовал закон, а не кто-нибудь один из среды граждан. На том же самом основании, даже если будет признано лучшим, чтобы власть имели несколько человек, следует назначать этих последних стражами закона и его слугами». (*Аристотель. Политика*, 1287а, Соч. в 4-х тт., Т. 4., М., 1983, С. 481.)

3. *Сенат* (*лат.* senatus – совет старейшин) возник как совещательный орган, ведающий делами общины в Древнем Риме и состоявший, по преданию, из 100 старейшин родов; позже – орган власти патрициев. В первый год империи (31 г. до н. э.) его численность возросла до 900–1000 человек. Полномочия сената распространя-

лись на последующее, а позднее и на предварительное утверждение законопроектов, принятых различными, обладавшими правом принятия законов народными собраниями. В эпоху империи сенату формально было придано право издания законов, однако роль его в определенной мере уменьшилась. Несмотря на это, до конца III в. н. э., то есть приблизительно до времени прихода к власти Диоклетиана (284 г. н. э.), сенат продолжал оставаться решающим фактором и символом власти в Древнем Риме.

4. *Сакральные царства* – государства древнего мира, где верховный правитель был одновременно и верховным священнослужителем, чья власть происходила от Бога и не ограничивалась ни конституцией, ни законами. Эта государственная форма была распространена прежде всего на Ближнем Востоке, в Малой Азии, Месопотамии и Египте.

5. *Конфуций* – Кун Фу-цзы (551–478 гг. до н. э.), китайский философ. В центре его учения стояли пять основных моральных заповедей: сын должен чтить отца, младший брат – старшего, жена – мужа, младший – старшего, подданный – вышестоящего, и наконец, все должны чтить императора. С приходом к власти династии Хань (206 г. н. э.) учение Конфуция стало государственной религией и сохранило значение до 1911 г.

6. *Диоклетиан*, Кай Аврелий Валериус (245–313 гг. н. э.), римский император с 284 по 305 г. Выходец их семьи раба-вольноотпущенника; прошел путь от простого солдата до военачальника, а затем провозгласил себя императором. В интересах устранения внутренних междоусобиц и отражения угрозы внешних нападений децентрализовал власть путем разделения империи на четыре части, во главе каждой из которых поставил соправителя, хотя наибольшую власть сохранил за собой. Ликвидировал республиканские институты и ввел по восточному (персидскому) образцу неограниченную власть (доминат). Способствовал развитию ремесел и торговли. В 303 г. издал указ о беспощадном преследовании христиан. В 305 г. добровольно отрекся от власти и удалился на свою родину в Далмацию, в город Сполетум (нынешний Сплит).

7. *Реформы Константина*: церковные реформы, проведенные римским императором Константином I Великим (287–337 гг. н. э.); годы правления: 306–337. В 313 г. издал так называемый Миланский

эдикт, отменявший преследование христиан и предоставивший им свободу вероисповедания; начал строительство церквей. В 323 г. объявил христианство государственной религией. Созвал первый Вселенский Собор (Никейский собор 325 г.).

8. *«Варварские» королевства*: государства, возникшие на территории Западной Римской империи в V–VI вв., образованные в основном германскими племенами. Первым таким королевством было королевство западных готв (Вестготское королевство) с центром в нынешней Тулузе, просуществовавшее с 419 по 721 г. Племя вандалов завоевало Испанию, а затем римскую провинцию Африку и создало там государство вандалов, павшее в 539 г. В Северо-Восточной Галлии возникло Франкское королевство. Вторгшиеся в Северную Италию под предводительством Теодориха восточные готы (остготы) в 493 г. создали там собственное королевство с центром в Равенне, распавшееся в 555 г. В это время на территории Англии также образовалось несколько англосаксонских королевств. Западные готы обосновались в Испании.

9. *Липатия* (355–415) – греческий философ и математик, дочь математика Теона, изучала философию в Афинах, позднее преподавала неоплатоническую философию и математику в Александрии.

10. Ин: 8; 7.

11. Лк: 20; 25.

12. Матф.: 5; 38–39.

13. Об избиении торговцев см.: Матф.: 21; 12–13, 18, 20 и Ин: 2; 13–17.

14. *Нагорная проповедь* – квинтэссенция учения Иисуса о христианской морали и Царстве Божиим, изложенная в Евангелии от Матфея (Матф.: 5–7; ср. также Лук.: 6; 20–49). Нагорная проповедь по существу – формулировка программы активной любви. С толкованием Библии во многих отношениях совпадает и толкование, которое дает современная теология.

15. См. Рим.: 5; 1–14.

16. Дискуссии о *Святой Троице*, которые велись в III–V в. н. э., шли вокруг того, что если Господь один, но является в трех лицах (Отец, Сын, Святой Дух), то каково отношение между отдельными лицами. В ходе этих дискуссий было высказано немало еретических взглядов.

дов. И наконец, в 451 г. н. э. Халкидонский Вселенский Собор объявил Иисуса Христа ставшей человеком божественной сущностью (Логосом), одним лицом в двух – божественном и человеческом – естествах.

17. Рим.: 7. Гал.: 2; 15–21; 3.

18. *Синоптическими Евангелиями* называют Евангелия от Матфея, Марка и Луки, так как они по выбору материала и по форме изложения разительно похожи.

19. *Клюнийское движение*. монашеское движение, возникшее в бенедиктинском аббатстве Клюни на юге Франции в 910 г. Целью движения было проведение церковных реформ во имя освобождения церкви от мирского (государственного влияния). Наряду с упорядочением норм монастырской жизни (введение строгого монастырского устава) движение выдвинуло требования установления строгого безбрачия духовенства (целибат), отмены торговли церковными должностями (симония), а также отмены назначения и утверждения духовного лица в должности и сане светской властью (инвестура).

20. Римская империя пала в 476 г. под ударами германских племен.

21. *Нотариусы* – сохранившиеся и после падения Римской империи чиновники, которые знали и применяли римское право.

22. См. «Тапú» («Свидетель»), 1936, № V–VI. «Наследники Рима. (Отрывки из истории Европы)». Цитата взята у римского писателя и поэта Сидония Аполлинария (433–479?) и буквально звучит так: «Как можешь ты желать, чтобы я писал тебе эпиграммы, когда меня окружают орды длинноволосых, и хриплые звуки их языка оглушают меня. Я слышу пьяные песни Бургундии, и мой поэтический дар вянет. С тех пор, как я созерцаю этих двуногих патронов, моя муза неспособна больше слагать шестистопный стих. Твое счастье, что ты не ощущаешь десятки раз по утрам их пивной дух. Потому что уже с рассвета эти великаны приходят и приветствуют нас, как будто мы их деды» (р. 61).

23. Выражение «революции» раннего Средневековья использует Петер Вацц в «Истории Средневековья», представляющей собой второй том его «Всеобщей истории», изданной в 1936 г. Вацц считал «революцией» возникновение папского государства в XVIII в. и его отход от Византии (A közepkor története, pp. 255, 264).

24. Автор стиха Джон Бэлл (? – 1381), проповедник, один из руководителей крестьянского восстания 1381 г. После подавления восстания 15 июля 1381 г. был четвертован.
25. Отставая независимость от Габсбургов, швейцарские лесные кантоны Швиц, Ури и Унтервальден в 1291 г. заключили «вечный союз», заложивший основы Швейцарской конфедерации как фактически самостоятельного государства в рамках Священной Римской империи. После ряда побед в 1499 г. Швейцария фактически получила независимость от империи.
26. Нидерландская буржуазная революция (1566–1609).
27. Война за независимость в Северной Америке (1775–1783 гг.) и образование Соединенных Штатов (1776).
28. Проходившие в XV в. три значительных *Вселенских Собора* – Константинопольский (1414–1418 гг.), Базельский (1431–1437 гг.) и Флорентийский (1438–1442 гг.) – положили конец расколу церквей, но провозгласили собор выше власти Римского Папы; выступили против учения гуситов и приняли решение о целом ряде церковных реформ, которые, однако, не были осуществлены. Позднее – как пишет об этом и Бибо – верх одержал папский абсолютизм. Тридентский (или Триентский) Собор (1543–1563 гг.), укрепив позиции церкви, положил начало контрреформации.
29. *Филипп II* (1527–1598) – испанский король из династии Габсбургов, правил с 1556 по 1598 г. Проводимая им политика террора и введение инквизиции привели к Нидерландской буржуазной революции, в результате которой в 1581 г. на территории Нидерландов, освободившихся от испанского господства, образовалась самостоятельная нидерландская республика (Республика Соединенных провинций). При заключении перемирия в 1609 г. Испания не признала независимость Нидерландов; международное признание Голландия получила по Вестфальскому миру в 1648 г.
30. *Карл I* (1600–1649) – английский король из династии Стюартов; правил с 1625 по 1649 г. В ходе Английской буржуазной революции 1649 г. низложен и казнен.
31. *Маккартизм* – реакционная политика, связанная с именем Д.Р.Маккарти. Джозеф Реймонд Маккарти (1909–1957) – крайне правый американский политический деятель, с 1947 г. сенатор. В начале 1950-х гг. председатель сенатской комиссии Сената США

по вопросам деятельности правительственных учреждений и ее постоянной подкомиссии по расследованию. Играл ведущую роль во время президентства Г.Трумэна в антикоммунистической пропагандистской кампании, создавшей в США атмосферу всеобщей подозрительности и страха.

32. Основы подхода католической церкви к собственности были изложены в энциклике Папы Льва XIII (1878–1903) «*Regum poaatum*» («О новых вещах») от 15 мая 1891 г. В этой энциклике излагаются аргументы в пользу сохранения частной собственности, в том числе следующие рассуждения, которые имеет в виду Бибо: «Поскольку человек, трудясь, вкладывает в материал свой духовный талант и физическую силу и тем самым выработанную им вещь по ее природе ощущает как собственную, как бы накладывая на нее свою печать, как справедливость, так и право в равной степени требуют того, чтобы он владел этой вещью как собственной и никто не посмел бы посягнуть на это право». Современную точку зрения на это изложил Папа Иоанн Павел II в энциклике от 2 сентября 1981 г. «*Laborum exsecgens*» («О человеческом труде»). Центральной проблемой этой энциклики является труд, и к нему возводится и точка зрения на собственность. Основное положение этой энциклики: «Христианская традиция никогда не рассматривала это право как абсолютную и незыблемую ценность. Как раз наоборот, она всегда видела ее в свете общего права на все создание, а именно, так, что право на частную собственность подчинено общественному праву и всеобщему назначению благ». Исходя из этого делался вывод, что «нельзя исключить и передачу определенных средств производства на соответствующих условиях в общественную собственность». С другой стороны, эта энциклика обращает внимание на то, что одна лишь передача средств производства в собственность государства в соответствии с концепцией коллективизма не ведет одновременно к тому, что собственность и на самом деле становится общественной. О передаче в общественную собственность можно говорить лишь тогда, когда обеспечено то, что общество становится субъектом собственности.

33. Письмо Марии Терезии к сыну Иосифу II от 5 июля 1777 г. (*Maria Theresia, Familienbriefe. Berlin und Wien, s. a., S. 124–125.*)



34. «Хула на Духа». Однажды Иисус сказал: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; ежели кто скажет на Духа святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Матф.: 12; 31–32. Ср. Лк.: 12; 11).

35. *Бела Рейтцер* (1911–1942) – венгерский социолог. Друг и сокурсник Иштвана Бибо и Ференца Эрдеи по Сегедскому университету. С 1935 г. чиновник Торговой и промышленной палаты в Будапеште. В 1941 г. был в трудовом батальоне на Восточном фронте. В 1942 г. пропал без вести на Курской дуге.

36. *Мани*, или Манес (216–273) – персидский основатель религии, названной по его имени манихейством.

37. Граф *Хельмут Карл Бернард Мольтке* (1800–1891) – прусский фельдмаршал, с 1857 по 1888 г. начальник генштаба прусской армии; под его водительством прусская армия одержала победы в прусско-австрийской (1866) и франко-прусской (1870–1871) войнах.

А. Стыкалин

## Иштван Бибо – мыслитель и политик

НАЗЫВАЯ оригинальных центральноевропейских мыслителей, чье творческое наследие в полном объеме и без купюр стало вводиться в научный оборот только в период «смены систем» в бывших странах советского лагеря, то есть с рубежа 1980–1990-х гг., нельзя забыть о венгре Иштване Бибо (1911–1979). Человек огромной эрудиции и широкого диапазона интересов (социолог, историк, юрист, однако прежде всего политолог), Бибо не только стал одной из знаковых фигур целой эпохи в развитии венгерской общественной мысли, эпохи пройденной, хотя и связанной множеством нитей с сегодняшним днем. Его лучшие работы, привлекая читателя мастерством политического анализа и одновременно (может быть, даже в первую очередь!) умением обнаружить глубокое историческое измерение современных ему конкретных социальных явлений, и в наше время востребованы венгерской гуманитарной интеллигенцией, осмысляющей многострадальный опыт своей нации в «некалендарном» XX веке (1914–1989). С другой стороны, его последовательная приверженность своим идеалам в практической политике (а Бибо участвовал в ней с разной степенью активности и в годы борьбы с фашизмом, и в дни событий «будапештской осени» 1956 г., и позже, находясь в духовной оппозиции кадаровскому

режиму) позволила наделить личность Бибо определенной моральной харизмой. К нравственному примеру Бибо-политика в сегодняшней Венгрии иной раз не прочь апеллировать и те, чьим общественно-политическим взглядам не слишком-то созвучны теоретические построения и духовные искания Бибо-мыслителя. Как бы то ни было, неоспоримо влияние Бибо на идейное становление многих политиков и интеллектуалов, составляющих леволиберальное крыло национальной элиты и представляющих соответствующий фланг в общественной жизни современной Венгрии. В последнее время все больший интерес к наследию венгерского мыслителя проявляют и в соседних с Венгрией странах, связанных с родиной Бибо общностью исторических судеб в составе монархии Габсбургов, и позже, в эпоху социализма, взаимопереплетением культур и (пусть безусловно и всего лишь до известной степени) специфической средневропейской ментальностью, пробивавшей себе дорогу вопреки всем драматическим, подчас кровавым катаклизмам, разводившим национальных политиков по разные стороны баррикад и наносившим каждой из наций региона плохо заживающие раны. Достаточно сказать о серьезном отклике на творчество Бибо в Словакии после издания ряда его работ на словацком языке.

ИШТВАН БИБО родился 7 августа 1911 г. в Будапеште в состоятельной интеллигентной семье кальвинистского вероисповедания, где не только почиталось знание, но сильно было сочувствие неимущим, а передававшийся из поколения в поколение весьма характерный для венгерской протестантской среды культ Л.Кошута, Ш.Петефи, героев антигабсбургской освободительной борьбы и революции 1848 г. был свободен от националистической зашоренности, не столь уж редкой среди представителей «христианского» городского среднего класса Венгрии, перенявшего многие черты менталитета венгерского дворянства эпохи дуализма, и в том числе

не лучшие (к последним следует отнести представления о собственной национальной исключительности, и это в стране, где венгры составляли всего лишь половину населения; прибавившийся к этому с конца XIX в. сильный антисемитизм, приумножавшийся из-за трудностей конкуренции с представителями ассимилированного еврейства – особенно в бизнесе и сфере свободных профессий; тесно связанная именно с этими трудностями ориентация дворян на чиновничью карьеру в рамках существующей неэффективной бюрократической системы). Отец Бибо, человек очень образованный, автор ряда научных трудов по истории культуры, тоже был чиновником в министерстве образования и религии, а позже, в период хортизма, стал директором университетской библиотеки в г. Сегеде.

Детские годы Бибо пришлись на череду драматических событий в венгерской истории: Первая мировая война с невиданными доселе человеческими жертвами, падение Габсбургов осенью 1918 г. и коммунистический эксперимент 1919 г., подавленный после 133 дней существования Венгерской Советской республики путем вооруженного вмешательства извне, наконец, Трианонский мирный договор 1920 г., имевший для Венгрии мало с чем сопоставимые исторические последствия.

Лидеры держав-победительниц, определявших послевоенные судьбы народов Центральной Европы, не поддержали, собравшись в Париже в 1919 г., стремления Будапешта сохранить за собой обширные территории, которые, будучи заселенными другими народами, входили испокон веков в историческое Королевство Венгрия. «Даже и тысячелетнее положение вещей не должно продолжаться, коль скоро оно признано противным справедливости», – заявил в своем обращении к венгерской делегации председатель Парижской мирной конференции известный французский политик А. Мильеран [1]. Принимая решение не в пользу Венгрии, устроите-

ли Версальской системы были движимы, впрочем, не только абстрактными представлениями о справедливости, а в еще меньшей мере желанием наказать венгров за Советскую республику. Суть дела была не в эмоциях, речь шла в первую очередь о достижении равновесия сил в Дунайском бассейне в интересах будущей европейской стабильности, и ради этого пришлось подумать об ослаблении Венгрии – потенциального претендента на доминацию в регионе и вероятного союзника всегда способной воспрянуть Германии. И несмотря на усилия группы международных экспертов, тщательно изучивших особенности расселения разных этносов в тех районах, где в силу смешанности состава населения было трудно или (как в Трансильвании) совсем невозможно провести размежевание по этническому принципу, установленные границы оказались далеки от идеала, поскольку в Средней Европе сохранились обширные районы с компактным расселением национальных меньшинств. Так, каждый четвертый представитель венгерского этноса оказался за пределами своего национального государства.

Итоги мирного договора с Венгрией (в силу своего особого статуса в монархии Габсбургов причисленной, и не без оснований, к побежденным в Первой мировой войне державам) потрясли даже наиболее жестких критиков темных сторон довоенного режима и, в частности, его национальной политики. Ведь в самом деле, неизменно претендовавшая на ведущую роль на востоке Центральной Европы Венгрия была теперь низведена до положения малого государства – соседние Румыния, Чехословакия и Югославия каждая в отдельности превзошли ее по площади и по численности населения.

Влияние Трианона на венгерское национальное самосознание трудно переоценить. Последнее, пишет современный венгерский историк Л.Контлер, «было скроено по образцу, вполне соответствовавшему мироощущению граждан среднего по размерам государства с 20–30-миллионным населением, в ко-

тором мадьярский приоритет базировался не только на вульгарных принципах статистического большинства и расовой принадлежности, но и на исторических и политических достижениях нации. Такое самосознание испытало ужас ментальной клаустрофобии, когда его заставили втиснуться в узкие пределы маленькой страны, населенной всего 8 млн. граждан» [2]. Неудивительно, что внешняя политика хортистского режима, направленная на ревизию трианонских границ, была всецело поддержана общественным мнением страны, в течение двух межвоенных десятилетий так и не адаптировавшимся к новой геополитической ситуации. С точки зрения внутренней политики, лозунг ревизии Трианона имел огромное консолидирующее значение, став важнейшим инструментом достижения национального единства. Таким образом, годы юности и духовного взросления Бибо совпали с временем воинствующего национализма. Либеральные, демократические, а тем более социалистические ценности, вызывая в памяти нации события 1918–1920 гг., третировались не только официальной пропагандой, но и значительной частью общественного мнения или по меньшей мере воспринимались им с подозрением как нечто способствовавшее национальному унижению. Вместе с тем и людям, чуждым национальной ограниченности, трудно было уклониться от ответов на насущные вопросы, продиктованные временем. Выявление исторических истоков национальной катастрофы 1920 г., осмысление уроков Трианона, поиски путей преодоления губительной для национального духа «ментальной клаустрофобии», тесно связанные с определением реального места Венгрии среди соседей – все это стало одним из главных направлений в духовных исканиях зрелого Бибо, начиная с 1943–1944 гг., когда с обозначившейся перспективой падения «третьего рейха» вырисовываются контуры новой модели межгосударственных отношений в Центральной Европе. Этому, однако, предшествовал совсем иной период творчества,

в который Бибо по преимуществу занимался отвлеченными, далекими от политики штудиями в области философии и теории права.

По окончании в 1929 г. престижной гимназии Бибо поступил на юридический факультет университета в г. Сегеде. С 1933 г. в течение двух лет он совершенствовал свои знания в юридических и политических науках, будучи стипендиатом в Вене и Женеве. Позже стажировался также в Гааге в Международной правовой академии. Свое многомесячное пребывание за рубежом он объяснял не только вполне естественным стремлением глубже освоить новейшие достижения европейской правовой и политической мысли и лично познакомиться с некоторыми крупными учеными (один из них, историк и теоретик международных отношений Г.Ферреро оказал на профессиональное и идейное становление молодого венгра особенно заметное влияние). В одном из писем 1935 г. начинающий юрист мотивировал свой отъезд за границу отсутствием в современной Венгрии духовной атмосферы, которая располагала бы к независимой интеллектуальной деятельности; в нашей стране, писал Бибо, каждый, кто стремится сохранить духовную независимость, в конце концов или эмигрирует, или, жертвуя наукой, включается в политику [3].

В ранних работах Бибо по проблемам философии и социологии права, правовой этики, международного права доминировал неокантианский подход, основанный на резком разграничении мира реальных фактов (поступков, действий) и мира ценностей, в частности, правовых. Мыслитель, восприимчивый к реальности, чуждый оторванных от жизни бесплодных схоластических упражнений, Бибо, однако, уже в 1930-е гг. пытается преодолеть односторонность такого подхода на путях приближения к философии неопозитивизма, феноменологии, «новой онтологии» Н.Гартмана. Параллельно с эволюцией философских взглядов происходило изменение его отношения к политике.

Великий экономический кризис 1929–1933 гг. и наступление фашизма в Европе, как известно, способствовали полевению сознания многих европейских интеллектуалов разных поколений, усилению просоветских ориентаций вплоть до безудержной апологетики сталинской политики. При всех своих демократических симпатиях и глубоком неприятии хортистской системы молодой Бибо, по собственным позднейшим признаниям, не ощущал себя левым, питая надежды на реформы в рамках существующей системы. Тем не менее в середине 1930-х гг. он сближается с более радикально настроенными участниками так называемого движения «народных писателей», оставившего очень заметный след в развитии не только художественного слова (Дюла Ййеш и Ласло Немет стали классиками национальной литературы), но и гуманитарных наук – социологии, этнографии. Одним из лидеров этого движения на его левом фланге был друг Бибо со студенческих лет Ференц Эрдеи (1910–1971), видный политический деятель второй половины 1940-х – 1950-х гг. и известный экономист-аграрник, впоследствии академик Венгерской Академии наук. Хотя Иштвану Бибо не было присуще столь же сильное, как у Эрдеи, чувство отчуждения от «старого мира», он испытал на себе влияние идей и личности своего друга. В движении «народных писателей» Бибо высоко ценил демократические потенции, положительно отзываясь об их программе разрешения аграрного вопроса, освобождения венгерского сельского хозяйства от тяжелого балласта лишь слегка модернизированных феодальных отношений. С другой стороны, он полагал, что создание новой, альтернативной хортистскому официозу, жизнеспособной системы политических ценностей неотделимо от краха «народнических» иллюзий на возрождение и наполнение новым содержанием отживших себя патриархальных форм крестьянской жизни.

Начинающий ученый-юрист не только посещает собрания молодых интеллектуалов, неравнодушных к бедственному по-



ложению венгерского крестьянства. Рискавя поломать удачно складывавшуюся карьеру (а с середины 1930-х гг. он служит в общегосударственных судебных органах, затем в министерстве юстиции), Бибо участвует в 1937 г. как один из идеологов в оппозиционной политической акции, организованной «народными писателями» в сотрудничестве с коммунистами-подпольщиками, искавшими себе союзников среди сторонников легальных методов борьбы. Эта акция вошла в новейшую историю Венгрии под названием Мартовский фронт. Неудача этого предприятия, так и не сумевшего предотвратить массивного наступления крайне правых сил в политической жизни Венгрии, по собственному признанию Бибо, был воспринят им как личная неудача и на несколько лет отвратил его от участия в практической политике, заставив (без отрыва от службы в судебных инстанциях) сосредоточиться на научной работе. В 27 лет он избирается членом Венгерского философского общества. В 1940 г. Бибо принимает решение отказаться от судебной карьеры в пользу академической и избирается приват-доцентом Сегедского университета. Позже он признавал, что стремился, став видным университетским профессором, добиться большей духовной независимости и в силу своего статуса большей возможности влиять на политику в качестве публициста.

Территориальный спор между Венгрией и Румынией вокруг Трансильвании, резко обострившийся к концу 1930-х гг., получил временное разрешение вследствие непосредственного вмешательства Германии и Италии, явно не заинтересованных в углублении раздора в стане своих союзников. Состоявшийся 30 августа 1940 г. Второй венский арбитраж принял решение о передаче Северной Трансильвании Венгрии. Новые власти возрождают в Коложваре (ныне Клуж, Румыния) венгерский университет, куда в 1941 г. приходит Бибо. В годы войны, живя попеременно в Будапеште и Коложваре, он много работает, не всегда рассчитывая на скорую публикацию сво-

их трудов – с участием Венгрии в войне вводятся меры по ограничению политических свобод, становится почти невозможным открытое выражение в прессе последовательно демократических принципов. Бибо пытается осмыслить причины резкого сдвига вправо в венгерской политической жизни, упрочения социальной базы партий профашистской ориентации, в частности нилашистов. В его рукописях, относящихся к началу 1940-х гг., большое место занимает критика расовой мифологии, крайне правых идеологий в различных национальных вариантах, причем в основе размышлений автора лежала мысль о том, что только радикальное обновление системы ценностей, доминирующих в общественном сознании, способно предотвратить наступление тоталитарных диктатур.

В 1942–1944 гг. Бибо работает над крупномасштабным по замыслу трудом «О европейском равновесии и о мире», выходя далеко за пределы юридической специфики, выступая уже по преимуществу как политический аналитик, опирающийся на глубокие знания истории и теории международных отношений. В одном из цельных фрагментов этого так и не завершённого труда («Причины и история немецкой политической истерии») он пытается осмыслить в контексте последних полутора веков тот комплекс внутренних и внешних факторов, которые привели к столь невиданному в мировой истории грехопадению нацию, давшую человечеству Гете и Шиллера, Канта и Гегеля. Работа «О европейском равновесии и о мире» знаменательна тем, что в ней уже начинает развиваться жанр своеобразного политического эссе, принесший Бибо известность во второй половине 1940-х гг., намечается круг проблем основных его работ, обрисовываются контуры ключевых понятий его системы идей, определяются ценностные ориентиры его общественно-политической позиции первых послевоенных лет [4]. В подходе Бибо к рассмотрению истории и современных политических процессов слышатся отзвуки вли-

яния разных философов и социологов – М. Вебера, Б. Кроче, Э. Дюркгейма, Й. Хейзинги, К. Манхейма.

Придавая решающее значение в развитии общества происходящему не в экономике (вопреки всей марксистской традиции), а в политической сфере, Бибо считал, что нормальному, безболезненному функционированию политической жизни отдельных стран, равно как и механизма международных отношений в пределах региона или всей Европы мешают прежде всего социально-психологические феномены. Его специфический интерес к этому аспекту политических процессов потребовал выработки адекватного категориального аппарата, обращения к таким, например, терминам, как «политическое равновесие» и «политическая истерия», являющаяся реакцией на нарушение этого равновесия. Понятие «политическое равновесие» (внутреннее и международное) наполнено глубоким социально-психологическим содержанием при всей своей привязанности к конкретным, объективным реалиям, далеко не в последнюю очередь географическим. Это особенно отчетливо видно, когда происходит нарушение достигнутого равновесия. Возникающая в результате «политическая истерия» характеризуется устойчивыми состояниями страха перед общественными потрясениями, заговорами, революциями, нападениями извне, и страх этот проявляется во внутренней политике в преследовании действительных или мнимых политических противников, а во внешней – в разеувании мнимых угроз, в неадекватной реакции на те или иные шаги соседних государств. Обращаясь к историческим истокам возникновения тех «истерических» состояний, которые, периодически потрясая европейскую политику, провоцируют новые войны, создают напряженность в международных отношениях, Бибо не мог обойти стороной Великую Французскую революцию, которая вызвала к жизни противоречивые тенденции – с одной стороны, освободила от мощного феодального балласта европейское политическое и общественное разви-

тие, высвободила демократические потенции общества, колоссальную творческую энергию масс, а с другой стороны, вышла из-под контроля сил, ее инициировавших, а затем пыгвавшихся встать во главе революционного процесса. Именно своей неуправляемостью Французская революция стала на многие десятилетия вперед источником «политической истерии». Развивая свою мысль, Бибо доказывал, что со времени Французской революции в Европе не изжит страх перед радикальными революционными проявлениями – в XIX – начале XX вв. разве что в одной лишь Англии власти могли проводить общественно-политические реформы в состоянии спокойной уверенности в том, что удастся избежать революционных потрясений. Венгерский мыслитель отнюдь не выступает здесь апологетом консервативной, контрреформаторской системы ценностей, сложившейся в эпоху Реставрации. Речь идет прежде всего о нарушении органичного развития, об искусственном ускорении событий под влиянием Великой Французской революции, например о провозглашении республики, введении широкого избирательного права в условиях, когда еще не созрели внутренние предпосылки для действенного функционирования этих демократических механизмов.

Все это в первую очередь касается востока Центральной Европы. Демократические институты и в том числе современные конституции не стали здесь плодом органического развития, они чаще всего заимствованы на Западе, причем существующие в обществе состояния страха перед диктатом неуправляемых масс часто мешают совершенствованию демократических механизмов. Недостаток политической культуры сопровождается деформацией национального сознания. Большинство наций Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы привязывает свои патриотические чувства к территориям, которые, как правило, шире, нежели те, на которых является доминирующим язык данной нации. Происходит, таким образом, фетишизация определенной государственной

принадлежности спорных, полиэтничных и разноязыких «исторических земель» (например, Трансильвании), при этом ссылки на «историческое право» зачастую мешают прояснить картину с этническим составом населения. Ставя в своих работах вопрос подобным образом, Бибо не просто шел против течения, но имел смелость наносить чувствительные удары по идолам, которым поклонялась вся венгерская политическая элита.

Национализм и демократия редко находятся в странах восточнее Эльбы в органическом единстве, как это было в революционной Франции конца XVIII в. – с некоторыми оговорками об этом можно говорить применительно к Венгрии кануна революции 1848 г. Чаще, однако, страх перед возможной утратой определенных территорий, а в крайних случаях даже опасения за само существование нации порождают националистические настроения отнюдь не демократической направленности, что проявляется среди прочего в политике притеснения национальных меньшинств (когда возникает возможность для проведения такой политики). Таким образом, особенности политической культуры в регионе мало способствуют прекращению национально-территориальных споров и установлению равновесия в международных отношениях. Причем политическая анархия в странах-наследницах монархии Габсбургов, а также на Балканах легко становится фактором (как это показал и опыт межвоенной истории), подрывающим равновесие сил на континенте в целом. Осмысляя пути восстановления политического равновесия, Бибо приходил к выводу, что оно может быть достигнуто не просто мелкими, тактическими уступками с обеих сторон. Речь должна идти о выработке в каждой из стран политического курса, в котором оптимально соотносились бы элементы гибкости и последовательности. Эффективной является политика, в равной мере избегающая двух крайностей, – излишней уступчивости и чрезмерной бескомпромиссности.

Работа Бибо «О европейском равновесии и о мире» писалась в условиях, когда развитие событий на фронтах Второй мировой войны давало Германии и ее союзникам все меньше шансов на конечный успех. Осознавая превосходство сил антифашистской коалиции, а значит, и бесперспективность прогерманской ориентации, люди из окружения Хорти пытаются с ведома самого регента навести мосты к Британии и США, с тем чтобы по возможности не допустить советской оккупации Венгрии и, кроме того, выторговать более щадящие условия мирного договора. Во избежание потери сателлита вермахт в марте 1944 г. оккупирует Венгрию. В эти черные месяцы сотни тысяч венгерских евреев становятся жертвами Холокоста. Проявляя личную смелость, Бибо помогал укрывать в Будапеште евреев, которым грозила расправа. За это он был арестован 16 октября, в дни отстранения адмирала Хорти от власти преданными «третьему рейху» нилашистами во главе с Ф.Салаша, развязавшими невиданный доселе в Венгрии массовый террор. Правда, через четыре дня он был освобожден, лишившись права занимать место на государственной службе и преподавать в университетах. В дальнейшем он несколько месяцев живет на нелегальном положении, опасаясь нового ареста. Нилашистский террор был, однако, проявлением агонии крайне правого режима. В декабре 1944 г. в освобожденном г. Дебрецене при советской поддержке возникло временное правительство антифашистской коалиции с участием вышедших из подполья левых партий. Через считанные дни после завершения в феврале 1945 г. штурма Будапешта Бибо оказался востребованным новой властью, испытывавшей острую нужду в квалифицированных юристах, не запятнавших себя сотрудничеством с крайне правыми. Немалую роль здесь сыграли старые связи с «народными писателями» и особенно дружба с Ф.Эрдеи. Будучи в новом правительстве министром внутренних дел, Эрдеи уже в марте 1945 г. приглашает Бибо в аппарат министерства на должность заведующего отделом.

Выполняя важные функции в структуре МВД вплоть до июля 1946 г., Бибо участвует в разработке ряда законопроектов, в том числе о механизме выборов в органы власти разных уровней. В соответствии со своими служебными обязанностями он выступил также с инициативой коренной демократической реорганизации системы административно-территориального (в частности, муниципального) управления Венгрией. Рациональные проекты Бибо были по достоинству оценены только в посткоммунистическое время, в 1940-е же годы они никак не могли быть воплощены в условиях обострившейся межпартийной борьбы, в которой все более задавала тон компартия, опиравшаяся на разностороннюю поддержку СССР. Не был реализован и представленный Бибо альтернативный план выселения немцев из Венгрии, расхворившийся с более жестким проектом, принятым правительством. Особую позицию Бибо занимал и при обсуждении предложенной коммунистами программы дефашизации государственного аппарата. Он предостерегал от поспешных, непродуманных действий, не способствующих укреплению социальной базы новой власти. Впрочем, уход Бибо с государственной службы в июле 1946 г. был вызван не только и не столько разногласиями с коллегами по МВД, в котором с конца 1945 г. почти безраздельно господствовали коммунисты. Напряженность вокруг его персоны возникла из-за его активной деятельности независимого публициста, малосовместимой со статусом государственного служащего.

Еще в период войны, как это явствует из писавшейся в стол работы «О европейском равновесии и о мире», в сознании Бибо отчетливо проявились и некоторые антибуржуазные тенденции. Уважению к человеческой личности, свободе и демократии, по его мнению, отнюдь не противоречат требования о создании общества, лишённого глубоких классовых антагонизмов, напротив, последовательное осуществление демократических принципов со всей неизбежностью

ставит вопрос о социализме как общественном состоянии, исключая политическую и экономическую дискриминацию. Таким образом, идея социализма была органической составляющей системы взглядов Бибо, связывавшего ее с продолжением и развитием самых устойчивых ценностей гражданского общества. Будучи с мая 1945 г. членом союзнической коммунистам национальной крестьянской партии, он выступал за сотрудничество с компартией, в которой видел действенную политическую силу, выдвигающую наиболее развернутую и продуманную программу восстановления страны. В 1946 г. Бибо писал о том, что в силу объективных геополитических условий Венгрия не может не проводить дружественную СССР политику, и уже это обстоятельство ставит вопрос о целесообразности приобщения коммунистов к управлению страной [5]. При этом вовлечение коммунистов во власть не является, по мнению Бибо, венгерской и даже восточноевропейской спецификой; в сложившихся в результате войны условиях силы «плебейской демократии», рабочий класс и формы его политической организации (партии, профсоюзы) могут стать серьезным фактором послевоенного демократического переустройства Европы. Венгерский мыслитель полагал, что в мировом коммунистическом движении достаточно глубоко окрепли за годы войны традиции единого антифашистского фронта с демократическими силами и есть в необходимом количестве реалистически настроенные политики, чтобы союз сил социализма и сил демократии не оказался бы очередной иллюзией. На склоне лет, в 1970-е гг., Бибо, чье отношение к марксизму и идее социализма претерпело к тому времени определенную эволюцию, не стыдился своей позиции середины 1940-х гг.: каждый ответственный за собственные действия интеллект мог выбирать между делом восстановления страны (при участии коммунистов) и призывами к саботажу, что, разумеется, противоречило интересам Венгрии [6].



Некоторые требования компартии, чье содержание выходило за рамки привычных демократических реформ (о государственном контроле над банками, национализации системы социального обеспечения), Бибо готов был поддержать. Радикально не принимая системы политических институций, унаследованной от хортизма и, выступая за углубление аграрной и социальных реформ, упразднение монархии, Бибо вместе с тем указывал на приоритетность решения такой задачи, как укрепление законности, стабильности функционирования новой власти. Если и говорить о революции применительно к происходящему в послевоенной Венгрии, то она должна быть, по его мнению, «планомерной», то есть не следует нарушать органичного развития общества, предпринимать меры, для которых не созрели объективные условия, надо по возможности избегать скачков и форсированных изменений, болезненно сказывающихся на положении населения и настроениях в массах. В статье «Кризис венгерской демократии» (конец 1945 г.) и ряде других работ Бибо сосредоточился на социально-психологических последствиях неоправданного ускорения общественного развития и связанной с ним неизбежной поляризации политических сил. Если в России 1917 г., по его мнению, существовали предпосылки для разрешения социальных противоречий примерно в той острой форме, в какой это произошло, то в странах Центральной Европы, включая Венгрию, ситуация иная. Боязнь драматических эксцессов, всегда сопутствующих скачкообразному развитию общества, вызывает консервативную реакцию, усиливает противодействие реформам, отпугивают потенциальных сторонников демократии. Условием сохранения равновесия Бибо считал нейтрализацию крайних политических течений в интересах сильного и стабильного центра. Он стал, вероятно, первым венгерским публицистом, который еще в 1945 г., выступая отнюдь не с консервативно-контрреформаторских позиций, обратил внимание на опасную тенденцию концентрации власти компартией.

Статья «Кризис венгерской демократии» положила начало большой дискуссии о политической ситуации в Венгрии и перспективах дальнейшего развития страны. Дав четкий анализ расстановки внутривнутриполитических сил в венгерском обществе, доминирующих в нем настроений, Бибо указал на опасность, исходившую для демократической коалиции слева, и его статья была подвергнута критике коммунистами и их сторонниками как выпад справа. Среди тех, кто спорил тогда с Бибо, был и всемирно известный философ, классик западного неомарксизма XX в. Д. Лукач [7]. Однако какие бы мощные интеллектуальные силы ни были брошены тогда против Бибо, действительность в скором времени во многом подтвердила правоту этого мыслителя.

В 1946–1950 гг. Бибо был профессором Сегедского университета и одновременно одним из руководителей Института Пала Телеки в Будапеште, важного центра исторической и политической науки в Венгрии тех лет. Незадолго до кончины, в 1970-е гг., в одной из бесед с более молодыми коллегами он, размышляя о несинхронности биологического и исторического времени, с горькой усмешкой предложил друзьям выбить на его надгробном памятнике даты жизни: 1945–1948. Ведь история именно в этот короткий период предоставила ему возможность активного действия, активного присутствия в политической, общественной, духовной, научной жизни. Именно в эти годы было создано большинство его значительных работ.

Объем написанного им в течение примерно четырех лет весьма внушителен. Причем строго академические работы по проблемам государства и права оказываются в меньшинстве, преобладают же отвечающие высоким научным критериям, но свободные по форме и стилю, близкие к жанру эссе дискуссионные статьи и монографии, опирающиеся на большой исторический материал и призванные раскрыть глубинные кор-

ни актуальных социальных явлений и процессов и, что характерно, предложить исторически обоснованную программу действий, способ решения насущных проблем. Подход к современности у Бибо, таким образом, глубоко историчен, а с другой стороны, история неизменно рассматривается им под углом зрения активно действующего на современной политической арене субъекта. При этом проведение исторических параллелей у него никогда не становится просто эффективным приемом, усиливающим аргументацию политолога. Обращаясь к рассмотрению складывавшихся на протяжении веков структурных закономерностей венгерского и среднеевропейских обществ, Бибо показывал, как при сохранении основополагающих структурных особенностей на каждом новом витке развития возникают сходные проблемы, возрождаются старые, лишь на время заглушенные противоречия – между центром и периферией, отдельными социальными группами и т. д.

Представленная в работах Бибо концепция венгерской истории строилась на сопоставлении социальной и политической эволюции Венгрии и западных стран. До начала XVI в. Венгрия, как и вся Средняя Европа, развивалась в основном синхронно с Западом и лишь пришествие турок в регион заметно деформировало этот поступательный процесс. Застопорилось складывание гражданского общества с присущим ему многообразием общественных (в том числе политическо-правовых) отношений на всех социальных уровнях. Во всех частях разделенной на полтора столетия Венгрии тон задавала централизованная власть, предельно унифицируя общественные отношения, подавляя политическую инициативу снизу. Объединившие под своим управлением Венгрию Габсбурги придавали ей оборонительное, а также вспомогательное экономическое (в качестве поставщика дешевого сырья) значение. В силу этого они не проводили на венгерских землях интенсивной общественно-устроительной работы, тем более что не питали доверия к венгерскому дворянству, не без осно-

ваний видя в нем потенциальный источник сепаратистских устремлений. Ростки гражданского общества в Венгрии не только не получали, таким образом, развития, но зачастую выкорчевывались, поскольку противоречили интересам габсбургского централизма. Бибо весьма критически относился к Соглашению 1867 г. между венгерской политической элитой и переживавшими кризис своей власти Габсбургами, вследствие которого на политической карте Европы образовалось новое государство – Австро-Венгрия. С венгерской стороны в самом акте заключения Соглашения, по мнению мыслителя, проявились комплексы страха перед собственными национальными меньшинствами, выступавшими со все более радикальной политической программой. Страх подавлял голос здравого смысла, требовавшего пойти на компромисс не столько с Габсбургами, сколько с национальными движениями в регионе в интересах создания более совершенной конструкции, нежели дуалистическая модель, так и не сумевшая примирить венгерский национализм и демократию.

При хортизме источники страха сменились – теперь, после 1919 г., венгерская национальная элита жила не только утопическими надеждами на возрождение Великой Венгрии, но и опасениями коммунистической диктатуры. Истерические настроения правящей верхушки способствовали роковому внешнеполитическому выбору – поддавшись планам Гитлера по переустройству Европы, Венгрия вступила на путь, приведший к национальной катастрофе 1944 г.

При всех своих опасениях относительно концентрации власти одной, радикально настроенной политической силой, Бибо до некоторых пор был в целом оптимистичен в оценке послевоенной ситуации. Суть событий, полагал он, определяет прежде всего освобождение от балласта, затрудняющего развитие по пути прогресса. По его мнению, впервые после поражения венгров от турок в 1526 г. с окончанием Второй мировой войны сложились реальные предпосылки для значи-

тельного продвижения общества в направлении большей свободы. Возникновение снизу новых форм управления (национальных комитетов и т. д.), приобщение широкого круга населения к деятельности местных органов власти, демократизация выборной системы – все это позволит массам приобрести ранее немыслимый в Венгрии демократический опыт.

Роль хортизма и особенно нилашистского режима во Второй мировой войне давала мало шансов на благосклонное отношение держав-победительниц к Венгрии при обсуждении на Парижской мирной конференции 1946 г. условий мирного договора с ней. Тем не менее еще за несколько месяцев до заключения в 1947 г. договора венгерская демократическая элита питала надежды на некоторую корректировку трианонских границ в соответствии с этническим принципом, надежды, как оказалось, неоправданные. Именно в последние месяцы 1946 г., когда в Париже решался вопрос о послевоенных межгосударственных границах в Средней Европе, в Будапеште вышла в свет едва ли не лучшая работа Иштвана Бибо «О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств», тоже явившаяся своеобразным сплавом научной монографии и политического эссе. Обратившись к чрезвычайно острой и болезненной проблеме, Бибо не просто стремился своим политико-аналитическим мастерством в меру своих возможностей способствовать заключению максимально благоприятного для Венгрии в сложившихся условиях мирного договора. Более всего его заботило установление после войны при помощи системы мирных договоров устойчивого равновесия в среднеевропейском регионе.

Исходным пунктом построений Бибо являлось аксиоматическое неприятие им претензий прежней венгерской консервативной элиты на превосходство венгров над соседними народами. Уже в 1946 г. венгерский мыслитель вынашивал идеи создания в обозримом будущем структуры наподобие Европейского союза, способной органично соединить узконациональ-

ные и более общие интересы. Предпосылкой ее успешного функционирования стало бы разрешение территориальных споров, в том числе в Средней Европе, а это окажется возможным только в условиях, когда все народы региона встанут на путь демократического развития. Бибо не только решительно не принимал планов реставрации в модернизированной форме Дунайской монархии, в целом весьма критически оценивая габсбургский опыт управления многонациональной империей. Он указывал также на явную иллюзорность восстановления Великой Венгрии в границах, сколько-нибудь приближенных к границам «королевства св. Иштвана», основателя венгерского государства, включавшего в себя наряду с собственно венгерскими землями Трансильванию, Словакию, Банат, Воеводину, Закарпатскую Украину, австрийскую провинцию Бургенланд, а с учетом некоторой исторической специфики и Хорватию. Такое понятие, как «венгерская политическая нация», которому в общественной мысли венгров традиционно придавалось сакральное звучание (символизированное «коронай святого Иштвана»), представлялось в работах Бибо в его реальном, «земном» значении, что было в 1946 г. достаточно смелым актом для венгерского интеллектуала, глубоко укорененного (в сравнении, например, с «космополитом» Д.Лукачем) в своей национальной почве. Не меньшим проявлением интеллектуального мужества было стремление Бибо прояснить, в чем же состояла ответственность венгерской стороны, в том числе отдельных классов и политических институций, за сохраняющуюся напряженность межнациональных отношений в регионе. Неудивительно, что в эмигрантских право-консервативных кругах на протяжении десятилетий критиковали Бибо не только за лояльное отношение к СССР и сотрудничество с коммунистами, но и за такой подход к венгерской национальной политической традиции, который перед лицом массивного наступления коммунизма способствовал ослаблению этой

традиции, – на самом деле изжившей себя, нуждавшейся в коренной переоценке.

Принципиальный интерес представляет в работе Бибо проведение параллелей между сходными явлениями в истории Венгрии, Польши и Чехии. В каждой из этих стран на определенном витке развития несовпадение национально-языковых и государственно-исторических границ становилось фактором, крайне болезненно сказывавшимся на судьбах титульной нации. Как и в Венгрии эпохи дуализма, в Чехословакии и Польше после 1920 г. власти по мере сил стремились наполнить приобретенные по итогам Первой мировой войны исторические территории единым национальным сознанием, но успеха не имели. Как справедливо отмечает Бибо, в 1938 – 1939 гг. Европа бросила демократическую Чехословакию на произвол судьбы, а собственные национальные меньшинства нанесли ей удар в спину. Разочарование чехословацкой политической элиты (включая либеральное окружение президента Э.Бенеша) в демократических методах решения национальной проблемы приняло после 1945 г. поистине невиданный размах и явно гротесковые формы. Если, к примеру, в Польше и Румынии 1920–1930-х гг., в Венгрии после Венских арбитражей 1938–1940 гг. оно проявлялось в политике мелочного притеснения меньшинств в использовании родного языка и в их деэтнификации, то власти Чехословакии пошли гораздо дальше, выдвинув программу массового выселения неславянских национальностей, поддержанную великими державами-победительницами там, где дело касалось немцев, и лишь отчасти поддержанную применительно к венграм [8]. Венгерский политолог, писавший свою работу в момент обострения отношений Чехословакии и Венгрии вследствие требований Праги об осуществлении неравного обмена населением между двумя странами [9], прокомментировал чехословацкую позицию следующим образом: «Если это и безумие, то в своем ро-»

де последовательное: чехи желают демократии для себя, желают обеспечить своей стране покой от национальных меньшинств, но при этом не хотят поступиться ни пядью своей территории, то есть желают иметь все сразу. Однако за этими притязаниями на все сразу стоит не сознание собственной силы, а страх, порожденный памятью о пережитой катастрофе».

Трагический опыт, пережитый среднеевропейскими странами за годы Второй мировой войны, отнюдь не является, по мнению Бибо, панацеей от новых губительных иллюзий. Кому-то может показаться, что с устранением источников насилия не останется серьезных препятствий для восстановления государств в их исторических рамках, более широких, нежели этнические границы титульных национальных сообществ. С точки зрения венгерского мыслителя, эти иллюзии следовало бы развеять в интересах самих наций; подлинное благодеяние полякам, венграм и чехам оказал бы «тот, кто ликвидировал бы рамки исторических государств, строго сообразуясь с этническим принципом и принципом самоопределения».

Трезво оценивая современную ситуацию, Бибо воздерживался от слишком оптимистических прогнозов. Тяжелые душевные потрясения, вызванные последствиями войны, повергли чехов, как и поляков, в такое психологическое состояние, что «они были способны лишь предъявлять претензии мировому сообществу, забывая при этом о своих обязанностях и ответственности» по отношению к собственным национальным меньшинствам. Последнее касалось не только словацких венгров, но в первую очередь немцев в Чехии и Польше. Поднимая в 1946 г. вопрос о несправедливостях в отношении мирного немецкого населения, Бибо не побоялся пойти вразрез доминировавшей в европейском общественном сознании тенденции, согласно которой массовое выселение немцев из стран Восточной Европы рассматривалось не только как законная, но и адекватная в моральном отношении мера, по-



скольку нация, виновная в развязывании войны, должна понести коллективную ответственность, пройти через серьезное искупление. Однако столь крупномасштабное (измеряемое не в тысячах, а в миллионах людей) насильственное переселение народов не могло привести, по мнению Бибо, к полной душевной умиротворенности наций, решившихся на столь беспрецедентный шаг.

Построения Бибо не просто отражали сиюминутную реакцию венгерского политического сознания на острый венгеро-чехословацкий национально-территориальный конфликт. Они строились на иллюзиях длительного мирного сосуществования в рамках сложившейся антифашистской коалиции, создающего предпосылки для продвижения (пусть и небезболезненного) стран Центральной и Восточной Европы по пути демократии. Холодная война внесла, однако, в скором времени свои коррективы в ход событий. На ближайшие сорок лет демократическая перспектива оказалась совершенно несбыточной для стран, оказавшихся в сфере влияния СССР. С другой стороны, Советский Союз был совсем не заинтересован в сохранении, а тем более усилении центробежных тенденций в лагере, в раздувании национально-территориальных противоречий. Венгерско-чехословацкие разногласия к концу 1940-х гг. урегулируются на компромиссной основе под бдительным оком «старшего брата», проблема переселений не слишком отягощала и отношения между Польшей и ГДР. Логика истории посрамила как чересчур пессимистические прогнозы крупного венгерского политолога, писавшего в 1946 г., что еще весьма далеко то время, когда среднеевропейские нации «обретут свои, уже привычные для них и никем не оспариваемые рамки». Проблема заключалась, наверное, лишь в цене, которую предстояло уплатить народам региона за достигнутое видимое спокойствие в общем доме.

В ПОВОРОТНОМ 1948 г., когда компартия, вытеснив конкурентов, монопольно утвердилась у власти, выходит другая важная работа Бибо – политико-социологическое исследование «Еврейский вопрос в Венгрии после 1944 года», посвященное весьма актуальной проблеме. Во второй половине 1940-х гг. неравнодушным наблюдателям не могло не броситься в глаза парадоксальное явление. Едва ли с чем-нибудь сопоставимые в XX в. по масштабам жертвы, понесенные венгерскими евреями в 1944 г., отнюдь не устранили почвы для антисемитских настроений в стране. Напротив, на первые послевоенные годы пришлось новая вспышка антисемитизма. Именно выявлению исторических корней венгерского антисемитизма и была посвящена работа Бибо, в которой снова проявился его особый интерес к социально-психологическим феноменам как факторам политического развития (страхам, предубеждениям, массовым психозам и истериям, бытующим в обществе и влияющим на принятие политических решений силами той или иной ориентации, зачастую склонными использовать социально-психологические явления в своих узкогрупповых интересах).

В 1949–1950 гг. еще выходили новые работы Бибо, но ситуация вокруг него отличается все большей напряженностью. Упрочившаяся тоталитарная власть совсем не нуждалась в независимом политологе, напротив, видела в нем опасного оппонента. В конце 1950 г. он перестал преподавать в университете, а еще годом ранее лишился позиций в научных учреждениях (занимавшийся восточноевропейскими исследованиями институт, где он работал, фактически прекратил существование). Избранный еще в 1947 г. (в 36 лет) членом-корреспондентом Венгерской Академии наук, через два года, в процессе реорганизации Академии, Бибо был выведен из нее. С января 1951 г. он работал библиотекарем в будапештской университетской библиотеке.

На несколько лет интенсивность научной работы Бибо не только заметно снижается, но почти сводится к нулю. В тече-

ние ряда лет он фактически не берется за перо, считая бессмысленной в сложившихся условиях работу в стол, в надежде на публикацию в неопределенном будущем. И дело было, очевидно, не только и не столько во внутреннем надломе, духовной и душевной опустошенности человека, в расцвете сил и своего незаурядного дарования отторгнутого от активной научно-общественной деятельности, сколько в утрате перспектив общественного развития. Для Бибо было совершенно неприемлемым связать себя каким-либо образом с активизировавшимися в эмиграции ретроградными политическими течениями, против которых он всю свою сознательную жизнь боролся. В Венгрии же он не видел реальной общественной силы прогрессивной направленности, с которой мог бы с чистым сердцем себя идентифицировать и за которой, по его убеждению, стояло бы будущее страны. Такую силу он увидел лишь осенью 1956 г. – в массовых общественных движениях, выступавших за полный разрыв с тоталитаризмом, обеспечение национального суверенитета и в то же время стремившихся в своей политической практике синтезировать демократические и социалистические ценности. Уже через несколько дней после начала восстания 23 октября он создает наброски программного политического выступления, в которых пытается теоретически осмыслить идеологические и общеполитические задачи, актуальные для венгерской революции («Конспект. Октябрь 1956 года»). Оставшаяся во фрагментах работа Бибо не только отражает проделанную им за послевоенное десятилетие определенную эволюцию взглядов на марксизм и социализм, но впервые в столь концентрированной форме излагает его отношение к некоторым важнейшим постулатам марксистской теории.

Исходный пункт размышлений Бибо заключался в том, что сегодня «совершенно недостаточно осудить только сталинизм как таковой. Мы не продвинемся ни на шаг, если ограничимся осуждением идейных установок Сталина, мыслившего весьма

узко и несамостоятельно, и если по-прежнему будем сохранять веру в непогрешимость Ленина и Маркса, приняв их учение за основу на новом пути развития... Вопрос следует ставить в отношении идеологии марксизма-ленинизма в целом».

Провозглашенная марксизмом-ленинизмом конечная цель политической борьбы состоит в освобождении человека «от подчиненности природе, от рабского труда, от общественного гнета». Правомерность этой цели, как и реальная возможность продвижения по пути к ее достижению, не подлежат, с точки зрения Бибо, сомнению. Однако избранные средства не приближают к поставленной цели, но удаляют от нее. Не только введенный Лениным тезис о руководящей роли единственной партии, но и восходящую к самому Марксу программу диктатуры пролетариата Бибо относил к наиболее «зловещим моментам» марксистской теории..

Резко критикуя основные постулаты марксизма, Бибо, однако, решительно не соглашался с теми, кто проводил знак равенства между идеями коммунизма и фашизма. Конечно, «политические средства сталинизма по своей сути не отличались от фашистских, но у фашизма бесчеловечными были не только средства, но и цели». Именно в силу этого принципиального различия в Венгрии осени 1956 г. «в среде воспитанной на идеалах марксизма-ленинизма молодежи возникло идейное брожение, которое невозможно представить внутри фашизма, – брожение, вызванное огромным противоречием между провозглашенными целями и средствами».

Развернувшееся в Венгрии осенью 1956 г. движение против сталинистской диктатуры и в защиту национального суверенитета в своих программных документах и публицистике осознавало себя именно в категориях революции и широко обращалось к отечественной революционной традиции, в частности, наследию 1848 г. Осмысляя революционный характер происходящих событий, Бибо в то же время высказывал и предостережения. Революция не может быть самоцелью, поскольку, стано-

вась перманентной, она теряет свой смысл. Перспективы и международное значение Венгерской революции 1956 г., по мнению Бибо, зависят от того, «сумеет ли мы, венгры, устоять перед опьянением насилием», – лишь в этом случае можно привести к победе революцию позитивного исторического содержания. События, происходившие в Венгрии, далеко не во всем соответствовали образцовой, идеальной модели современной революции. 30 октября, на следующий день после того, как Бибо завершил работу над своими предварительными набросками, разъяренная толпа устроила перед зданием будапештского горкома партии кровавый самосуд над группой в основном безоружных людей. Жертвами ее стали более 20 человек.

В своих незаконченных тезисах Бибо отнюдь не выступал апологетом экономических отношений современного западного мира. Хотя современный капитализм, писал он, «не основной и не единственный враг современного общественного развития», он может стать таковым «в той степени, в какой открывает возможность для тирании, угнетения и эксплуатации». Если же понимать капитализм в другом его аспекте – как систему свободного предпринимательства, то он «является одним из эффективных двигателей технического прогресса, и сегодня, вот уже, бог знает, на каком десятилетии многократно провозглашенного загнивания и краха капитализма, он оказывается более жизнеспособным, чем любая из тираний, обещавших спасти мир». Основная задача антикапиталистической революции должна состоять, с точки зрения Бибо, отнюдь не в уничтожении системы свободного предпринимательства, а в ликвидации несправедливых отношений собственности. Что же касается социализма (суть которого – в обобществлении производительных сил), то он представляет собой не «неизбежную форму идеального общества будущего, а лишь одну, но не единственную форму экономического освобождения человека, которая, будучи навязываемой в качестве единственной, легко и быстро может перейти в тиранию».

В условиях Венгерской революции программное звучание приобретал тезис Бибо о том, что экспроприированные в свое время у буржуазии крупные предприятия не следует отдавать их прежним владельцам, в то же время они должны быть изъяты из бюрократической собственности и переданы в собственность рабочих коллективов. Такая позиция сближала установки Бибо с получившими распространение в революционной Венгрии антиэтатистскими и даже в известной мере анархо-синдикалистскими представлениями о нетираническом социализме, с идеологией рабочих советов, ставших осенью 1956 г. важной альтернативной бюрократическому социализму политической силой.

В конце октября Бибо участвовал в процессе возрождения национальной крестьянской партии, получившей теперь название Партии Петефи. 3 ноября в качестве представителя этой партии он делегируется в формировавшееся коалиционное правительство во главе с Имре Надем. Утром 4 ноября Бибо должен был принять участие в заседании этого правительства, однако заседание не состоялось, поскольку на рассвете советские войска предприняли наступление на Будапешт с явной целью свержения неугодного Москве правительства [10]. И.Надь и большая группа политиков-коммунистов из его ближайшего окружения нашли убежище в югославском посольстве. Несколько позже покинули здание венгерского парламента и министры из партии мелких хозяйев. Когда около восьми утра советские солдаты вошли в это историческое здание на берегу Дуная, они застали там лишь одного министра действовавшего правительства – это был Иштван Бибо. Перед тем как быть задержанным (и вскоре, впрочем, отпущенным на свободу) советскими спецслужбами, Бибо попытался провести нечто вроде пресс-конференции, чтобы обратиться с новым воззванием к венгерскому народу от имени правительства через несколько часов после того, как И.Надь в своем радиобрещении заверил нацию, что правительство находится на своем по-

сту [11]. Как он признался позже, если бы он знал в те часы, что Надь не отправился (как полагал Бибо) к советскому послу Ю.В. Андропову для переговоров, а укрылся в югославском посольстве, он явно поколебался бы перед тем, как взять на себя в чрезвычайной ситуации ответственность в одиночку выступить от имени всего правительства [12].

В воззвании Бибо содержалось заверение о том, что «у Венгрии нет намерений проводить антисоветскую политику, более того, она всемерно стремится войти в сообщество народов Восточной Европы, которые хотят жить в обществе, где нет эксплуатации, где царят свобода и справедливость» [13]. По его мнению, правительство за короткий срок само смогло бы справиться «с отдельными случаями уличного самосуда», а также с вышедшими на политическую арену прежними консервативными силами. Использование с этой целью иностранной военной силы является акцией не только неоправданной, но и циничной. «Как раз наоборот: присутствие этой армии – главный источник волнений и беспорядков». Бибо призвал венгерский народ не признавать законной властью оккупационную военную администрацию или марионеточное правительство (которое, кстати, как раз в эти дни формировалось в Москве), «а использовать по отношению к ним все формы пассивного сопротивления, за исключением случаев, когда речь идет о продовольственном снабжении и коммунальном обслуживании Будапешта». Приказа о вооруженном сопротивлении Бибо не отдал, мотивировав свою позицию тем, что при отсутствии информации о военном положении с его стороны было бы безответственным поступком толкать венгерскую молодежь на кровопролитие: «венгерский народ уже пожертвовал немало крови во имя осуществления своего стремления к свободе и справедливости». В заключение Бибо обратился к великим державам с призывом в соответствии с принципами, заложенными в Уставе ООН, «вынести мудрое и смелое решение» в интересах защиты его «порабощенной нации».

Поскольку пресс-конференция в сложившихся условиях не могла быть проведена, Бибо нашел способ передать текст своего воззвания в посольства США, Великобритании и Франции. Он также призвал США принять более решительные меры в связи с советским военным вмешательством, то есть потребовать прекращения боевых действий и вывода советских войск с территории Венгрии. Наряду с этим Бибо предложил правительству США изыскать такое компромиссное решение, которое дало бы Советскому Союзу возможность отступления без ущерба для своего авторитета, а также высказал свое несогласие с тем, чтобы после отхода советских воинских частей США ввели бы свои войска на территорию Венгрии [14].

В последующие дни, 6–9 ноября, Бибо составил новый документ – план компромиссного урегулирования венгерского вопроса [15]. По его мнению, «устранение опасности капиталистической, антикоммунистической и ортодоксально-консервативной реставрации в рамках четко сформулированного и гарантированного в международном плане компромисса могло бы оказать позитивное воздействие на советские решения» в плане вывода войск из Венгрии. Этот документ также отразил приверженность Бибо идеям рабочего самоуправления, и не удивительно, что 11 ноября Рабочий Совет Большого Будапешта, на протяжении ряда недель пытавшийся выступать в качестве альтернативного кадровскому правительству органа власти, провозгласил поступивший от Бибо план компромиссного урегулирования своей программой действий. Составленный Бибо документ был подписан им как министром правительства И.Надя, признанного мировым сообществом. В этом качестве он был передан посольствам США, Великобритании, Франции и Индии, а также распространялся в кругах некоммунистических политических партий, начавших возрождаться в конце октября (после советской военной акции 4 ноября они функционировали уже фактически в условиях подполья).



В первые месяцы консолидации новой власти Бибо продолжал поддерживать тесные связи с политиками из бывшей национальной крестьянской партии (Партии Петефи). В сотрудничестве с рядом деятелей из других партий коалиции, составившей правительство И.Надя, и в первую очередь из партии мелких хозяев, он подготовил Декларацию об основных принципах государственного, общественного и экономического устройства Венгрии и путях преодоления политического кризиса от 8 декабря 1956 г., тоже важный программный документ Венгерской революции периода ее арьергардных оборонительных сражений [16]. Он был направлен в посольство СССР, а также в посольство Индии, а в сентябре 1957 г. увидел свет в венской газете «Ди Прессе». Составители документа считали необходимым заверить советскую сторону в том, что «революционные силы Венгрии были и остаются едины в поддержке социализма» и «способны защитить завоевания социализма от попыток реставрации и сохранить порядок внутри страны» [17].

Планы компромиссного урегулирования венгерской проблемы, предложенные Бибо и его единомышленниками, при всей проработанности в частных деталях, отличались утопизмом в главном. В условиях фактического невмешательства Запада во внутренние дела страны, всецело относящейся к советской сфере влияния, руководство СССР чувствовало в себе достаточно сил для реализации в Венгрии собственного политического сценария, используя в качестве инструмента правительство Кадара. Это вскоре понял и Бибо. В первые месяцы 1957 г. он работает над одним из наиболее известных своих политологических эссе «Положение в Венгрии и положение в мире», в котором уже не столько предлагает альтернативные планы разрешения венгерского кризиса, сколько предпринимает попытку осмыслить уроки и значение «будапештской осени» в широком международном контексте. Действующий политик уступал теперь место ученому-политологу, аналитику

происходящих процессов. Будучи переправленной на Запад через посольство Индии, эта работа была опубликована в 1960 г. в Лондоне в сборнике трудов Бибо на венгерском языке, подготовленном усилиями леволиберального крыла венгерской политической эмиграции [18]. Ставшее известным уже в 1957 г. кадаровским спецслужбам, это яркое политологическое сочинение было сочтено опасным для властей. Факт его передачи за границу послужил важным основанием для ареста мыслителя.

События осени 1956 г. в Венгрии не только стали для СССР пробным камнем возможности навсегда порвать со сталинской политической практикой; Бибо назвал их «началом одного из самых интригующих социалистических экспериментов века», весьма плодотворного и поучительного для дела социализма, поскольку речь шла о серьезной попытке совместить социалистическую перспективу развития с современной «техникой» политических свобод, «преимущество которой рано или поздно можно признать точно так же, как признается преимущество западной шариковой ручки или теории наследственности Моргана, без того, чтобы поставить под угрозу дело социализма». Именно в Венгерской революции понимаемый таким образом «третий путь», согласно Бибо, готов был обрести свою реальную форму. «То, что в условиях свободы на свет Божий вырвались и самые консервативные силы сторонников реставрации», по мнению Бибо, «было страшным только для тех, кто привык считать: того, что запрещено, и не существует вовсе, а тот, кто имеет возможность выйти на свет и заговорить, уже в силу этого страшен». Основные движущие силы Венгерской революции в самом деле составили отнюдь не выходцы из прежней, в частности хортистской социальной элиты, а рабочий класс, в своей массе стихийно приверженный социалистическим ценностям (что в полной мере, как уже отмечалось, проявилось в деятельности рабочих советов), и учащаяся молодежь рабоче-крестьянского происхожде-

ния, всецело сформировавшаяся после Второй мировой войны и испытывавшая в Венгрии первой половины 1950-х гг. массивное воздействие марксистско-ленинской пропаганды. С точки зрения Бибо (возможно, и небесспорной), в момент советского вмешательства положение в Венгрии уже начало консолидироваться, тем более что «раздались решительные и авторитетные голоса в защиту социалистических завоеваний и сформировалось такое правительство национального единства, у которого не было причин чересчур уклоняться вправо» и было достаточно сил для того, чтобы воспрепятствовать таким попыткам. Выбор же, сделанный советским руководством, не только не способствовал нормализации положения, но существенно затормозил этот процесс и кроме того привел к возникновению парадоксальной ситуации, совершенно откровенно разоблачающей несостоятельность претензий компартий советского образца выступать выразителем интересов рабочего класса: в Венгрии начала 1957 г. партия, в большинстве своем состоящая из бюрократии и членов военизированных формирований (изолированных от народа, опирающихся лишь на помощь извне), противостоит рабочему классу как единому целому.

Процесс пересмотра сталинских методов, увенчавшийся XX съездом КПСС, по мнению Бибо, был чем-то большим, нежели просто проявлением тактической игры. Однако возникшие вследствие XX съезда в мире надежды на то, что в коммунистическом движении и прежде всего в КПСС есть силы, действительно способные к разрыву со сталинской политической практикой, были подорваны; идея «третьего пути» между капитализмом и сталинским социализмом оказалась скомпрометированной. Мировое коммунистическое движение переживает острый кризис, от него отшатнулось немало «симпатизантов», в том числе и в странах «третьего мира»; в западных партиях усиливаются поиски национальных путей к социализму, а «партии стран народной демократии судорож-

но колеблются между опасно дозируемыми уступками и ничем не поступающей сталинской ортодоксией, и удержание венгерского режима любой ценой для них столь же плохой пример, каким была бы сдача Венгрии, которой Советский Союз не хотел допустить не в последнюю очередь именно из-за них». Таким образом, венгерская акция СССР, «предпринятая во избежание сдачи одной позиции, нанесла и продолжает наносить ущерб всем позициям коммунизма». Ведь значительная часть западного мира уроки венгерских событий свела к тому, что сталинизм не только не умирал, но это и есть «единственно возможная и естественная форма коммунизма».

Оценивая венгерские события как явление международных отношений, Бибо доказывал, что они ознаменовали собой большой провал в политике США и других западных держав на восточноевропейском направлении. Ведь вопреки активной пропагандистской кампании, когда венгерским борцам за свободу внушались надежды на помощь с Запада, США и их союзники оказались неспособны всерьез поставить венгерский вопрос в повестку дня мировой политики, в частности настоять на созыве для его рассмотрения специальной конференции великих держав, на которой, наряду с предоставлением гарантий безопасности СССР, можно было бы отстоять нейтральный статус Венгрии. В конечном итоге именно это и привело к поражению венгерской революции. Хотя впоследствии многие политические наблюдатели на Западе объявили ее «изначально бесперспективной», по мнению Бибо, она «стала такой не от собственного неразумия, а от того, что ее бросили на произвол судьбы». Продемонстрировав всему миру разительное несоответствие между пропагандой и реальной политикой, венгерские события нанесли серьезный ущерб престижу ведущих западных держав.

Вне всякого сомнения, Бибо недооценил не только способности однопартийной коммунистической диктатуры, опираясь на советскую поддержку и прибегая подчас к самым жест-

ким методам, консолидировать экономическое и внутривластительное положение в стране, но и реформаторский потенциал кадаровского режима, всего за каких-нибудь десять лет из тяжелого бремени для СССР превратившегося в витрину социалистического содружества. Тезис о том, что полная дискредитация коммунистической власти в Венгрии «делает невозможным сохранение на сколько бы то ни было длительный срок даже смягченной формы однопартийной диктатуры» и вынудит власть обратиться к приемам многопартийности, оказался совершенно не соответствующим действительности.

23 мая 1957 г. Бибо был арестован, а в августе 1958 г. приговорен к пожизненному заключению по обвинению в подрывной антигосударственной деятельности, выразившейся, в частности, в передаче посольствам стран НАТО своих антиправительственных текстов в целях их публикации на Западе [19]. В 1961 г., в обстановке относительного смягчения кадаровского режима, ряд видных литераторов, тяготевших к движению «народных писателей», и в том числе живой классик национальной литературы Л.Немет, ходатайствовали перед Кадаром об освобождении Бибо по амнистии. Просьба, однако, была в то время отклонена – мотивом для этого послужила записка министра внутренних дел Б.Биску о том, что Бибо «плохо ведет себя в тюрьме», в частности, подстрекая других политзаключенных к выражению недовольства [20].

Как бы там ни было, к началу 1960-х гг. новая власть в Венгрии настолько окрепла, что оставление на свободе влиятельных оппозиционеров уже не представляло серьезной угрозы для режима. Более того, в отличие от лидеров соседней Чехословакии периода консолидации 1970-х гг. Кадар и его окружение считали зазорным и нецелесообразным использовать враждебно настроенных людей умственного труда в качестве дворников и истопников. Бибо был освобожден по амнистии в марте 1963 г., позже многих других активистов революции 1956 г., и вопрос о дальнейшем трудоустройстве виднейшего

идеолога и политолога оппозиционного толка рассматривался ни много ни мало на заседании Политбюро ЦК кадаровской ВСРП [21]. Иштвану Бибо было предложено стать научным сотрудником библиотеки ЦСУ ВНР, против чего он совершенно не возражал. В свободное от рутинной и не слишком интересовавшей его работы время он не только вынашивал замыслы новых трудов по представлявшимся ему актуальными внешнеполитическим проблемам, но и, прибегая к сутобо юридической аргументации, обращался в высшие государственные инстанции с требованием полной амнистии всех, кто каким-либо образом пострадал за участие в событиях 1956 г. [22]. Довольно много Бибо занимался и переводами.

С уходом на пенсию по возрасту в 1971 г. Бибо сосредоточился на политологических, отчасти также на социологических и государственно-правовых штудиях. В монографической работе «Недееспособность международного сообщества государств и ее преодоление» (1972) давался в широком международном контексте анализ всего комплекса проблем, связанных с арабо-израильским конфликтом [23]. В 1976 г. сокращенная версия этой монографии вышла в Великобритании на английском языке [24] – кадаровские власти в новых условиях уже совсем не препятствовали публикации Бибо на Западе, тем более, что речь шла о работе, даже косвенно не касавшейся геополитического положения стран Восточной Европы и Венгрии в том числе. Серьезного отклика западных экспертов эта работа, впрочем, не вызвала.

В 1971–1972 гг. было создано (по большей части продиктовано на магнитофон) другое наиболее значительное сочинение позднего Бибо – «О смысле европейского развития». Гораздо более масштабное по замыслу, оно было основано на глубоком знании европейской философии и широко привлекало материал не столько венгерской и средневропейской, сколько всеобщей истории. В отличие от других основных своих работ здесь Бибо пытается выступить в первую очередь

в качестве критика марксистских концепций развития общества по целому ряду направлений. Главный пункт его расхождений с марксизмом (иногда трактуемым им без учета всего многообразия течений в русле марксистской традиции) состоит в понимании роли революций. Обращаясь к опыту английской революции середины XVII в., Великой Французской революции, российской революции 1917 г., других важных событий мировой истории, Бибо развивал, дополнял и конкретизировал здесь некоторые свои идеи, прозвучавшие в более ранних работах, придавая им при этом более критическую в отношении марксистских постулатов заостренность. Речь шла об опасности самоцельной революционности, о нарушении равновесия в обществе вследствие неуправляемого революционного процесса, о том, что силы революции в своем крайнем проявлении порождают ответную реакцию (в обоих основных значениях этого слова), сдерживающую не только радикальные революционные устремления, но и осуществление давно назревших реформ.

Время появления наиболее «антиреволюционной» работы Бибо весьма симптоматично – отошел в прошлое 1968 год, когда достигло своего пика движение «новых левых»; недавние «герои» потасовок на парижских улицах уже начали неплохо интегрироваться в западный истеблишмент, близилось начало неоконсервативной волны – как в США, так и в Европе. Впрочем, работа Бибо, будучи впервые опубликованной только в 1980-е гг. (сначала в эмигрантском издании и отчасти в самиздате), была прочитана совсем в ином историческом контексте – венгерская интеллигенция теперь жила отнюдь не осмыслением уроков 68-го года, а предчувствиями более epochальных для страны событий, означающих крах коммунистического правления в Венгрии и прекращение советской доминанции в регионе. Так, на первый план выступил именно антикоммунистический аспект в содержании работы. Звучавшие же в поздних трудах Бибо элементы критики современно-

го западного общества не были актуальны и не привлекли большого внимания.

Смысл европейского общественного развития Бибо видел не только в расширении демократических прав и свобод (в его терминологии: «технологии свободы»), в совершенствовании механизма разделения властей, в конечном торжестве начисто лишённого страха, не подверженного истериям и уверенного в своей силе разума, но и в поддержании сложнейшего состояния общественного равновесия. А последнее по сути дела равнозначно консолидации центра на определенной, исторически обусловленной и взаимоприемлемой для составляющих его политических сил платформе; его приходилось и приходится устанавливать вопреки давлению экстремистских политических крайностей, которые в наше время могут принимать не только красный и коричневый оттенок, но и обличье радикального фундаментального исламизма, а с другой стороны, неолиберального фундаментализма, в теории цинично выступающего с апологией социальной несправедливости, а на практике выхолащивающего реальное демократическое содержание институтов народного волеизъявления.

Последние тридцать лет своей жизни И.Бибо почти не имел возможности для издания на родине своих научных работ. Но первые заметные публикации последовали вскоре после смерти – кадаровская власть теперь уже могла не опасаться, что привлечение более широкого общественного интереса к творчеству этого мыслителя стимулирует его к проявлениям политической активности, в частности сблизит его с молодыми оппозиционерами, совершавшими встречное движение (судя по некоторым выступлениям венгерского самиздата конца 1970-х – начала 1980-х гг., уже в то время предпринимались попытки сделать Бибо одним из идейных вождей оппозиции). А для того чтобы снизить резонанс от публикаций работ Бибо в самиздате и эмиграции [25], она предприняла в 1986 г. выпуск 3-томного Собрания сочинений [26]. Выход трехтомника



Бибо на исходе коммунистического правления стал важным событием в духовной жизни Венгрии в условиях, когда венгерская интеллигенция приступила к усиленным поискам альтернативных марксистской традиций в национальной общественной мысли.

С начала 1990-х гг. в определенных кругах активизируются попытки сделать Бибо своего рода знаменем либеральной идейной традиции в Венгрии (имевшиеся в его наследии элементы критики либерализма при этом по меньшей мере затушевываются). «Несомненно крупнейшим венгерским мыслителем своего времени» назвал Иштвана Бибо его соотечественник Имре Кертес, лауреат Нобелевской премии 2002 г. по литературе [27]. Попытка, о которой идет речь, оказалась, впрочем, не совсем удачной – это особенно хорошо видно со стороны. Судя по количеству работ о Бибо, изданных за пределами Венгрии, внимание к его фигуре за рубежом совершенно несоизмеримо с интересом к философу-марксисту Д.Лукачу. Сам этот факт, однако, не перечеркивает значения творчества И.Бибо как действительно крупного венгерского ученого-политолога. Издание его работ на русском языке даст российскому читателю представление о своеобразии духовной эволюции восточноевропейского мыслителя, пережившего многие исторические потрясения, выпавшие на его век, и заполнит пробел в ознакомлении с одним из безусловно интереснейших явлений в развитии политической науки новейшего времени.

### Примечания

1. Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР. 1940–1946. Документы. Отв. редактор Т.М.Исламов. М., 2000. С. 319.
2. *Ласло Контлер*. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 2002. С. 424.

3. См.: *Huszár T. Bibó István – a gondolkodó, a politikus // Bibó István. Válogatott tanulmányok. III. k.. 1971–1979. Bp., 1986. 393. o.*
4. Среди увидевших свет до 1944 г. работ, также отчасти предвосхищающих излюбленный жанр и метод зрелого Бибо, можно назвать статью 1942 г. «Элита и социальное чувство», а также большой отклик в форме эссе на книгу К.Манхейма «Диагноз нашего времени» (1943). См.: *Elit és szociális érzék // Bibó I. Válogatott tanulmányok. I. k. Bp., 1986, 221–242. o.; Korunk diagnózisa // Ibid., 243–270. o.*
5. *A koalíció válaszáton // Bibó I. Válogatott tanulmányok. II. k. 349. o.*
6. *Ibid., III. k. 449. o.*
7. О позиции Лукача см.: *А.С.Стыкалин. Дьердь Лукач – мыслитель и политик. М., 2001. Глава 5.*
8. См.: Национальный вопрос и национальные меньшинства в Восточной Европе. 1944–1948 годы (Материалы «круглого стола») // *Славяноведение. № 5. С. 90–105. Подготовил А.С.Стыкалин.*
9. Там же.
10. См.: *А.С.Стыкалин. Прерванная революция. Венгерский кризис 1956 года и политика Москвы. М., 2003.*
11. Текст воззвания Бибо от 4 ноября см.: *Венгерский меридиан, 1991, № 2. С. 108–109.*
12. См.: *Huszár T. Bibó István – a gondolkodó, a politikus // Bibó István. Válogatott tanulmányok. III. k. 467. o.*
13. *Венгерский меридиан, С. 108.*
14. Такая перспектива, впрочем, реально и не стояла. См.: Там же. С. 109.
15. См.: *Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Документы. Ред.-сост. Е.Д.Орехова, В.Т.Середа, А.С.Стыкалин. М., 1998. С. 613–618.*
16. Там же. С. 725–729.
17. Там же. С. 728.
18. *Bibó István. Harmadik út. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Szabó Zoltán. London, 1960. См. также первую публикацию (в сокращенном виде) на русском языке: И. Бибо. Положение в Венгрии и мировая обстановка // Мост, Будапешт, 1991, № 1/2. С. 30–37.*

19. Материалы судебного дела Бибо, включая протоколы допросов, опубликованы Институтом революции 1956 года в Будапеште: A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról. Összeáll. Kenedi J. Вр., 1996.
20. См.: Kedves, jo Kádár elvtárs! Szerk. Huszár Tibor. Вр., 2002. 180–182. о.
21. Ibid., 241–242. о.
22. См. его письмо Кадару, относящееся к 1970 г.: Ibid., 376–378. о. Это письмо было передано юридическим органам, занимавшимся подготовкой амнистии.
23. Венгерский меридиан. 1991. № 2.
24. The Paralysis of International Institutions and the Remedies. A Study of Self-Determination, Concord among the Major Powers, and Political Arbitration. With an Introduction by Bernard Crick. Hassocks, 1976.
25. В Берне вышло 4-томное Собрание сочинений И.Бибо на венгерском языке: Bibó István összegyűjtött munkái. 1–4. k. Bern, 1981–1984.
26. *Bibó István. Válogatott tanulmányok. Vól., utoszó Huszár T., jegyz. Vida I., Nagy E. Вр., 1986. I–III. k. 4-й том, включивший в себя ряд работ, не утративших в середине 1980-х гг. политической остроты, вышел в 1990 г. На русском языке в Будапеште в 1991 г., после смены систем, был опубликован специальный номер журнала «Венгерский меридиан», составленный из работ Бибо, прежде всего фрагментов ряда его крупных работ.*
27. Венгры и Европа. Сборник эссе. Сост. В.Середа и Й.Горетич. Предисловие и комментарии. В.Середы. М., 2002. С. 487.

## Избранная библиография работ И.Бибо\*

- A szankciók kérdése a nemzetközi jogban [*Проблема санкций в международном праве*], 1932–1933.
- Idegen államok perelhetősége és az ellenük vezethető végrehajtási cselekmények a svájci jogban [*О возможностях судебных исков к зарубежным государствам и действиях по исполнению данных судебных решений в швейцарском праве*], 1935.
- Előadás a nemzetiszocializmusról [*Лекция о национал-социализме*], 1935.
- Kényszer, jog, szabadság [*Принуждение, право, свобода*], 1935.
- A mai külföld szemlélete a magyarságról [*О восприятии венгров в современном мире*], 1936.
- Etika és büntetőjog [*Этика и уголовное право*], 1938.
- Elit és szociális érzék [*Элита и социальное чувство*], 1942.
- Korunk diagnózisa [*Диагноз нашего времени*], 1943.
- Az európai egyensúlyról és a békéről [*О европейском равновесии и о мире*], 1942–1944.
- A demokratikus Magyarország államformája [*О государственном устройстве демократической Венгрии*], 1945.

\* Все указанные в библиографии работы на венгерском языке опубликованы в 4-томном собрании сочинений И.Бибо: *Bibó I. Válogatott tanulmányok*, I–III. k. Magvető, Budapest, 1986. Válogatta és az utószót írta Huszár T., szerkesztette és a jegyzeteket készítette Vida I. és Nagy E.; IV. k. Magvető, Budapest, 1990. Válogatta ifj. Bibó I. és Huszár T., szerkesztette ifj. Bibó I.

- A magyar demokrácia válsága [*Кризис венгерской демократии*], 1945.
- A magyar demokrácia mérlege [*Венгерская демократия на весах*], 1946.
- A kelet-európai kisállamok nyomorúsága [*О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств*]. Фрагмент работы опубл. на русс. яз.: Венгерский меридиан. Журнал общественных наук, Будапешт, 1991/2. С. 39–82], 1946.
- A békeszerződés és a magyar demokrácia [*Мирный договор и венгерская демократия*], 1946.
- A koalíció válaszüton [*Коалиция на распутье*], 1947.
- Az államhatalmak elválasztása egykor és most [*Разделение государственных властей прежде и теперь*], 1947.
- A magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi változás értelme [*Об общественном развитии Венгрии и смысле изменений 1945 года*], 1947.
- Értelmiség és szakserűség [*Интеллигенция и профессионализм*], 1947.
- A magyarságtudomány problémája [*Проблема хунгарологии*], 1948.
- Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem [*О деформации венгерского характера и тупиках венгерской истории*], 1948.
- Zsidókérdés Magyarországon 1944 után [*Еврейский вопрос в Венгрии после 1944 года*], 1948.
- Expozé a magyarországi helyzetről. Tervezet a magyar kérdés kompromisszumos megoldására [*Доклад о положении в Венгрии. Проект компромиссного урегулирования венгерского вопроса*]. Рус. перев.: Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Документы. Ред.-сост. Е.Д.Орехова, В.Т.Серета, А.С.Стыкалин. М., 1998. С. 613–618.], 6 ноября 1956 г.
- Nyilatkozat Magyarország állami, társadalmi és gazdasági rendjének alapelveiről és politikai kibontakozás útjáról I [*Декларация об основных принципах государственного, общественного и экономического устройства Венгрии и путях преодоления политического кризиса*], декабрь 1956 г.
- Magyarország helyzete és a világhelyzet [*О положении в Венгрии и положении в мире*], январь–апрель 1957 г.

- Az európai társadalomfejlődés értelme [*О смысле европейского общественного развития*]. Фрагмент работы опубл. на русс. яз.: Венгерский меридиан. Журнал общественных наук, Будапешт, 1991/2. С. 11–38], 1971–1972.
- A nemzetközi államközösség benuátsága és annak orvoságai. Önrendel-kezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntőbíráskodás [*Недееспособность международного сообщества государств и ее преодоление. Самоопределение, согласие великих держав, политический арбитраж*]. Фрагмент работы, посвященный анализу арабо-израильского конфликта, опубл. на рус. яз.: Венгерский меридиан. Журнал общественных наук. Будапешт, 1991/2. С. 83–107], 1972.
- То же на англ. яз.: *I. Bibó. The Paralysis of International Institutions and the Remedies. A Study of Self-Determination, Concord among the Major Powers, and Political Arbitration. With an Introduction by Bernard Crick.* Hassocks, 1976.
- Tanya és urbanizáció. [*Хутора и урбанизация*], 1973.
- Az 1956 utáni helyzetről [*О положении после 1956 года*], 1978.



## Содержание

<i>Предисловие</i> .....	5
Причины и история немецкой политической истерии (1943) <i>Перев. Н.Надь</i> .....	7
О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств (1946). <i>Перев. Н.Надь</i> .....	155
Конспект. Октябрь 1956 года. <i>Перев. Н.Надь</i> .....	263
О смысле европейского развития (1971–1972). <i>Перев. Т.Лендел</i> .....	285
<i>Комментарии</i> .....	401
<i>А.Стыкалин. Иштван Бибо – мыслитель и политик</i> ...	433
<i>Избранная библиография работ И.Бибо</i> .....	475



Иштван Бибо

*О смысле европейского развития*  
и другие работы

ISBN 5-94607-046-5

Издательство «ТРИ КВАДРАТА», Москва, 2004

*Издатель и арт-директор:* Сергей Митурич

*Исполнительный директор:* Савва Митурич

*Верстка:* Татьяна Боголюбова

*Корректурa:* Ада Мартынова

*Производство:* Елена Кострикина



**Издательство «ТРИ КВАДРАТА»**

Москва 125319, Усиевича д. 9, тел. (095)151-6781, факс 151-0272

e-mail: triqua@postman.ru

---

Подписано в печать 15.11.2004. Формат 70x100/32. Печать офсетная.

Бумага офсетная № 1. Печ. л. 15. Тираж 1000 экз.

Отпечатано в типографии АКО-Принт

BIBLIOTHECA HUNGARICA

---

---

ИМРЕ КЕРТЕС  
ЯЗЫК в изгнании  
*Статьи и эссе*

БЕЛА ХАМВАШ  
SCIENTIA SACRA  
*[Священное знание]*

ИШТВАН БИБО  
О СМЫСЛЕ европейского  
развития и другие работы

ПЕТЕР НАДАШ  
ТРЕНИНГИ СВОБОДЫ

---

---

